books2ebooks.eu

Соханская (Кохановская), Надежда Степановна
Пономарев, Сергей Иванович

Автобиография Н. С. Соханской (Кохановской)

Москва
1896

eBooks from your library by eBooks on Demand

digitised by University of Tartu Library

EOD – Millions of books just a mouse click away! In more than 10 European countries!



Thank you for choosing EOD!

European libraries are hosting millions of books from the 15th to the 20th century. All these books have now become available as eBooks – just a mouse click away. Search the online catalogue of a library from the eBooks on Demand (EOD) network and order the book as an eBook from all over the world – 24 hours a day, 7 days a week. The book will be digitised and made accessible to you as an eBook.

Enjoy your EOD eBook!

- Get the look and feel of the original book!
- Use your standard software to read the eBook on-screen, zoom in to the image or just simply navigate through the book
- *Search & Find*: Use the full-text search of individual terms
- *Copy & Paste Text and Images*: Copy images and parts of the text to other applications (e.g. word processor)

Terms and Conditions

With the usage of the EOD service, you accept the Terms and Conditions provided by the library owning the book. EOD provides access to digitized documents strictly for personal, non-commercial purposes. For any other purpose, please contact the library.

- Terms and Conditions in English: http://books2ebooks.eu/odm/html/utl/en/agb.html
- Terms and Conditions in Estonian: http://books2ebooks.eu/odm/html/utl/et/agb.html

More eBooks

Already a dozen libraries in more than 10 European countries offer this service.
More information is available at http://books2ebooks.eu

АВТОБІОГРАФІЯ

Н. С. СОХАНСКОЙ (Кохановской).

Со вступительною статьей и подъ редакціей

С. И. Пономарева.

(Отдѣльный оттискъ изъ *Русскаго Обозрѣнія* 1896 г.).

МОСКВА.

—

1896.

АВТОБІОГРАФІЯ

Н. С. СОХАНСКОЙ (Кохановской).

Со вступительною статьей и подъ редакціей

С. И. Пономарева.

(Отдѣльный оттискъ изъ *Русскаго Обозрѣнія* 1896 г.).

МОСКВА.
Университетская типографія, Страстной бульваръ.
1896.

Дозволено цензурой. Москва, мая 29 дня 1896 г.

П. А. ПЛЕТНЕВЪ И Н. С. СОХАНСКАЯ (КОХАНОВСКАЯ).

(Ея автобіографія, посмертныя бумаги и письма).

„Вѣдь это, однако, Плетневъ открылъ это маленькое сокровище; у него чутье очень вѣрное, онъ его распозналъ съ первой встрѣчи“

Такъ однажды писала князю П. А. Вяземскому умная пріятельница его А. О. Смирнова по поводу Гоголя. Но еще съ бо̀льшею основательностію можно примѣнить эти слова къ Плетневу, говоря о Н. С. Соханской: это *именно онъ открылъ и развилъ* это маленькое сокровище. И вотъ какъ это происходило, судя по ихъ письмамъ, доселѣ еще *не напечатаннымъ*.

Въ февралѣ 1846 г. Н. С. Соханская, жившая по выпускѣ изъ харьковскаго института въ родномъ хуторкѣ Макаровкѣ (Изюмскаго уѣзда), послала Плетневу, какъ издателю *Современника*, свою повѣсть „Графиня Д.“ и, сознавая въ себѣ искру дарованія, между прочимъ писала: „Петръ Александровичъ! Будьте моимъ руководителемъ! моимъ прибѣжищемъ! Подать женщинѣ руку помощи—это такъ благородно, такъ достойно мужчины! Судите мою повѣсть какъ можно строже—я прошу васъ, и рѣшите, могу-ли я что-нибудь? И если могу, дайте мнѣ мѣсто въ вашемъ журналѣ. Я жду вашего отвѣта, скажите мнѣ: да, или нѣтъ; только скажите что-нибудь. Это ужасно, если вы оттолкнете женщину, которая шла къ вамъ съ такою полною довѣренностію... Но нѣтъ! что-то говоритъ мнѣ, что въ васъ я найду тотъ именно прекрасный образецъ участья, о которомъ такъ отрадно мечтать молодому сердцу“

Плетневъ не замедлилъ отвѣчать и писалъ напрямикъ, что „Графиня Д.“ не можетъ быть напечатана, такъ какъ она написана во вкусѣ несимпатичной ему новой французской школы;

но онъ готовъ принимать участіе въ литературныхъ занятіяхъ Соханской. Не смутясь неудачей, Соханская послала ему другую повѣсть „Мятель“; Плетневъ отвѣчалъ, что она еще хуже первой [1], и при этомъ замѣтилъ, что онъ пораженъ дисгармоніей между письмами Соханской и ея повѣстями. Замѣчая въ послѣднихъ дурные пріемы модной французской школы, а въ письмахъ усматривая проблески сильнаго ума и таланта, Плетневъ пожелалъ направить молодую писательницу на прямой путь *„свободнаго жизненнаго творчества“*. Для этого онъ, во 1-хъ, послалъ Соханской въ подарокъ полное изданіе своего *Современника*, желая этимъ показать, какихъ понятій держится онъ въ сужденіяхъ своихъ о литературѣ [2]. Во 2-хъ, онъ предложилъ ей самую простую тему: „Я желаю (писалъ онъ) подробно знать обо всемъ— въ какомъ институтѣ и какимъ учителемъ русской словесности вы были руководимы, въ которомъ году вышли изъ института, съ какими особами проводите свободное время, какіе лучше знаете языки, что̀ любите дѣлать въ обществѣ и что̀ дома, рисуете-ли или предпочитаете фортепіано, надѣетесь-ли въ будущемъ какой перемѣны въ жизни своей,—словомъ: вы возбудили во мнѣ участіе родственное. Вамъ опасаться меня нечего, потому что для меня святѣе всего—каждое истинное движеніе сердца человѣческаго“ (письмо 8 февр. 1847 г.).

Обрадованная въ высшей степени такою истинно *„родственною“* внимательностію весьма извѣстнаго человѣка, столичнаго журналиста, ректора университета, молодая (22 л.) дѣвушка въ отвѣтѣ своемъ, между прочимъ, писала: „Какъ мнѣ начать мое письмо? Обыкновеннымъ началомъ?.. Но это было бы непростительною пошлостію послѣ того, что вы сказали мнѣ, что говоритъ мое сердце. Я никакъ не назову васъ, потому что имя, которое я даю вамъ... я не смѣю написать его. Что̀ я скажу вамъ? Я плакала. Поймите эти слезы. Говорятъ, что слезы женщины—ничто. Вы не скажете этого... Послушайте: я держу въ рукѣ ваше письмо, и—ведите меня, куда хотите! Пусть я буду

---

[1] Впрочемъ, первая повѣсть „Графиня Д.“ была потомъ напечатана въ *Отеч. Запискахъ* (1848, № 12, іюнь), а другая—„Мятель“ вовсе не увидѣла свѣта: обѣ онѣ сохранились въ рукописяхъ и донынѣ.

[2] При этомъ, извѣщая ее, что онъ передаетъ свой тщедушный *Современникъ* Панаеву, Плетневъ не безъ раздраженія прибавлялъ. „Я убѣдился, что публика, такъ восхваляемая прочими журналистами и газетчиками, не что иное, какъ лошадь, которая всякій разъ ржётъ, когда ей въ ясли подымаютъ огромную охапку сѣна“.

видѣть пропасть подъ своими ногами, вы скажете „туда!“—я иду!.. Я не могу сегодня писать болѣе... И я никогда не увижу васъ, не сожму вамъ руки, и вы не услышите моего: *благодарю*!“ (письмо 9 марта).

И Соханская немедленно занялась составленіемъ записокъ о своей жизни и писала Плетневу: „Вы хотите знать подробно обо мнѣ: кто я? какъ я?—извольте. Я вамъ представлю, по возможности, полный и вѣрный отчетъ о моей жизни. Понимаю, что для васъ мало однихъ внѣшнихъ обстоятельствъ; вы хотите заглядывать глубже въ человѣка,—и я удовлетворю вашему благородному любопытству. Да! я разверну предъ вами внутреннюю мою жизнь, ощущенія духа,—это будетъ залогомъ моей къ вамъ неизмѣнной преданности и того глубокаго уваженія, которыми я полна къ вамъ“ (письмо отъ 29 марта).

Составленіе записокъ о себѣ, однако, затянулось. Матеріальное положеніе Соханской въ это время было трудное. „Въ наше помѣщичье время (писала она другому лицу)—проходилъ годъ иногда, а мнѣ не на что было сшить и одного ситцеваго платья, и я за своими литературными писульками сидѣла въ слезахъ, не имѣя копѣйки за душой, чтобы переписать ихъ и послать на почту“. Плетневъ между тѣмъ нетерпѣливо ждалъ обѣщаннаго; въ іюнѣ онъ уже напоминалъ Соханской: „Вы сказали, что скоро удовлетворите любопытству моему и познакомите меня со всѣми подробностями жизни своей... Однако, ни въ апрѣлѣ, ни въ маѣ ничего отъ васъ не было прислано“ — Соханская рѣшилась посылать ему свои записки по частямъ, и въ тотъ же мѣсяцъ (26 іюня 1847 г.) послала ему тетрадь своихъ воспоминаній, не придавая имъ ни значенія, ни заглавія.

Прочитавъ первую тетрадку, Плетневъ нашелъ ее *въ высшей степени занимательною* и немедленно отвѣчалъ: „Я съ вами прожилъ нѣсколько времени, и это время принадлежитъ къ самымъ пріятнымъ для меня воспоминаніямъ. Благодарю васъ: вы сдѣлали для меня то, что я обязанъ еще заслуживать. *Автобіографія* ваша есть образецъ ума, воображенія, вкуса и граціи. Вамъ болѣе, нежели кому-нибудь, извѣстно, что я не льстецъ; зато и правду я люблю говорить съ чистымъ увлеченіемъ. Пройденный вами періодъ жизни вашей изложенъ такъ полно, такъ непринужденно, такъ занимательно, что я не могу не умолять васъ о продолженіи этого труда. Но оконченность предпринятой работы зависитъ отъ искренности разсказа. Для отвращенія всякаго въ этомъ затрудненія, я и вамъ не совѣтую

пускать въ гласность игривый трудъ свой... Но умоляю васъ пишите ко мнѣ (если невозможно разъ въ недѣлю) два раза въ мѣсяцъ“ (письмо отъ 1 сентября).

Соханская была изумлена похвалами Плетнева. „Знаете-ли, какъ мнѣ грустно? отвѣчала она. Вы составили обо мнѣ какое-то преувеличенное понятіе. Видитъ Богъ, я этого не хотѣла и не хочу. Я—простая, деревенская, вседневная дѣвочка“ Въ смущеніи она была готова прекратить переписку. Потомъ она подумала, что Плетневъ шутитъ, и въ этомъ смыслѣ рѣшила помогать ему... Она называла просто „листкомъ женскаго маранья“ то, что Плетневъ называлъ „автобіографіей“; она видѣла въ своемъ очеркѣ только одно чувство и немного смысла, и не только вовсе не думала о печатаніи его, но даже о продолженіи въ рукописи. „Вы бы меня чрезвычайно обязали, еслибы сказали: довольно!“—Посылая при этомъ уже приготовленную вторую тетрадь, она просила: „У меня къ вамъ просьба, добрѣйшій Петръ Александровичъ, а вы ее исполните. Вы должны обѣщать мнѣ: когда прочтете эту дрянную тетрадку, бросьте въ огонь ее и предшествовавшую ей, пожалуйста! Я такъ прошу васъ. Каминъ вашъ уже давно топится, итакъ позвольте мнѣ подарить вамъ крохотку свѣта и тепла“ (письмо 8 октября).

Но почти въ то же время (9 октября) Плетневъ писалъ ей: „Я съ нетерпѣніемъ жду продолженія автобіографіи вашей. Вы довели меня до интереснѣйшей своей эпохи—институтской жизни. Мнѣ очень хочется понять, что̀ значитъ институтка въ самой себѣ, дѣйствительно, безъ реверансовъ и уроковъ... Ваше описаніе прелести степей я могу сравнить только съ тѣмъ, что объ этомъ же предметѣ слышалъ нѣкогда изъ устъ Пушкина.“

Нетерпѣливое ожиданіе Плетнева было удовлетворено самымъ блистательнымъ образомъ. Во второй тетради Соханская сильно выросла въ простотѣ, жизненности, яркости разсказа. Плетневъ былъ въ высшей степени восхищенъ и писалъ въ живомъ увлеченіи: „Въ лицѣ вашемъ судьба указала мнѣ существо неоцѣненное, которое способно понять все прекрасное въ жизни и поэзіи. И (скажу вашими словами) „я никогда не увижу васъ, никогда не сожму руки вашей!“ Примите же отъ меня заочно все, все, чѣмъ могъ бы наградить васъ растроганный отецъ, нѣжнѣйшій братъ... и даже тотъ счастливецъ, котораго нѣкогда изберетъ сердце ваше; примите заочно мое благословеніе, мою дружбу и ту святую любовь, которой не чуждаются и ангелы на небесахъ.“ Признавъ въ Соханской *рѣшительный талантъ*

поэтическаго творчества, Плетневъ говорилъ: „Чтеніе подобныхъ записокъ сильнѣе завлекло бы читателей и болѣе принесло бы имъ пользы, нежели тѣ хваленыя книги, которыми теперь свѣтъ занимается... Нѣтъ надобности бросать въ огонь эти записки. Онѣ хранятся въ особомъ пакетѣ, съ надписью: „Отослать послѣ моей смерти Н. С. Соханской въ Изюмъ.“ Далѣе Плетневъ считаетъ себя счастливымъ, что „безцѣнная Надежда Степановна“ приняла его въ кругъ своихъ знакомыхъ. „Я могу, пишетъ онъ, сдѣлаться достойнымъ ея дружбы своею жизнію и неизмѣнною любовію къ тому, чѣмъ ее Господь такъ отличилъ отъ прочихъ... Вы, какъ писательница, не должны походить ни на кого, а только на себя, подобно тому, какъ вы это сдѣлали въ своей біографіи. Вотъ что вамъ дала *истина:* она-то вознесла васъ до высочайшей и вѣчной поэзіи...“

Письмо это (отъ 4 ноября) еще болѣе прежняго удивило Соханскую и растрогало ее до умиленія. Вообще, вся переписка ея съ Плетневымъ такъ проникнута сердечною искренностію, что неотразимо увлекаетъ и читателя, и мы не ошибемся, если скажемъ, что въ литературѣ нашей (въ печати) еще не встрѣчалось примѣра *подобныхъ* дружескихъ отношеній.

Въ письмѣ отъ 2 марта 1848 года Плетневъ опять напоминаетъ: „А что̀ дѣлаетъ окончаніе вашей біографіи? Это долгъ: вы не смѣете не расплатиться.“

Въ отвѣтъ на это Соханская послала ему третью часть своего разсказа и писала о ней: „Судите, довольно-ли я искренна. Такъ говорить—не говоритъ даже дочь съ отцомъ; этакъ, развертывая всѣ изгибы души, можно только исповѣдываться глубокоуважаемому, разумному, благородному другу; я исповѣдалась вамъ, Петръ Александровичъ“ (письмо отъ 15 марта).

Объ этой части автобіографіи Плетневъ отозвался съ полнымъ преклоненіемъ: „Она прекрасна во всѣхъ отношеніяхъ: смотрѣть-ли на нее, какъ на путь, вами пройденный, какъ на развитіе силъ души вашей и какъ на созданіе таланта вашего. Она до такой степени прекрасна, что мнѣ, вмѣсто уроковъ вамъ, надобно было бы просить у васъ ихъ себѣ. Вы обладаете всѣмъ: воображеніемъ, чувствомъ, умомъ, слогомъ и языкомъ, — и все это неподражаемо-самобытно, скажу безъ гиперболы—геніально!.. Если бы это былъ романъ, — современники поставили бы васъ на пьедесталъ и поклонялись бы вамъ.“ — Но при этомъ Плетневъ замѣтилъ, что у него неизмѣнное влеченіе—и въ людяхъ и въ романахъ—къ жизни мирной, святой, вѣющей благодатію

и очарованіемъ, а не къ порывамъ неукротимой воли и разрушительныхъ ощущеній, которыя развиты были Соханской въ ея первыхъ повѣстяхъ и отчасти въ разсказѣ о своей жизни дома по выходѣ изъ института. „Я не могъ, писалъ Плетневъ, безъ сладостнаго умиленія читать вашего возвращенія въ лоно мира и любви. При началѣ четвертой тетради автобіографіи постарайтесь развить, откуда возникло въ васъ столько требованій и раздражительности.“—Но Соханская на эту просьбу отвѣчала молчаніемъ.

Получивъ четвертую тетрадь автобіографіи, Плетневъ писалъ: „Интересъ вэшихъ разсказовъ идетъ прогрессивно. Здѣсь ваша „Марья Ивановна“ превосходитъ все, что только на русскомъ языкѣ удавалось мнѣ читать о русскихъ барыняхъ-помѣщицахъ“ (п. 25 авг.). Отзывъ этотъ побудилъ Соханскую передать еще нѣсколько воспоминаній о „Марьѣ Ивановнѣ“ въ письмѣ своемъ Плетневу (9 сент.), которое осталось въ бумагахъ его и вѣроятно сохраняется его вдовой. Эта „Марья Ивановна“ была извѣстная въ то время въ Харьковской губерніи г-жа *Шидловская*, пользовавшаяся общимъ вниманіемъ (умерла въ 1855 году).

Наконецъ, въ октябрѣ 1848 года Соханская отправила послѣднюю часть своей автобіографіи. „Что̀ мнѣ сказать о ней? писалъ Плетневъ 16 ноября. Я хвалилъ прежнія части. Не хочу повторять похвалъ своихъ: онѣ для нынѣшняго случая слабы и безцвѣтны... Вы умѣли такъ собрать черты внутренней жизни вашей и вставить ихъ въ рамку жизни внѣшней, что передъ этою картиной и лучшая похвала покажется пошлостію“

Если эти отзывы Плетнева, писанные къ самой Соханской, читатель заподозритъ въ излишней любезности свѣтскаго человѣка предъ молодою писательницей, то пусть онъ послушаетъ, какъ выражалъ Плетневъ постороннимъ лицамъ свое восхищеніе отъ автобіографіи, и притомъ въ частной перепискѣ.

Вотъ что писалъ Плетневъ 22 октября 1847 г. своему ближайшему другу Я. К. Гроту подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ: „Вчера получилъ я отъ Соханской письмо и второй отрывокъ ея автобіографіи; онъ содержитъ въ себѣ время пребыванія ея въ харьковскомъ институтѣ. У нея талантъ удивительный. Никогда еще ни одинъ романъ не занималъ меня такъ, какъ описаніе это. Тутъ всѣ роды прекраснаго сосредоточены. Трогательное, сатирическое, легкое, комическое и даже поэтическое—все есть. И между тѣмъ въ изложеніи столько непринужденности, простоты, истины и свободы, что не оторвешься отъ чтенія. При свиданіи

нашемъ, это чтеніе будетъ для насъ обоихъ пріятнѣйшимъ препровожденіемъ времени“

Черезъ два года по окончаніи автобіографіи, въ январѣ 1850 года, Плетневъ писалъ Жуковскому: „Съ давнихъ поръ была въ перепискѣ со мною по журналу одна изъ институтокъ харьковскихъ (Соханская), дѣвушка съ удивительнымъ умомъ и талантомъ. Никогда не видавъ ея, я упросилъ, чтобы она составила для меня свою біографію, самую подробную и самую откровенную. Въ теченіе двухъ-трехъ лѣтъ она присылала мнѣ тетради этихъ разсказовъ, чудно-интересныхъ, оригинальныхъ и со всею увлекательностію написанныхъ. А ей не болѣе 23 лѣтъ! Если вы пріѣдете когда-нибудь сюда, мы прочитаемъ это. Жена моя страстно привязалась къ этому чудному существу заочно, какъ и я. Онѣ теперь переписываются, какъ нѣжные друзья“

Въ мартѣ того же года Плетневъ опять заговорилъ о Соханской въ письмѣ къ Жуковскому: „Если бы далъ Богъ увидѣть мнѣ васъ здѣсь не мелькомъ, а осѣдлымъ, мирнымъ жителемъ, познакомилъ бы я васъ съ талантомъ, совсѣмъ непохожимъ на эти характерныя явленія, которыя возникаютъ вслѣдствіе моды и начитанности. Есть у меня (по выраженію Ѳ. Н. Глинки) „знакомая незнакомка“, дѣвушка лѣтъ 23, вышедшая изъ харьковскаго института и живущая съ матерью и тёткой на бѣдномъ хуторѣ близь Изюма. Вотъ это—такъ явленіе изумительное!.. Ея автобіографія, по моему признанію, есть лучшее, что только явилось у насъ оригинальнаго въ послѣднія пять лѣтъ. Тутъ исчерпаны всѣ роды красоты и всѣ оттѣнки русской жизни. А сама она является такимъ неподражаемо милымъ существомъ, что не разстаться бы съ нею! Одну изъ этихъ тетрадей (описаніе жизни въ институтѣ) я препровождалъ для прочтенія къ Государынѣ Императрицѣ, и Ея Величество раздѣляетъ мое мнѣніе“

Въ 1855 г. Плетневъ такъ же тепло отзывался о Соханской въ своемъ письмѣ къ князю П. А. Вяземскому, а въ 1861 г. подалъ ему особую записку о ней, видимо для представленія Государынѣ Императрицѣ (Маріи Александровнѣ), которая Сама пожелала дать Соханской знакъ вниманія своего къ ея таланту [1] Въ концѣ декабря того же года Соханская удостоилась получить отъ Государыни драгоцѣнную брошку, а весною слѣдующаго года была призвана въ Петербургъ и имѣла честь быть представлена Императрицѣ.

---

[1] См. Сочиненія Плетнева. Спб. 1885, стр. 418, 490, 622 и 61[illegible].

Первое печатное извѣстіе объ автобіографіи Соханской появилось въ письмѣ Плетнева къ Жуковскому отъ марта 1850 г., напечатанномъ въ *Русскомъ Архивѣ* 1870 (стр. 1304, № 7). Тогда же И. С. Аксаковъ и П. И. Бартеневъ пожелали было напечатать ее, какъ видно изъ ихъ писемъ къ Соханской. Но понятное чувство скромности не позволило ей напечатать автобіографію при жизни. Въ декабрѣ 1884 г. Н. С. Соханская скончалась. Всѣ оставшіяся послѣ нея бумаги перешли, по ея духовному завѣщанію, къ мужу племянницы ея Василію Григорьевичу Мозговому. Онъ нѣсколько лѣтъ собирался издать полное собраніе сочиненій ея и даже началъ было отдѣльное изданіе автобіографіи; но разъѣзды по службѣ, потомъ долгая тяжкая болѣзнь и наконецъ смерть его—остановили всякіе порывы. Изданіе автобіографіи прервано и свѣта не увидѣло [1] Теперь осиротѣвшее семейство предлагаетъ право изданія сочиненій Соханской вниманію любителей литературы и почитателей таланта ея (адресоваться можно: *въ Кіевѣ Маріи Онуфріевнѣ Мозговой, Ивановская улица, домъ № 57).* Пишущій эти строки считаетъ при семъ своимъ долгомъ сообщить *историческую* справку, извлеченную изъ подлинныхъ писемъ литераторовъ и журналистовъ къ Соханской. Еще въ 1862 году издатель *Отечественныхъ Записокъ* Краевскій заплатилъ ей за „Старину“ по 150 р. за листъ; И. С. Аксаковъ въ 1864 г. платилъ ей уже по 200 р. за листъ, за 6½ листовъ ея повѣсти „Рой Ѳеодосій Саввичъ на спокоѣ“ Аксаковъ прислалъ ей 1300 р. Автобіографія, по нашему убѣжденію, лучше „Роя“: она проще, естественнѣе, сердечнѣе. И ее слѣдовало бы напечатать со всею перепиской Плетнева съ Соханской. При автобіографіи сохранилось 69 писемъ Плетнева и его супруги, 23 письма Н. С. Соханской и двѣ ея первыя повѣсти: „Графиня Д.“ и „Мятель“ Гораздо бо̀льшая часть писемъ Соханской къ Плетневу должна храниться у вдовы его А. В. Плетневой (въ С.-Петербургѣ). Въ автобіографіи 167 страницъ, въ 4 долю листа, *весьма убористаго письма.*

Кромѣ автобіографіи, у наслѣдниковъ Соханской сохраняется множество разнородныхъ рукописей ея, съ которыми сто̀итъ хотя слегка ознакомить читателей, какъ по таланту автора, такъ и по содержанію самихъ рукописей. Это, во 1-хъ, черновыя и

---

[1] Въ настоящей книгѣ *Русскаго Обозрѣнія* (см. ниже) мы начинаемъ печатаніемъ эту интересную „Автобіографію“ и помѣщаемъ пока первую тетрадь ея. *Ред.*

бѣловыя рукописи ея собственныхъ сочиненій, какъ напечатанныхъ, такъ и не напечатанныхъ, *нерѣдко болѣе полныя, чѣмъ въ печати* [1]; во 2-хъ, письма ея къ матери и братьямъ, представляющія собою весьма цѣнный источникъ для ея біографіи и литературнаго развитія; въ 3-хъ, черновые наброски нѣкоторыхъ ея писемъ къ разнымъ писателямъ и редакторамъ, говорящіе о ея литературныхъ отношеніяхъ и сочиненіяхъ, въ 4-хъ, очень много писемъ къ ней отъ журналистовъ; писателей, свѣтскихъ дамъ, родныхъ и знакомыхъ, составляющихъ болѣе или менѣе важный матеріалъ для ея біографіи, для исторіи литературы и для исторіи общественнаго быта почти за сорокъ лѣтъ (1845—1884), и, въ 5-хъ, нѣсколько тетрадей весьма разнороднаго содержанія: „Extraits“ изъ сочиненія Théophile Ferière, разборъ Іоанны Д'Аркъ Шиллера, о Савинской сельской школѣ, разборъ Орлеанской Дѣвы въ переводѣ Жуковскаго, замѣтки о главныхъ лицахъ Шекспировскихъ піесъ, очеркъ личности князя А. Д. Меншикова, по поводу сочиненій П. И. Мельникова, „Крымскія замѣтки“, нѣсколько газетныхъ корреспонденцій, *не напечатанныхъ*, три сказки: „Настасья прекрасная и Елена премудрая“, „Сказка про Яблоновскіе острова“ и „Царь-Волкъ“, и множество разныхъ дѣловыхъ бумагъ.

Изъ всѣхъ этихъ рукописей въ высокой степени интересны *письма* самой Соханской, къ кому бы она ихъ ни писала. Это—другая автобіографія ея. Понятно, что всего теплѣе и сердечнѣе ея письма къ роднымъ. И если устранить изъ нихъ нѣсколько мѣстъ чисто-семейнаго и личнаго характера, то всю остальную, бо́льшую часть не только можно, но и *должно* напечатать. Книжка ея писемъ была бы истинно-благодѣтельною для многихъ молодыхъ сердецъ. Сколько вѣры, сколько любви и самоотверженія было въ ея душѣ! Встрѣчаются такія мѣста, при чтеніи которыхъ невольно осѣняешь себя крестнымъ знаменіемъ и молишься объ упокоеніи души ея. Кажется, свѣтъ Божій просвѣтлѣетъ, если раздастся ея задушевное слово: такая въ немъ свѣжесть и спокойная ясность души. Наше читающее общество вовсе не знаетъ Соханскую *какъ человѣка*. Изданіе переписки ея познакомило бы съ нею и послужило бы отличною рекомендаціей къ успѣху ея произведеній. О ея письмахъ можно

[1] Особенно въ повѣсти „Сосѣди“, „въ Гайкѣ“, „Послѣ обѣда въ гостяхъ“, въ „Словесной крохѣ хлѣба“, „Роѣ“ и въ „Старинѣ“ (цѣлая глава, неизвѣстная въ печати). Есть и драма „*Кража невѣсты*“, заимствованная изъ ея „Галлереи портретовъ“

выразиться ея же словами, сказанными объ американскомъ писателѣ Эмерсонѣ, философѣ и поэтѣ. „Это такая прелесть, глубина, свѣтъ извнутри себя, осіявающій все ваше личное человѣческое естество! Когда читаешь его сочиненія, выростаешь тогда въ невообразимую мѣру духовнаго роста“ Соханская въ письмахъ своихъ напоминаетъ Эмерсона. Вѣрующая, свѣтлая, увлекающаяся душа ея сквозитъ рѣшительно во всемъ, во всякомъ письмѣ ея къ близкому или родному лицу. Повторяемъ: за немногими исключеніями интимнаго характера, письма ея, написанныя съ такимъ талантомъ, должны составлять общественное достояніе; они такъ умны, такъ сердечно хороши, что изданіе ихъ является неотложнымъ долгомъ. Вотъ почему весьма желательно, чтобы всѣ бывшіе ея корреспонденты и корреспонденткіи возвратили ея наслѣдникамъ письма ея къ нимъ, хотя бы на время, для снятія съ нихъ копій, или въ обмѣнъ на свои.

Знаете-ли вы сердечныя строки блаженнаго Іеронима Стридонскаго († 419) о письмахъ? Ихъ кстати вспомнить теперь. „Всякій разъ, когда знакомый почеркъ переноситъ меня къ представленію вашего милаго лица, мнѣ кажется: или я не нахожусь здѣсь, или вы здѣсь присутствуете. Вѣрьте любви, говорящей истину: когда я писалъ это письмо, я видѣлъ васъ... Письма—это единственная вещь, которая людей отсутствующихъ дѣлаетъ присутствующими. Пишите же мнѣ. Если вы любите меня, пишите въ удовлетвореніе моей просьбы; если сердитесь, пишите хоть въ сердцахъ. Для меня и то будетъ большою отрадой, если получу письмо друга хотя и негодующаго. Быть можетъ, вы приведете свойственное всегда лѣности извиненіе, что вамъ нечего писать, ну въ такомъ случаѣ то и пишите, что вамъ нечего писать“

Помните-ли вы прекрасныя слова князя П. А. Вяземскаго о значеніи писемъ замѣчательнаго лица? Они сказаны 30 лѣтъ назадъ, и мы приведемъ ихъ теперь.

„По мнѣ, въ предметахъ чтенія нѣтъ ничего болѣе занимательнаго, болѣе умилительнаго, какъ чтеніе писемъ, сохранившихся послѣ людей, имѣющихъ право на уваженіе и сочувствіе наше. Самыя полныя, самыя искреннія записки не имѣютъ въ себѣ того выраженія истинной жизни, какимъ дышутъ и трепещутъ письма, написанныя бѣглою, часто торопливою и разсѣянною, но всегда, по крайней мѣрѣ на ту минуту, проговаривающеюся рукой. Письма—это самая жизнь, которую захватываешь по горячимъ слѣдамъ ея... Жизнь нетронутая и нетлѣнная,

такъ сказать, еще теплится въ остывшихъ чернилахъ. Но при этой сладости и свѣжести впечатлѣнія есть и глубокая грусть, которая освящаетъ это впечатлѣніе и тѣмъ придаетъ ему невыразимую прелесть. Тутъ предъ вами жизнь, но вмѣстѣ съ нею и осязательное свидѣтельство ея безнадежности, ея несостоятельности. Всѣ эти заботы, радости, скорби, эти мимоходныя исповѣди, надежды, сожалѣнія, все это и самыя лица, запечатлѣвшія ихъ, за скрѣпой руки и души своей, все это давно увлечено потокомъ времени, все это сдано въ архивъ давно минувшихъ дѣлъ, или вовсе предано забвенію и въ жертву настоящему"...

Подобную сладость впечатлѣнія и подобную прекрасную грусть вы непремѣнно испытаете и при чтеніи автобіографіи и избранныхъ мѣстъ изъ писемъ Надежды Степановны Соханской.

Ст. Пономаревъ.

17 марта, 1896 г.
Конотопъ.

АВТОБІОГРАФІЯ

Н. С. СОХАНСКОЙ (КОХАНОВСКОЙ).

(Род. 1823 г. февраля 17; сконч. 1884 г. дек. 3.)

I.

„Вамъ опасаться меня нечего, потому что для меня святѣе всего каждое истинное движеніе сердца человѣческаго.“

Плетневъ.

(Изъ письма его къ Н. С. Соханской отъ 8 февраля 1847 г.).

Мнѣ надобно имѣть эти слова передъ глазами, чтобы до конца высказать вамъ, если это вамъ угодно, мою простую безузорную сказку. Чѣмъ она можетъ занять васъ? Единственно только развѣ тѣмъ, что это сказка о человѣкѣ, и она истинна. Не зная, какъ благодарить васъ, я хотѣла выразить вамъ мою преданность и обѣщала полное развитіе моей жизни,—извольте его.

Мой папенька былъ родомъ изъ Черниговской губерніи — дворянинъ; но у него не было никакого состоянія, рѣшительно никакого. Вмѣстѣ съ другими братьями, папенька уступилъ отцовское имѣніе матери и двумъ сестрамъ и пошелъ искать доли по бѣлу свѣту. Сперва онъ служилъ въ какой-то палатѣ въ Харьковѣ; но около того времени, когда начали шумѣть войны седьмаго и осьмаго годовъ, папенька вступилъ въ Глуховскій кирасирскій полкъ, что̀ теперь, кажется, его высочества Михаила Павловича. Здѣсь онъ оставался до самой кончины. Въ двѣнадцатомъ году и потомъ, во всѣхъ войнахъ за-границею, папенька былъ казначеемъ. Сотни тысячъ прошли черезъ его руки; но, благодаря Бога, не зацѣпились въ нихъ. Когда маменька была помолвлена, кричали, что она выходитъ за богача; свои офицеры клялись, что у него, по крайней мѣрѣ, семь-

десять тысячъ: „это ужь такъ, еслибъ онъ и не хотѣлъ брать, такъ сами деньги сыпались;“ а когда маменька пріѣхала, то не нашла и семидесяти рублей: человѣкъ, остававшійся на квартирѣ, разбилъ шкатулку и унесъ всѣ огромныя суммы—четыре тысячи съ небольшимъ. Вы простите мнѣ эти строки. Если вы любите истинныя движенія человѣческаго сердца, то что̀ можетъ быть истиннѣе голоса дочери въ память ея благороднаго отца? Папенька былъ чрезвычайно аккуратенъ, умѣренъ во всемъ: курилъ двѣ трубки въ день, пилъ рюмку вина за столомъ, и у него было положеннымъ правиломъ, если онъ проигралъ въ вечеръ пятьдесятъ рублей, то онъ встаетъ изъ-за картъ, если же выигралъ, такъ то же самое; стало, ему нельзя было размотать своихъ тысячъ, если бы онѣ у него были. Маменька отъ самой кормилицы воспитывалась, или, говоря по настоящему, упитывалась у бабки съ материной стороны и отъ нея же выходила замужъ. Бабка хотѣла ей дать въ приданое свою деревню душъ въ пятьдесятъ; но маменька отказалась. Былъ живъ дядя, у него свои дѣти — настоящіе наслѣдники: это необходимо повело бы къ ссорамъ и неудовольствіямъ; маменька не захотѣла. Какъ вы видѣли, мой папенька — настоящій Малороссіянинъ— черниговецъ; но я—Русская. Родина моя та же, что маменькина: Курская губернія, отъ Корочи верстахъ въ двѣнадцати, хуторокъ Веселый. Я разсталась съ нимъ въ самомъ раннемъ дѣтствѣ; но и теперь онъ мнѣ помнится... Большой садъ спустился къ логу, большія березы; по ту сторону, въ Вилкахъ, дубовая роща; стоитъ старая липа, и на ней улей, а еще выше воронье гнѣздо... Кладочка черезъ ручей; склепъ дѣдушки заросъ малиной,—я пробираюсь заглянуть въ него, и братъ меня подсаживаетъ... Маменька построила тутъ домикъ, главными окнами къ большой дорогѣ, — столько цвѣтовъ! и жила въ немъ во время продолжительныхъ отлучекъ папеньки по полковымъ надобностямъ въ Москву и въ другія мѣста. Жила она не одна, а съ своею больною, медленно умирающею маменькой и съ двумя сестрами; а братъ ихъ все хлопоталъ по чужимъ дѣламъ въ Кіевѣ. Какъ говорится, будущее намъ улыбалось. Кирасирскія кадры пошли на поселеніе. По особенному довѣрію начальства, папенька сдѣланъ былъ военнымъ форшмейстеромъ, должность которую могли занимать только полковники. Но наше бѣдное счастье — сонъ. Еще полная радости о выгодныхъ перемѣнахъ, маменька осталась вдовою съ четырьмя дѣтьми: три сына и я; мнѣ было два года, и еще былъ братъ меньше меня. На другой день погре-

бенья папеньки, получено было ему производство въ майоры; но за патентъ на чинъ надобно было платить; а это значило, что маменька должна отказаться отъ чести быть майоршей; лѣченіе въ Харьковѣ и похороны взяли все; по долгамъ нашлось нѣсколько тысячъ; но онѣ были розданы, какъ обыкновенно между товарищами, по роспискамъ — на слово. Кто говорилъ: „я заплатилъ, да видно Степанъ Павловичъ забылъ уничтожить мою росписку;“ другой — что у него съ Степанъ Павловичемъ, кромѣ денежныхъ, были другіе счеты, и они давно сошлись; лучшіе говорили: „я заплачу“,—и никто не заплатилъ. Маменька бросилась хлопотать о пенсіонѣ. Двадцать лѣтъ безукоризненной службы, участіе въ четырнадцати полныхъ сраженіяхъ, Анна за храбрость,—кажется—могли бы (мы) чего-нибудь надѣяться? — Маменькѣ отказали за тѣмъ, что мужъ ея умеръ не въ томъ году, когда вышелъ указъ о пенсіонахъ. Все наше настоящее и будущее осталось прикованнымъ къ Веселому—къ ста семидесяти пяти десятинамъ земли, у которыхъ былъ мужской наслѣдникъ, кромѣ еще двухъ сестеръ дѣвушекъ. Бабушка скончалась; дядя, занятый огромнымъ денежнымъ процессомъ, въ которомъ онъ былъ вполовинѣ, далъ маменькѣ полную довѣренность на управленіе имѣніемъ и на всѣ хлопоты по дѣламъ. А у насъ, къ несчастью, было большое дѣло съ казенными поселянами о нѣсколькихъ тысячахъ десятинъ земли, жалованной еще царемъ Ѳеодоромъ Алексѣевичемъ, нашимъ прадѣдамъ—сотникамъ казацкимъ. Поселяне завладѣли землею; дѣло было начато, и дядя сказалъ: „хлопочи, Варя, я не обижу тебя и твоихъ сиротъ.“ И маменька принялась хлопотать, таскаться по судамъ, со всѣмъ самоотверженіемъ матери, видящей въ этомъ кусокъ хлѣба для своихъ дѣтей.

Первое, когда я начинаю себя помнить, это вечеръ: маменька и тётенька сидятъ вокругъ стола и работаютъ, а мы всѣ трое на столѣ (меньшой мой братъ умеръ), мы чуть дышимъ и слушаемъ, какъ тётенька разсказываетъ намъ сказку про Яблоновскіе Острова. Я до сихъ поръ помню эту сказку. И что странно: меня поразили не похожденія Иванъ-Царевича съ его Вечеркой и Полуночникомъ, какъ они ни чудны, но мѣсто подвиговъ, пустынная великолѣпность сказочной природы. Иванъ-Царевичъ выбралъ дорогу, о которой было написано на столбу, что нѣтъ ей ни конца ни края, и вотъ онъ ѣдетъ—ѣдетъ—и остановился. Кругомъ поле, смотришь-смотришь—и все поле, ничто не шелохнется, а огненная рѣка кипитъ и пламя вски-

дывается косяками. Я и сію минуту вижу, какъ рѣка перестаетъ горѣть и по ней только чуть-чуть переваливается низенькое сизоватенькое пламя, а по ту сторону—Яблоновскіе Острова,—такъ и стелется трава, густая-густая, зеленая... Коты заморскіе, птицы райскія поютъ пѣсни царскія... Почему я знаю? Я, можетъ быть, отъ того теперь такъ люблю свои украинскія степи, что онѣ совпадаютъ съ первою картиной, развернувшеюся въ моемъ младенческомъ воображеніи. Дѣтство мое едва только началось дома, и у него не было ни конфектъ и никакихъ сюрпризовъ; я не помню купленной игрушки, но у насъ было такъ много любви, столько ласкъ и поцѣлуевъ! Мы долго не знали, кто наша настоящая мать. Маменька—въ безпрестанныхъ разъѣздахъ по дѣламъ, а тётеньки, кажется, спорили одна передъ другою, кому лучше замѣнить ее. Слѣдствіемъ этого было совершенное удаленіе насъ отъ дѣвичьей, отъ крестьянскихъ мальчишекъ и дѣвченокъ. Мы всегда были одни, всегда въ залѣ, или въ гостиной, на глазахъ у старшихъ. Я не любила куколъ и никогда не играла въ нихъ, безъ сомнѣнія потому, что росла между двумя мальчиками. Какъ только удобная минута, старшій братъ даетъ намъ по веревочкѣ въ зубы: это мы—его лошади, онъ—нашъ кучеръ. Кучеръ не забываетъ запастись прутикомъ, и мы отправляемся. Намъ кричатъ: „тише, тише! убьетесь!“ Мы летимъ; братъ, какъ по-плотнѣй, въ корнѣ, т.-е. у него въ зубахъ двѣ веревочки, а я на пристяжкѣ. Кучеръ прихлестываетъ... —Ай, Петичка, больно! „А чего жъ ты не завиваешься? Завивайся!“ И я голову на бокъ—и катай...

Какъ-то маменька была немножко нездорова, вѣрно простудилась: изъ города привезли оподельдокъ. Я никогда не видала его, и меня чрезвычайно занялъ печатный листочекъ, которымъ была обернута баночка. Буквы я кое-какъ знала по карточкамъ, глядя какъ учился братъ: А—Акула, В—Верблюдъ, это я хорошо знала,—и стала у всѣхъ спрашивать, складывать по своему и къ вечеру я читала: *когда укуситъ комаръ, или пчела, или другое какое ядовитое насѣкомое.* Вотъ моя азбука, моя учительница русской грамоты! Послѣ оподельдочной обертки я стала читать всякую книгу. Надобно Вамъ сказать, что домъ нашъ издавна прилежитъ къ книгамъ. Еще маменьку въ дѣтствѣ иначе не бранивали, какъ батя-книжникъ. Поэтому Вы не удивитесь, когда я Вамъ объявлю, что у насъ было много книгъ. Отъ дѣдушки ихъ осталось довольно, а отъ моего папеньки и того больше. Всѣ онѣ, на двухъ большихъ полкахъ, помѣща-

лись въ дѣтской—и самымъ удобнымъ образомъ: къ одной полкѣ можно было добраться съ лежанки, поставивъ нѣсколько сундучковъ; а другая была надъ самою кроватью, и стоило только нагромоздить подушекъ. Я начала читать. Какъ никому не приходило въ голову заняться выборомъ для меня книгъ, то я сама нашла рѣшительное средство. Я брала книги, глядя на обертку: перечитала красненькія, потомъ принялась за синенькія. Мнѣ и не думали запрещать.—„Пусть себѣ читаетъ, что ни читаетъ,—говорили: все равно не понимаетъ. Благо, что ребенокъ за книгою“ Оно и въ самомъ дѣлѣ: не благо-ли это было, послѣ лихаго завиванья на пристяжкѣ, видѣть семи-восьми-лѣтнюю дѣвочку гдѣ-нибудь въ углу, подъ ломбернымъ столомъ, которая, лицомъ къ стѣнѣ, по битымъ часамъ сидитъ—не шевельнется и только себѣ что-то бормочетъ подъ носъ?... „Есть неизъяснимая сладость въ тѣхъ воспоминаніяхъ, которыя уносятъ насъ къ началу умственныхъ трудовъ нашихъ! Это первая чистая любовь—врожденное желаніе совершенства. Оно, какъ святыня, почіетъ во глубинѣ нашего сердца“... Эти слова слишкомъ прекрасны, чтобы имъ быть моими; онѣ—Ваши [1] и должны оправдать меня...

Менѣе нежели въ мѣсяцъ я догнала брата и пошла съ нимъ рука въ руку, хотя онъ былъ впереди меня почти тремя годами. Боже мой! сколько пыла кипѣло въ этой маленькой грудёнкѣ! Я учила все: о Финикіанахъ, Катехизисъ, Священную Исторію, Рюрика, отыскивала на папенькиной почтовой картѣ рѣку Амуръ, потому что знала, кто назывался такъ. Припавъ на колѣнахъ къ стулу, мы съ братомъ въ праздникъ—въ Воскресенье, когда всѣ, послѣ обѣда, улягутся спать, вмѣсто игры и шалостей, дѣлывали задачи. Развернемъ Ариѳметику и начнемъ выписывать по порядку всѣ задачи со всѣми точечками и черточками, доходимъ до кубическихъ корней. Только и слышно: „теперь тебѣ, Надичка“,—„теперь ты, Петичка“.—Одинъ напишетъ и сотретъ, и другая также, а между тѣмъ оба отъ всего сердца вѣрятъ, что они учатся и дѣлаютъ задачи. У насъ была одна аспидная доска и только одинъ грифель, и всѣхъ книгъ по одной; и ужь руководителя никакого. Намъ только задавали уроки и спрашивали, твердо-ли мы ихъ пролепечемъ на память. Но я должна сказать, что способъ обращенія съ ученьемъ у

---

[1] Изъ статьи Плетнева „Путешествіе по Россіи Государя Наслѣдника“ (см. сочиненіе Плетнева, т. I, стр. 307) *С. П.*

насъ былъ прекрасный, и, быть можетъ, ему-то именно я и обязана своею страстью къ наукѣ. Насъ никогда не принуждали къ ученью ломовою силой, но мы безпрестанно слышали, что безъ ученья нельзя жить, что только тотъ и благородный человѣкъ, кто добрый да много знаетъ, что дѣвочкѣ непремѣнно должно учиться, чтобъ быть умненькою, а не крестьянскою дурой. Вмѣсто того, какъ всегда бываетъ: когда ребенокъ зашалитъ, его ставятъ въ уголъ, или еще грознѣе, садятъ за книгу. „Вотъ какъ посидишь ты цѣлый день, такъ будешь знать!“ и ребенокъ пятится отъ книги, какъ не знаю отъ чего. Съ нами было иначе: „ты шалишь! Встань изъ-за книги. Положи ее, положи! Ты ея недостоинъ, недостоинъ смотрѣть на нее. Подай сюда, подай“... И у насъ скорѣй можно было взять по волоску всѣ волосы съ головы, нежели нашу книгу. Мы кричимъ и плачемъ, и обѣими рученками прижимаемъ дорогую книгу къ сердцу. Вы не будете смѣяться, Петръ Александровичъ? А, вѣдь, это точно очень смѣшно: я и теперь какъ-то благоговѣйно смотрю на книги. Но это ужъ, кажется, моя принадлежность: сохранять впечатлѣнія. Бо̀льшая часть нашихъ книгъ была дареная, т. е. за негодностью для другихъ поступившая къ намъ. У насъ была Географія съ выѣденнымъ бокомъ и пр., и пр., и въ томъ числѣ Катехизисъ, писанный по церковному. Намъ нельзя было надѣяться замѣнить его другимъ, и мы начали бороться съ титлами и выучились по-славянски. Маменька презабавно разсказываетъ изумленіе моей прабабушки, когда мы пріѣхали къ ней и маменька, въ Воскресенье, заставила меня прочитать для старушки акаѳистъ Спасителю. По обыкновенію я стала на колѣна и начала читать. Прабабушка не могла молиться. Когда я кончила, она дала мнѣ цѣлковый, крестилась сама и крестила меня и маменьку: „И, Варюшка, Господь съ тобой! что это у тебя за дѣтеночекъ?“ и, отворотясь, плевала, боясь, чтобы меня не сглазить. Но я не боялась „глаза“.

Всякій прочитанный листокъ тянулъ меня къ другому. Я стала уже находить книгамъ другое различіе, нежели обертка. Я думала о прочитанномъ, я задумывалась надъ нимъ. Въ катехизисѣ было сказано, что Богъ безначаленъ и безконеченъ. Послѣднее я понимала, что Онъ будетъ, будетъ и все будетъ; но безначаленъ?... Какъ это всегда, всегда быть, такъ, чтобы и никогда не начинаться? Я задумывалась объ этомъ до того, что въ глазахъ у меня темнѣло, начинали расходиться какіе-то круги, все одинъ одного глубже, глубже; стулья и столы куда-то дѣ-

вались, я вдругъ видѣла себя въ какомъ-то огромномъ безцвѣтномъ пространствѣ и наконецъ совсѣмъ забывалась. Но это забытье было какъ-то чрезвычайно пріятно. Въ исторіи Наполеона я вычитала, что когда онъ еще былъ мальчикомъ въ школѣ, то, послѣ уроковъ, онъ всегда уходилъ въ садъ и тамъ ложился лицомъ внизъ на скамейку и все читалъ книгу. И мнѣ непремѣнно хотѣлось поступать такъ же, но случилось важное препятствіе: въ саду у насъ не было никакой скамейки, а на деревянномъ диванѣ неловко, и я отыскала себѣ уголочекъ въ гостиной между диваномъ и печкой, гдѣ меня не было видно; съ ногами, вся усаживалась на креслѣ, гладила кошку и читала, читала и все любила думать: какъ это Богъ безначаленъ?... Наконецъ, у меня стали отнимать книги, но это ужъ было совсѣмъ поздно и только еще болѣе пристращало меня. Я знала наизустъ тысячи стиховъ: и *оду Богъ*, *Вельможу*, *Видѣніе Мурзы*, *Фелицу*; цѣлыя строфы изъ *Онѣгина*, *Людмилу* Жуковскаго. Читала и *Цыганъ* Пушкина и его *Братьевъ-разбойниковъ*, *Душеньку*. *Абидосская Невѣста* выучила меня читать всякое письмо, хотя будь оно написано по-іероглифски. Я знала на память почти всего Дмитріева; князь Долгорукій былъ мнѣ свой человѣкъ. Чуть-ли не съ нимъ первымъ я познакомилась: переплетъ такой пресоблазнительный — красненькій и весь какъ-будто въ яблокахъ, и еще съ портретомъ, и такъ кудряво написано:

Природа жизнь дала,
А страсти воспитали.

Вѣрно, съ первымъ. Но этимъ еще не все оканчивалось. Я читала: *Россіаду*, *Владимиріаду*, *Бѣдную Лизу*, *Вѣстникъ Европы*, *Русскую Исторію* Глинки; *Потерянный Рай*, *Тысячу и одна ночь*, начинала еще какое-то *Тысяча и одно дурачество*, да у меня отняли; читала *Ивана и Петра Выжигиныхъ*, какихъ-то *Селима* и *Дамасину*, *Рославлева*, *Лѣсъ или Сенъ-Клерское Аббатство*, *Монастырь св. Колумба* или *Рыцарь краснаго оружія*, *Аминту* или *Дѣти аббатства*—не перечтешь всего. Я знала главныя черты греческой миѳологіи и нѣсколько шведской; знала, что такое рифма, какое различіе между трагедіей и комедіей (первая всегда оканчивается несчастьемъ, а послѣдняя счастьемъ), что такое куплетъ и что строфа. Если взять во вниманіе, что все это пріобрѣлось безъ всякой посторонней помощи, однимъ дѣтскимъ, едва осьмилѣтнимъ соображеніемъ, то мои познанія явятся довольно обширными. Я говорила: „не умру, пока не

напишу комедію!“ и начинала писать. Эти слова имѣли настоящій смыслъ, потому что я была чрезвычайно больной ребенокъ; горячки рѣшительно искали моей смерти, не заботясь нимало о ходѣ моей комедіи. Наконецъ всего, я ослѣпла: меня простудили, и у меня на обоихъ глазахъ сдѣлались бѣльма. Тётенька меня вылѣчила; но, увы! комедія моя не существовала. Вѣроятно, она поступила на обертку, или на обвязку чего-нибудь, и ахъ! не есть-ли это пророчество, что подобная же участь ждетъ и всѣ мои дальнѣйшія комедіи?...

А между тѣмъ маменька не переставала хлопотать, заложила серебро, кое-какія вещи, чтобы продолжать дѣло. Дѣло сенатъ рѣшилъ въ нашу пользу, но дядя пріѣхалъ—съ женою. Ему показалось слишкомъ мало получить безъ хлопотъ до двухъ тысячъ десятинъ земли; онъ захотѣлъ болѣе: повелъ все дѣло снова, поссорился съ присутствующими и проигралъ все до-чиста. Маменька просила вознаградить ея собственные убытки,—по крайней мѣрѣ, выкупить ей серебро. Ей отвѣчали: „заплати ты тринадцать частей, а я заплачу четырнадцатую“ Я скажу въ двухъ словахъ: мы остались на пятнадцати десятинахъ земли, и дядя далъ намъ одного работника, и того только съ пятью пальцами, а другіе пять у него сведены... Но богатъ Богъ милостію! Тётеньки не хотѣли съ нами разстаться; попродали свои частицы, что можно было продать; маменька прибавила еще папенькину семью людей и, такъ собравъ до семи тысячъ, поѣхала въ Малороссію пріискивать имѣньице и повезла меня въ Харьковъ. Въ мартѣ 1834 года я поступила въ Харьковскій Институтъ, а въ слѣдующемъ году маменька купила теперешнее наше имѣніе: 45 душъ и четыреста слишкомъ десятинъ земли. „И все это за семь тысячъ?“ спросите Вы.—Да.—Мы только не хотимъ замѣчать явленій въ нашей жизни, не хотимъ смотрѣть на нихъ въ духѣ Всеблагого Промысла; а какъ бы намъ сдѣлались ясны и понятны, теперь неизъяснимыя игры такъ-называемаго *случая*. Это имѣніе и числомъ душъ, и количествомъ земли рѣшительно подходитъ подъ то, отъ котораго отказалась маменька, не желая поселить вражды между сыномъ и матерью. Я ничего не сказала Вамъ о своемъ поступленіи въ Институтъ; но что я скажу Вамъ? Это такая долгая, тяжелая цѣпь исканій, убійственныхъ отказовъ и потомъ опять надеждъ, и слезъ, слезъ... Я поступила на сумму Военнаго поселенія и пробыла въ Институтѣ съ небольшимъ шесть лѣтъ—до 1 іюля 1840 года.

P. S. Если бы я прежде, хотя немного, знала, что̀ такое зна-

чить говорить о себѣ, разсказывать самого себя, какъ это тяжело, неловко, я бы никому въ свѣтѣ, ни даже Вамъ, Петръ Александровичъ, не дала бы такого несносимаго обѣта. И что непріятнѣе всего,—говоришь, кажется, правду, а выходитъ все такъ, да не такъ: являешься какимъ-то фениксомъ, котораго въ настоящемъ дѣлѣ ужь никакъ не могло быть. А все оттого, что какъ заговоришь о себѣ—лѣвая сторона дѣлаетъ пируэтъ и становится въ тѣни; на авансцену выступаетъ одна правая — и пошло раздолье.

Но, Боже мой! чтожъ это я дѣлаю? Я расписалась къ Вамъ такъ, какъ-будто бы Вы, Петръ Александровичъ, были такой же человѣкъ, какъ и мы, и не членъ...

Еще разъ, мое Вамъ глубокое почтеніе!

26 іюня 1847 г.

II.

Моя институтская жизнь рѣзко дѣлится на двѣ половины. Господу угодно было съ девяти лѣтъ начать учить меня терпѣнію, слезамъ, безмолвной борьбѣ и высокой надеждѣ на Него одного, на одну Его милость и заступленіе.

Какъ не умѣющая читать ни по-французски, ни по-нѣмецки, я поступила въ первѣйшій классъ. Это маленькое отдѣленіе отъ перваго класса. Самый старшій—третій классъ; а первый имѣетъ у себя приготовительное отдѣленіе подъ именемъ *первѣйшаго*. Сюда поступили мы всѣ, *поселянки*, какъ назвалъ насъ Государь, весь первый комплектъ воспитывающихся на сумму Военнаго поселенія. Грустно присутствовать при перемѣнѣ вещей, когда, выжитый изъ силъ, одинъ порядокъ рушится, а на мѣсто его возстаетъ другой; а если еще прійдется испытывать на себѣ явленія этихъ переворотовъ—становится иногда очень тяжело. Именно въ такое-то тяжелое время я попала въ институтъ.

Начальница—Авдотья Григорьевна Литинская, какъ говорили, любимица Маріи Ѳеодоровны, была уже очень давно здѣсь и будто, по завѣщанію покойной Императрицы, должна была и оставаться тутъ до самой смерти. Этому почти можно было вѣрить, глядя, какъ она размѣстилась. Инспектрисой была сестра ея Александра,—женщина, въ сущности, даже очень добрая, чрезвычайно набожная, но какъ-то безалаберная и безхарактерная въ высшей степени. Никакой самостоятельности, никакого „нѣтъ“, котораго бы малѣйшій взглядъ начальницы не превратилъ въ

да. Совершенно завися отъ сестры и, вѣроятно, чувствуя, что только по ея милости она занимаетъ свое мѣсто, Александра (такъ называли ее всѣ) дрожала передъ нею, входила въ ея комнату на цыпочкахъ; „да-съ, очень, очень-съ хорошо, Авдотья Григорьевна!“—были всѣ слова ея. Бѣдная женщина, говорили, немножко тронулась по смерти мужа,—и точно, у нея бывали престранныя выходки, такіе отвѣты и рѣчи, которые снискали ей имя *сумасшедшей.* Пріѣхалъ какъ-то къ намъ губернаторъ во-время обѣда.—Что это дѣвицамъ подаютъ супъ на мелкихъ тарелкахъ? замѣтилъ онъ. Развѣ нѣтъ глубокихъ?—„Есть, очень есть-съ; да всѣ перебиты“ Главною учительницей и распорядительницей музыки была другая, *глухая* сестра начальницы *Катра*; была еще третья *Софья*, да та уже ничему не учила, а, такъ себѣ, жила просто въ институтѣ.

Инспекторъ и теперь тотъ же: Гулакъ-Артемовскій [1]—умный, очень умный, краснорѣчиво умный, но хитрый, іезуитъ немножко. Онъ былъ всѣмъ обязанъ начальницѣ: и инспекторствомъ и, что̀ еще болѣе, своею прелестною восхитительною женой. Говорятъ, въ мірѣ нѣтъ романовъ; а, напр., вотъ этотъ: человѣку женатому, довольно серіозныхъ лѣтъ, плѣниться молоденькою, шестнадцатилѣтнею ученицей, почти уморить жену, осиротить двухъ сыновей и получить ненависть и неопредолимое отвращеніе? Лиза Панютина не могла слышать имени Артемовскаго, она дрожала какъ въ лихорадкѣ. Ее оставили пепиньеркою; начальница велѣла ей надѣть бѣлое платье, заложила въ волосы свѣжую розу и повела съ собой въ институтскую церковь. Тамъ ждалъ Артемовскій. Онъ заплатилъ за нее въ казну деньги и женился. Лиза помѣшалась. Доктора, лѣкарства не помогали. Черезъ мѣсяцъ отъ прежней очаровательной Лизы осталась одна изможденная,безсмысленная тѣнь. Нашлась благородная, добрая женщина, сжалилась надъ нею и увезла ее къ себѣ въ деревню. Тамъ окружила она ее всею заботливостью материнской любви и, безъ сомнѣнія, эта новая прелесть (Лиза не помнила своей матери), удаленіе отъ глазъ ненавистнаго образа, тишина и умиряющая кротость сельской природы способствовали болѣе всѣхъ лѣкарствъ, такъ что мало-по-малу къ Лизѣ, черезъ годъ, возвратился разсудокъ. Я знаю, что я далеко зашла, куда не слѣдуетъ; но что жъ мнѣ дѣлать, когда я лучше готова говорить о всѣхъ и обо всемъ, только не о самой себѣ!

[1] Петръ Петровичъ, извѣстный малороссійскій поэтъ, род. 1790 г. янв. 16, скончъ. въ 1865 г. сент. 30. (*С. П.*).

Вы видѣли, что власть хорошо была раздѣлена: она заключалась вся въ рукахъ одной начальницы: Артемовскій не могъ же очень скоро противорѣчить ей, да и какая ему въ этомъ польза? Вы ничего себѣ не можете представить грустнѣе, безжизненнѣе и строже порядка, въ который вступили мы. Не знаю, о какомъ развитіи можно было думать: здѣсь все сжималось и дрожало, какъ подъ сорока-градуснымъ морозомъ. Начальница была для насъ какимъ-то грознымъ, невидимымъ, недосягаемымъ божествомъ. Всегда больная,—Богъ ее знаетъ, какою застарѣлою болѣзнію, только не слѣглою,—она лѣчилась и молилась. Дежурная пепиньерка то-и-дѣло читала ей духовныя книги; швейцаръ безпрестанно докладывалъ о докторахъ и монахахъ изъ Іерусалима; ее называли *святою*. Въ мѣсяцъ разъ, иногда и того менѣе, въ концѣ двѣнадцатаго часа, она пройдетъ по корридору мимо классовъ—величественная, тяжело ступающая, окруженная многочисленною свитой: всѣ недежурныя дамы за нею; любимая ею, madame Троицкая ведетъ ее подъ одну руку, другою она опирается на прелестную Голубь; три остальныя пепиньерки ждутъ малѣйшаго мановенья, чтобы летѣть къ передачѣ ея велѣній, ея благоволеній. Александра перебѣгаетъ изъ одного класса въ другой, заглядываетъ въ дортуары: „Авдотья Григорьевна идутъ! Авд. Гр. идутъ! Tenez-vous bien! redressez-vous!“ Толкаетъ въ спину, хватаетъ за плеча.—„Ne vous bougez nullement! regardez votre cahier. Vous serez sans dîner!“ Чепчикъ у нея дрожитъ, платокъ подлетываетъ; она смѣется и краснѣетъ... Учитель поглядываетъ на свои часы: нельзя-ли ему поскорѣй убраться? Дверь въ третій, или во второй классъ съ шумомъ растворяется, объ половинки настежь,—и Авд. Гр. входитъ. Штатъ ея неподвижно остается въ дверяхъ; она садится на дамское мѣсто, кладетъ на столикъ, по самые локти, свои бѣлыя, какъ хлопчатая бумага, пухленькія ручки, жмурится, будто приглядывается, и, наконецъ, киваетъ головой... Дѣвицы низко присѣдаютъ и опускаются на свои скамейки, дама стоитъ—не смѣетъ сѣсть,—учитель и подавно. Въ комнатѣ становится мертвенно-тихо, ничто не шелохнется, и въ этой тишинѣ странно звучитъ несмѣлый полуголосъ учителя и раздается робкій, трепещущій голосокъ ученицы—сперва поблѣднѣвшей, когда ее вызвали къ отвѣту, потомъ покраснѣвшей до того, что пятна у ней выступали на лбу. Начальница, кажется, слушаетъ, почти легла на столикъ, закрыла глаза рукой... Проходитъ минутъ пять-шесть, много десять, звонятъ къ обѣду,—Авд. Гр. поды-

мается—дѣвицы вскакиваютъ, какъ стая вспугнутыхъ голубей, и не смѣютъ сѣсть, пока чепецъ Авд. Гр. не скроется изъ глазъ и почти не притихнутъ ея шаги. Страхъ былъ всеобщій, совершенно паническій—необъяснимый. Было-ли это знаніе, что судьба всѣхъ, въ институтѣ живущихъ, и даже прикосновенныхъ сюда, зависитъ отъ Авд. Гр., отъ одного взгляда ея? Поражала-ли эта торжественность, недоступность, грозно-царское величіе ея пріемовъ? Только не было лица въ институтѣ, начиная отъ дамъ и учителей до послѣдняго истопника, которое бы, заслыша ея звучные шаги и (Боже сохрани!) голосъ, не вздрогнуло бы и не поискало глазами мѣста, куда бы скрыться. Но что еще увеличивало страхъ, это жесткость, иногда даже громогласная грубость рѣчей и несправедливость, тяжелая неправда. Въ каждомъ классѣ у начальницы, слѣдовательно, и у Александры и т. д., была фаланга любимицъ: это—дочери богатыхъ родителей. Онѣ однѣ были de bonnes enfants; ихъ только и знали, ими занимались; о нихъ только и хотѣли слышать, и ласки къ нимъ какъ-будто требовали, чтобы съ другими обходились еще суровѣе, еще безпривѣтнѣе. Ковры и шали дѣлали свое дѣло: покрывали и застилали все, и награду могъ получить всякій, развѣ кромѣ достойнаго: она покупалась; золотой вензель, разумѣется, по-дороже, а медаль серебрянная по-дешевле. Бѣдная начальница молилась, раздавала милостыню, собирала нищихъ, чуть-ли не знала наизусть всѣ святыя книги, давала на церкви, на монастыри, посылала въ Іерусалимъ—и не видѣла, что это она отнимаетъ у однихъ, чтобы по своей прихоти раздавать другимъ; что въ то время, когда она кормитъ за двадцать верстъ собранныхъ нищихъ и цыганъ,—дѣти, собранныя къ ней гораздо высшею властью, голодны, всегда голодны, потому что нѣтъ силъ ѣсть черствый, прогорклый хлѣбъ и углемъ почернѣвшую говядину. Она, быть-можетъ, одѣваетъ и обуваетъ однихъ,—и, не вслѣдствіе-ли этого, другія ходятъ всѣ въ заплатахъ, въ такой гадкой обуви, что стыдно вспомнить? Имъ надобно учиться, а у нихъ нѣтъ книгъ; почти на сорокъ душъ—семь изорванныхъ географій и не болѣе пяти ариѳметикъ. Нужна бумага для тетрадей—дадутъ одинъ листъ; а остальное, гдѣ хочешь бери, а чтобъ тетрадь была! Ея нѣтъ,—потому что родные за триста, за четыреста верстъ, купить не на что,—и ты наказана за безпорядокъ, за непослушаніе, нерадѣніе,—за дерзость: какъ смѣть ослушаться велѣній начальницы, а она приказала, чтобъ были тетради! Она молится до полуночи, вы-

читываетъ акаѳисты,—говорили,—всегда плачетъ; а вмѣстѣ съ нею —тамъ,—далеко,—въ едва освѣщенномъ сальнымъ огаркомъ дортуарѣ, горько плачетъ семи-восьмилѣтнее дитя и кладетъ уже сотый поклонъ—придумайте, за что? За immoralité, indécence, pour la mauvaise conduite sans nom—за то, что ребенокъ улыбнулся, когда въ классѣ былъ учитель. И за подобные-то безъименные ужасы мы были блѣдны отъ покаянныхъ стояній! Вы не повѣрите, когда я вамъ скажу, что мы клали по двѣсти, по триста поклоновъ въ вечеръ, и не въ счетъ еще тѣ, что неровно положатся. Разорванъ чулокъ,—становись на каѳизмы! Не знаешь урока,—вмѣсто того, чтобы его доучить—читай канонъ и съ неизбѣжными поклонами кайся!

Вотъ въ какомъ порядкѣ были дѣла, когда Богу угодно было помѣстить меня въ институтъ. Я не буду говорить вамъ о той тоскѣ и слезахъ, которыя естественно должны были осилить бѣдную застѣнчивую дѣвочку, вырванную изъ такого нѣжнаго семейства и брошенную въ толпу, чужую, безучастную, гдѣ все для нея ново; все такъ странно, сурово смотритъ. Мнѣ, видимо, не суждено было учиться по азбукамъ: какъ русской, я также не видала ни французской, ни нѣмецкой азбуки, и вы бы, почтеннѣйшій Петръ Александровичъ, поставили меня въ самое затруднительное положеніе, если бы захотѣли спросить: сколько буквъ въ какой азбукѣ, или въ какомъ порядкѣ онѣ слѣдуютъ?—Я этому не училась: пожалуйста, не спрашивайте.—Мы поступили; дама распредѣлила насъ между отличнѣйшими, первѣйшими дѣвицами, которыя должны были приготовить, всякая свою, къ завтрашнему французскому уроку; сама она была такъ обязательно добра, что выписала на бумажкѣ, какъ выговариваются *eau*, *au* и проч. Намъ слѣдовало выучить 10—15 строкъ изъ методы Эртеля—читать, переводить и на память сказывать.

Надобно судить по себѣ: что̀ за охота возиться съ другимъ, когда самому надобно дѣло дѣлать? Наши маленькіе менторы показали намъ разъ-другой, какъ слова читаются; нѣкоторые умилостивились: переписали русскими буквами, какъ выговаривать по-французски, и все дѣло тѣмъ кончилось. На другой день пришелъ мужчина—лысый, съ стоячими на вискахъ волосами, и еще безпрестанно ерошитъ ихъ; зобъ, какъ у Петинаго снигиря, красный. Мужчина кричитъ, барышни всѣ встанутъ да въ одинъ голосъ кричатъ еще больше, чѣмъ онъ. Я чуть не плакала. Потомъ намъ сказали, что этотъ господинъ, мосьё Оливари, зоветъ насъ, всѣхъ новенькихъ, къ себѣ. Дама насъ уста-

вила кругомъ его стола. Онъ, кажется, хотѣлъ, чтобъ и мы также кричали: мы не съумѣли. Онъ топалъ ногами, говорилъ—говорилъ, кричалъ и руками размахивалъ, а чего? Кто его знаетъ! Нѣмецкій языкъ шелъ такимъ же путемъ; но, какъ здѣсь, благодареніе Господу, почти сколько пишется, столько и выговаривается, и какъ сами наши великіе менторы были не слишкомъ далеки въ немъ, то и не мудрено было приблизиться къ нимъ... на почтительное разстояніе.

Черезъ четыре мѣсяца былъ выпускъ; мы перешли въ первый классъ; сентября перваго началось ученье.

Я и дома не очень много шалила; а теперь я была, какъ говорится, тише воды—ниже травы. Александра распоряжалась мѣстами и засадила меня на самую послѣднюю лавку, къ отъявленнымъ mauvais sujets, что лѣтъ по пяти были въ одномъ классѣ. Положимъ, что я не много знала, однако же на первыхъ скамьяхъ были и такія, что въ десять разъ знали менѣе моего, едва не по складамъ читали по-русски. Если бы первая и послѣдняя скамьи оканчивались только сидѣньемъ, объ этомъ не стоило бы и упоминать; но это размѣщеніе несло за собою сильныя преимущества и еще сильнѣйшія неудобства. Учители только и занимались, что съ сидящими на первыхъ скамейкахъ да еще на вторыхъ; ихъ они спрашивали, растолковывали имъ; а до насъ, до послѣднихъ, почти не было никакого дѣла: зачѣмъ терять золотое урочное время съ бездарностію и заклейменною лѣностію? Это одно, а во-вторыхъ: книгами завѣдывали отличныя дѣвицы. Онѣ брали на свои первыя лавки по двѣ и по три книги, хотя тамъ, почти у всѣхъ, были книги свои; на вторыя—выбирали какія похуже, а намъ—бросали, что останется, безъ начала и безъ конца,—только бы мы не смѣли сказать, что намъ не дали книгъ. Я выучивала уроки изъ-за плечей, стоя за лавкою и переходя съ мѣста на мѣсто. И какъ же поощрялись эти съ такимъ трудомъ пріобрѣтаемыя знанія? Черточкой, черточкой—значитъ: не спрашивали; а иной, хоть и не спрашивалъ, а ставитъ единицу: вѣдь я сижу на послѣдней лавкѣ. Но на мое счастье, учитель русской грамматики, Михаилъ Ивановичъ Ильенко,—веселый, насмѣшливый (я еще тогда не знала, да и не могла понимать, какъ онъ благороденъ и въ высшей мѣрѣ честенъ),—вѣрно разсудилъ, съ своимъ огромнымъ, высокимъ лбомъ и такимъ же кокомъ, что, хотя много званныхъ, а мало избранныхъ, однако же этимъ звателя не освобождаются отъ проповѣди на всѣхъ стогнахъ и распутіяхъ

міра. „Кто знаетъ,—говорилъ онъ,—гдѣ таится избранный?“ Онъ занимался со всѣми, не забывалъ никого: также шутилъ и тонко подсмѣивался надъ хранительницами передовыхъ скамей, какъ и заднихъ; онъ сталъ отличать меня. „Не мѣсто краситъ человѣка, а человѣкъ мѣсто. Слышите, дѣвица Сохацкая? Запишите это... такъ, для памяти“ Михаилъ Ивановичъ сдѣлался моимъ ревностнымъ покровителемъ; поговорилъ обо мнѣ Артемовскому, разсказалъ учителямъ,—и меня стали спрашивать, заниматься мною. Все бы шло хорошо: русскіе предметы меня не пугали, да вотъ французскій языкъ!.. Съ моими началами, вы можете судить, какъ онъ легко поддавался мнѣ. Эти *ent* губили меня: то выговариваются, то не выговариваются. А тутъ еще несчастье: на нашей лавкѣ сидѣла нѣкто, m-lle Ленева, она уже была очень давно здѣсь и училась изъ французскаго языка хорошо: мнѣ бы это и на руку, да если бы я сидѣла возлѣ нея; а то совсѣмъ на другомъ концѣ. И вотъ когда намъ на пятерыхъ дадутъ одну книгу французской методы, она всегда достанется на край Леневой. Напрасно я возстаю—мнѣ отвѣчаютъ: „кто жь будетъ за нашу лавку тянуть, если Ленева хорошенько не выучитъ? Ужь пусть ее учитъ!“—Я бы и переписала какъ-нибудь, такъ на мою бѣду собрались всѣ возможныя невозможности. Надобно вамъ сказать, что Александра дарила какимъ-то особеннымъ предпочтеніемъ французскихъ учителей: бывала во время ихъ классовъ, наказывала строже за ихъ уроки, сама осматривала французскія тетради и т. п. Вслѣдствіе этого и еще потому, что книги методы были новыя и дорогія, какъ твердила она, эти книги хранились въ собственной ея комнатѣ. Самая отличная дѣвица идетъ за ними, другая собираетъ всѣ чернильницы, замыкаетъ ихъ; прячутъ всѣ перья, стираютъ лавки, чтобъ—Dieu préserve! –какъ-нибудь не запятнать драгоцѣнной книги. Всѣ садятся по мѣстамъ, точно какъ при учителѣ, и не должно смѣть—не то взять въ руки книгу—дотрогиваться до нея пальцемъ: позволялось только *благородственно* смотрѣть въ нее. Выученъ урокъ, или не выученъ, до этого нѣтъ дѣла; а условленный часъ прошелъ—книги сбираются, считаются и опять относятся къ Александрѣ. Ни подъ какимъ видомъ невозможно было припрятать книги, или переписать изъ нея. M-lle Ленева отдѣлывалась за насъ всѣхъ: кричитъ и тянетъ, бѣдненькая, что есть духу; а мы только открываемъ рты—а-а-а! Однажды Ленева тянула-тянула—не вытянула, душенька, стала. Въ жару сердечнаго завыванья ничего не замѣчая, мы продолжаемъ свое: а, а, а!

Оливари какъ вскочитъ: схватилъ себя за волосы, топочетъ ногами... Silence! Taisez-vous! Мы поздно увидѣли свою ошибку, Vous, comment est ce qu'on vous appelle? Это была я. Répétez seule! dites, parlez, répétez!—Я что и знала, и то забыла. Venez à la planche, venez, la paresseuse! venez ici, venez! Я вышла къ доскѣ; онъ сунулъ мнѣ въ руки книгу—lisez! Потомъ заставилъ писать и, вѣрно, замѣтилъ, что я немножко понимаю: провозился со мною до конца класса и записалъ въ памятной тетрадкѣ: *demander m-lle Sochan*... Такъ какъ не только я, но и дама знала, что, на будущій классъ, m-eur Оливари меня непремѣнно спроситъ, то она дала мнѣ особо книгу, велѣла прійдти сказать урокъ ей, даже перевела мнѣ его и заставила прочесть, чтобы я не ошибалась. Я выучила урокъ какъ нельзя лучше; m-eur Оливари точно не забылъ: вызвалъ меня опять къ доскѣ и отпуская сказалъ: Sachez, mademoiselle, que je vous demande chaque fois. Если бы эти слова сказаны были другимъ какимъ учителемъ, они не произвели бы большаго дѣйствія; но какъ ихъ изволилъ произнести учитель французскій, то надобно было подумать. Положили пересадить меня къ Леневой: „у нихъ у двухъ будетъ книга; а тѣ, все равно, не учатся“ Я скажу безъ всякаго жеманства съ благодареніемъ Господу: Онъ далъ мнѣ прекрасныя способности, прекрасную память, понятіе, отнялъ лѣность; вотъ теперь очистилъ дорогу моему прилежанію, и не диво, что, съ Его высокою помощью, я быстро обогнала свою Леневу и прямо сѣла на первую скамью, по настоятельному требованію m-eur Оливари, который не хотѣлъ меня видѣть въ заднихъ рядахъ. Александра покорилась французской живости. А между тѣмъ, никакой классъ не былъ такъ богатъ любимицами, какъ нашъ. Онѣ не помѣщались всѣ на первыхъ лавкахъ и нѣкоторыя сидѣли на вторыхъ. Въ одно изъ торжественныхъ шествій по корридору, Авдотьѣ Григорьевнѣ это бросилось въ глаза. Только-что ушелъ учитель, она вошла къ намъ.—M-lle Croutieff—сказала она дамѣ,—dites moi, je vous en prie: par quel malheur la bonne enfant de Kourdumoff est parmi de si mauvais sujets? Бѣдная m-lle Croutieff покраснѣла до ушей.—C'est... madame... sur les premiers bancs, madame, toutes les places sont occupées. „Allons, allons! Peut-être trouverons nous une toute petite. N'est ce pas, ma Lida: petite comme toi, ha, ha!—Bien, bien, говорила она, всматриваясь въ каждую и проходя далѣе, и вдругъ увидѣла меня.—Et Sochansky, pourquoi est ce qu'elle est ici? M-lle Croutieff?“ Madame, m-eur

Olivari a demandé et tous les autres... „C'est moi, mademoiselle, qui dois régler et pas votre Olivari—entendez-vous? — Allez d'ici!“ сказала она мнѣ. Смущенная, пристыженная, я желала, чтобы подо мной земля разступилась и, не дожидаясь, пока дѣти выйдутъ изъ-за лавки выпустить меня, я поскорѣй перелѣзла черезъ неё. Боже мой! что̀ тутъ поднялось! — „Посмотрите, посмотрите, m-lle Croutieff! кричала начальница, смѣясь своимъ ѣдкимъ, презрительнымъ смѣхомъ, — она выйдти не умѣетъ изъза первой лавки; а то ей сидѣть тутъ! Пошла, пошла!!!“ Я рада, рада была, что забилась на послѣднюю лавку. Но это было только еще начало. Александра, какъ обыкновенно ходящая по пятамъ Авд. Гр., присутствовала и при томъ, какъ меня травили съ первой лавки. Она велѣла дамѣ записать мнѣ неполный шаръ въ поведеніи—pour le mauvais maintien, и наказала чутьли не стоять за обѣдомъ, не помню хорошенько; только съ этой поры у меня не было минуты отдыха. Я ходила—не такъ хожу; сидѣла—не такъ сижу; я ничего не дѣлала, за что бы меня не нужно было бранить. Sochansky! vous vous tenez mal; vous faites des folies avec les mains; vous ne tenez pas les pieds comme il faut! Какъ ей можно было видѣть мои pieds, или mains, когда я сама такъ запрятана, что насилу меня разглядѣть можно! Наконецъ я боялась ходить, боялась говорить, боялась тронуться съ мѣста и все только сидѣла за книгой. Моей дѣтской душѣ было такъ грустно, что игры не занимали ея. Прійдетъ воскресенье, позволятъ сдвинуть лавки—просторно: всѣ дѣти забавляются, играютъ въ кошки и мышки, а я прижмусь въ уголочекъ подъ своею скамейкой и учу какой-нибудь урокъ на среду, или на четвергъ. Легко угадать, что̀ было очень естественнымъ слѣдствіемъ такого расположенія. Въ еженедѣльныхъ отчетахъ Государынѣ объ отличающихся въ наукахъ, инспекторъ сталъ вездѣ отличать меня. Отчеты эти должны были подписываться начальницей и потому читались ей. Авд. Григ. была не (такая) женщина, чтобы ей встрѣчать какое бы то ни было сопротивленіе. И вдругъ та, которую она согнала съ первой лавки, выражая, что она недостойна сидѣть на ней, та, вопреки ея волѣ, идетъ впередъ, отнимаетъ дорогу у ея любимицъ, и плебейское ея имя безпрестанно является въ ушахъ!— „Что это такое: Соханская да Соханская?“—кричала она на инспектора.—Будто никого другаго нѣтъ! Тамъ столько добрыхъ дѣтей. Что вы затвердили одну Сохавскую?“.—„Да что-жь мнѣ прикажете съ нею дѣлать?“ Но если онъ не зналъ, такъ другіе

это хорошо знали. У меня не было двухъ дней сряду, въ которые бы я не плакала. Пытая меня со всѣхъ сторонъ и не находя, за что бы ухватиться, Александра прозвала меня скрытницей, гадкою скрытницей, которая и зла, и груба, и непослушна, и все это скрываетъ, чтобы о ней подумали, что она хорошее дитя. „Это дрянь, просто дрянь!“ кричала начальница. „Я не хочу ея видѣть! Отличать не велю ее. И лицо у нея неблагородное“... Если бы мнѣ надобно было выбирать изъ двухъ дорогъ: на одной я встрѣчу Авд. Гр., а на другой стоитъ медвѣдь на заднихъ лапахъ—я бы перекрестилась и пошла на медвѣдя. Что мнѣ было дѣлать? Безсознательно я сдѣлала то же, что дѣлаютъ и разумнѣе и старѣе меня, когда душѣ грустно, когда человѣку тѣсно со всѣхъ сторонъ: —я обратилась къ Богу,— и могъ-ли Онъ не принять ребенка, который шелъ къ Нему весь въ слезахъ, въ Немъ одномъ искалъ отрады своему дѣтскому сердцу, своему безпричинному горю? Онъ принялъ меня, это я знаю и не отдамъ моего знанія ни за какія сокровища въ мірѣ. Господь даровалъ мнѣ, на ту пору, истинно Евангельскую простоту сердца, такое незлобіе, которому трудно повѣрить. Я боялась этихъ людей, трепетала ихъ взора; но во мнѣ не было ни тѣни къ нимъ ненависти, ни зерна злобы. Къ главному названію скрытницы Александра Гр. еще иногда присоединяла, что я *нечувственная*, неблагодарная (кого и за что я должна была благодарить? объ этомъ не говорилось) и, если бы не только тогда, но и спустя долгое время, у меня спросили по совѣсти: какова я? я бы сказала, что я скрытная, нечувствительная, неблагодарная. И вслѣдствіе этого, я выжидала, пока всѣ уснутъ, вставала по ночамъ съ постели и, падая на колѣна, вся въ слезахъ, молила Бога, чтобы Онъ отнялъ отъ меня мое безчувственное, скрытное, каменное, неблагодарное сердце! Господь, кажется, не внималъ моимъ молитвамъ; я усиливала ихъ и съ нетерпѣніемъ ожидала субботы, когда мы пойдемъ ко всенощной. Кончится вечерня; начнутъ читаться псалмы на утрени; дѣвицы не поютъ; такъ тихо: дьячка едва слышно; Спаситель съ мѣстной иконы, благословляя, смотритъ на меня... я начну молиться. Молюсь о начальницѣ, объ Александрѣ: я любила молиться о нихъ. Каменное сердце таетъ-таетъ, слезъ у меня такъ много; я становлюсь на колѣна... Больше я ничего не помню. Звучный шопотъ надъ самымъ ухомъ: levez-vous; ne vous tenez pas longtemps á genoux, словно будитъ меня. Я подымаюсь—на сердцѣ у меня такъ легко, такъ весело, что я снова плачу; а Спаситель, кажется, улыбается мнѣ.

Мы перешли во второй классъ. Это довольно трудный переходъ отъ самыхъ простыхъ началъ къ развитію предметовъ науки болѣе пространному, гдѣ мало одной памяти, или мимолетнаго вниманія, а требуется уже понятіе и разсужденіе, и еще порядочный запасъ прилежанія, и тѣмъ болѣе, что главную часть уроковъ надобно еще переписывать; а времени совершенно нѣтъ. Вставая въ шесть часовъ, къ семи должно быть готову, стоять на молитвѣ; а она продолжается вѣрныхъ три четверти часа; начальница то и дѣло прибавляетъ новыя молитвы къ старымъ; потомъ читаются заповѣди, дневной апостолъ, Евангеліе; надобно еще положить десятка три поклоновъ за шумъ въ дортуарѣ, ну, да уже прозвонили къ завтраку: можно постоять за нимъ. Въ восемь часовъ приходитъ учитель и—до десяти; въ половинѣ одиннадцатаго другой—до двѣнадцати. Обѣдъ продолжается болѣе часа; въ два является опять учитель, въ четыре часа другой и до шести. Тутъ не знаешь, полдничать-ли, или приготовляться къ танцамъ или пѣнію: приходитъ тотъ или другой мучитель. Въ восемь часовъ звонятъ къ ужину; часъ за столомъ; въ часъ никогда не оканчивается вечерняя молитва: тутъ слѣдуетъ раздѣлка за всѣ ужасы дня, являются поклоны, каѳизмы! Въ одиннадцать часовъ всѣ должны почивать. Александра обходитъ дозоромъ,—и горе той, которую застанетъ на землѣ у таза со свѣчкой, хоть бы то было и за французскою книгой! У насъ во всю недѣлю было только четыре часа свободныхъ, и въ нихъ надобно было столько всего передѣлать, что, вслѣдствіе того, почти ничего не дѣлалось! Мы писывали уроки на колѣняхъ, сидя за обѣдомъ или за ужиномъ: одна пишетъ, а другая слѣдитъ за глазами дамы. Взять чернильницу въ дортуаръ—это такое преступленіе, о которомъ невозможно было и подумать; но чтобъ уроки были выучены—чтобъ были! Мало того, что учитель запишетъ неполный шаръ въ книгѣ, дама замѣтитъ въ дурномъ поведеніи за лѣность, накажетъ стоять за обѣдомъ, и значитъ: извольте кушать одинъ супъ; надѣнетъ шапку, тутъ явятся предики Александры; а тамъ (позвольте выразиться по нынѣшнему) *фигурируютъ* еще поклоны въ пріятной перспективѣ утомленія и голода. Поэтому было совершенно обыкновеннымъ дѣломъ, что большая часть знаменитостей перваго класса мало-по-малу меркла во второмъ, такъ что къ третьему оставалось *только самое челушко*, какъ подшучивалъ Михаилъ Ивановичъ. Я должна отдать справедливость своимъ дамамъ и поблагодарить ихъ: онѣ никогда не притѣсняли меня—

любили и отличали по возможности. Сколько разъ бывало придетъ Александра спрашивать: qui est ce qui se conduit le mieux; fait le plus diligement ses leçons? Милая m-lle Croutieff замнется, съ минуту помолчитъ, а все скажетъ: Sochansky. Что же касается до Артемовскаго, то онъ всегда дарилъ меня своимъ полнымъ благоволеніемъ. Но положеніе мое съ переходомъ не улучшилось: можно было бы сказать, что оно еще потяжелѣло, если бы я не привыкла уже къ тяжестямъ, что за два года легли на дѣтскія плечи. Прошло то время, я уже не тосковала, не плакала; слезы остались у меня только для молитвъ и, если при какой, еще новой несправедливости онѣ невольно набѣгутъ на глаза — мнѣ стыдно за нихъ и я глотаю ихъ цѣликомъ, чтобы не краснѣть за свою слабость. По прежнему, мое мѣсто было на самой послѣдней скамьѣ и я никогда не дежурила. Это самый первый и главный знакъ отличія. Онъ состоялъ въ томъ, что дежурныя надѣваютъ чистые передники и въ двѣнадцать часовъ, а также и въ вечеру, берутъ записныя книги учителей и тетрадки поведенія отъ дамъ и диктуютъ начальницѣ, кто получилъ какіе шары; послѣ чего обѣдаютъ и ужинаютъ посреди залы за круглымъ Александринымъ столомъ, ожидая до полуночи, чтобы пожелать ей bonne nuit и получить назначеніе на завтрашнее дежурство. Оно, конечно, штука не велика; но было велико значеніе, ей условленное. Музыкѣ меня не учили: ей учились только des bonnes enfants. Не ставя меня въ разрядъ хорошихъ и не давая пользоваться преимуществами ихъ, на меня возлагали ихъ обязанности и требовали... чего отъ меня не требовали? Александра застала какъ-то въ дортуарѣ, гдѣ я спала, шумъ и что дѣти шалили-прыгали по постелямъ. Не наказывая виновныхъ, она подняла меня полусонную съ кровати и велѣла идти въ ея комнату молиться Богу.—„Вотъ это-то и показываетъ скрытницу, пренегодное дитя: только она будь хороша! А когда тебя, сударыня, считаютъ отличною дѣвицей (это намекъ дамамъ), такъ ты смотри за другими. Вотъ извольте-ка класть поклоны.“ Я говорю, что уже у меня не было слезъ. По возможности спокойно, я начинала класть поклоны; клала ихъ, читала молитвы, старалась обратить ихъ въ настоящую молитву Богу; но просить прощенья—никогда! Мнѣ казалось это такъ низко: подличать, говорить: pardonnez-moi, madame, когда ты знаешь, что ты не виновата. Я была рѣшительно, какъ тотъ вьючный оселъ, съ которымъ хозяинъ отправился на ярмарку, или на базаръ, и по дорогѣ вскладывалъ ему на спину все, что

ни попадалось: усталаго сына, кремни для ружья, камень для очага, пока наконецъ не положилъ пука прутьевъ и бѣдный оселъ упалъ и тутъ же издохъ. Со мной только этого не случилось. На меня былъ взваленъ цѣлый классъ; я смотрѣла рѣшительно за всѣмъ: за книгами, за аспидными досками, за чернильницами, грифелями, тетрадями для чистописанія, Евангеліемъ, шляпками и за этими гадкими чулками: кто не умѣетъ вывязать пятки, наспускаетъ петель, выпачканъ въ чернило чулокъ—я виновата: меня бранятъ. Я еще сплю—Троицкая присылаетъ будить меня, чтобъ я шла къ ней читать. Она жила по-монашески: маливалась за полночь Богу, спала на голой доскѣ, и во все время ея туалета кто-нибудь ей долженъ былъ читать изъ Четьи-Минеи житія святыхъ на тотъ день. Мало того, что этимъ отнималось у меня самое лучшее время для ученья, когда память такъ свѣжа, способности какъ обновленныя, но этого времени замѣнить было нечѣмъ. Наши уже и одѣты, и Богу молятся; позавтракали, уже и въ классѣ, и учитель пришелъ; а я все читала и теперь слоняюсь по дортуарамъ, ища, кто бы помогъ моему туалету, и ожидая безпрестанно встрѣтиться съ Александрой. Всѣ гуляютъ,—въ саду, а я у Катры и опять за Четьи-Минеями и все читаю-читаю, и согласитесь, что это значитъ что-нибудь: почитать часа два или полтора для глухаго? Но кому было пожалѣть молоденькую грудь! Мы говѣемъ на первой недѣлѣ: съ пяти часовъ меня подымаютъ къ Троицкой, и я читаю у ней до восьми; съ восьми—до десяти читаю у себя въ классѣ. Послѣ часовъ опять читаю до обѣда. Прямо изъ-за стола Александра беретъ меня читать къ себѣ. Она дремлетъ, почти спитъ, а я все читаю и читаю до пяти часовъ: тутъ она приказываетъ сказать, чтобы готовились къ вечернѣ, и даетъ мнѣ какую-нибудь проповѣдь, чтобы я, мимоходомъ, прочла ее въ маленькомъ классѣ—и потомъ читала у себя. Я читаю до вечерни, читаю и послѣ вечерни, читаю иногда и послѣ ужина: это сдѣлалось какою-то привычкой, невозможною вещью, чтобы общія потребности класса исполнялъ кто-нибудь другой, чтобы кто-либо читалъ, кромѣ меня! Все бѣдная я: диктовать русскіе уроки, писать на доскѣ французскіе, faire l'analise, l'exercice—это все было дѣло Соханской. И Александра еще навязала мнѣ на шею свою первую любимицу, козачку Иловайскую. У ней и въ головѣ не было ученья. На что оно ей? Она богата. Обѣдала она и пила чай всегда съ Александрой, ходила въ батистовой кисеи передни-

кахъ и въ модныхъ платочкахъ, оба кармана всегда полны конфектъ; чего жъ ей болѣе? Какъ только приходитъ учитель, а ей не хочется быть при немъ—она преспокойно себѣ беретъ ноты, говоритъ дамѣ, что Александра Григорьевна приказала ей приходить играть и отправляется бродить по корридорамъ, пока сама Александра какъ-нибудь не встрѣтитъ ея и не притащитъ въ классъ. Хотя она была une très-bonne enfant и больше и чуть-ли не вдвое поплотнѣй меня, но я должна была смотрѣть за нею, чтобы она не шалила, учила свои уроки; должна была изъяснять ей все, показывать, и если она чего не будетъ знать, то я буду наказана! Надобно испытать пріятность этого положенія! Я знаю свои уроки, мнѣ уснуть хочется; случается, что вчерашнюю ночь я всю просидѣла,—и опять сиди часу до двѣнадцатаго, и еще въ комнатѣ у Александры, и слѣди за ученьемъ m-lle Иловайской; а m-lle Иловайская, вмѣсто всей этой дряни—уроковъ, изучаетъ пріемы madame l'inspectrice и представляетъ ее подъ самымъ ея носомъ. Elle était une très-bonne enfant; c'est vous qui l'avez gâtée, слышала я частёхонько. Странно, что сдѣлала со мной эта жизнь! По настоящему, ей слѣдовало бы втиснуть въ меня мое маленькое прошедшее, гдѣ у меня было все, чего недоставало тутъ: нѣжность, самая ласковая любовь и еще двѣ полки книгъ! Но вышло совершенно противное. Я все забыла: я будто вѣкъ жила и родилась здѣсь; будто ничего у меня не было лучшаго! Сжилось-ли маленькое сердце до того съ грустію, что все радостное улетѣло изъ него, предалась-ли я такъ ученью—не знаю. Только долго спустя, когда уже я воротилась домой, и то при самыхъ живыхъ напоминаніяхъ, мое дѣтство встало передо мною въ однихъ главныхъ, общихъ чертахъ. Я даже забыла всѣ свои стихи,—кто бы могъ этому повѣрить? да, впрочемъ, и помнить о нихъ было совсѣмъ невозможное дѣло: они считались преступленіемъ, развращеніемъ—одно слово *стихи* (я не шучу),—и это было мое большое счастье, что еще никто не провѣдалъ, что я знала ихъ; Александра прозвала бы меня „*окаянной, окаянницей*“ Мой порывъ къ поэтическому чувству умеръ, совсѣмъ умеръ; я и не помнила, что грозилась когда-то сама не умереть, пока не напишу комедіи! Казалось, все прошло; да и чему было удержать что? Во всемъ институтѣ даже Крылова не было! Читали мы какія-то изорванныя побасенки во время класса чтенія; но для меня былъ слишкомъ пустъ тотъ садъ, въ которомъ Павлуша нашелъ яблоко и не съѣлъ его безъ позволенія папеньки. Даже дамы не смѣли

читать другой книги, какъ писанной по славянски. Но, вѣдь, по несчастью, больше женщины никто не знаетъ, какъ сладокъ запрещенный плодъ.

Едва только мы вышли изъ первѣйшихъ, переступили во второй классъ, какъ стихи начали являться къ намъ со всѣхъ сторонъ. Напрасно ихъ преслѣдовали, писали за нихъ по нулю въ поведеніи, надѣвали шапки,—таинственныя тетрадки съ стихами росли-росли; стали появляться и книги. Я читывала, лежа подъ кроватью; писала стихи, припавъ однимъ колѣномъ на полъ, а другое *превративъ въ аналой;* отдавала свой завтракъ, полдникъ, отдала бы и обѣдъ, да его никто не бралъ, за позволеніе прочитать книгу. Я готова была совсѣмъ идти въ монахини; одно останавливало меня: какъ? не читать книгъ! Я плакала, каялась, видѣла всю великость грѣха предпочитать что-бы то ни было служенію Богу; но все оканчивалось одними слезами. Я чувствовала въ себѣ силу подать ножницы; но если бы мнѣ бросили книгу... я не подала бы ее! Но эта страсть не связывалась никакимъ воспоминаньемъ, никакою мыслью, что это продолженіе; она была какъ совершенно новая во мнѣ,—и доказательство—что она сосредоточивалась вся въ читать, читать! безъ всякой думы писанья. Только я помню странную вещь: попалась мнѣ *Библіотека* и въ ней Веревкина повѣсть: „Женщина-Писательница“ [1] Я болѣе недѣли ходила, повѣся голову. Итакъ, женщинѣ нельзя писать! говорила я сама себѣ, и, не знаю отъ чего, такъ мнѣ было грустно; куда бы я ни дѣлась отъ этой мысли! А что мнѣ было въ ней? Я говорю, что тогда еще и въ головѣ у меня не было писанья. И вотъ совершенно не думая о томъ, что это я пишу и, вѣроятно, вслѣдствіе того, что писать женщинѣ нельзя, я стала пописывать стишонки. Какъ они скрывались отъ всѣхъ глазъ и даже отъ свѣта дневнаго!.. Но, вообразите, вдругъ, среди этихъ филиновскихъ умозданій, раздается возгласъ: „Государыня ѣдетъ, Государыня! Mesdames, mesdames! будетъ Наслѣдникъ и съ Нимъ Жуковскій! душенька,—Жуковскій!“ Я сама себя не помнила; я прыгала, кричала, вопила во всеуслышаніе: „Жуковскій, mesdames, Жуковскій!“ Меня унимали; я не слушала и въ первый разъ была наказана за себя собственно, наказана за Жуковскаго — какое счастье! Руки у меня были всѣ исщипаны въ удостовѣреніе того, что я, mesdames, такъ рада Жуковскому, что хоть исщипите меня всю—я не поморщусь! И не морщилась.

---

[1] 1837 г., т. 23, отд. I. стр. 17, № 43. (*С. П.*)

Но Государыня была у насъ на-коротке, обѣщая на возвратномъ пути подарить насъ Своимъ полнымъ вниманіемъ; а Наслѣдника мы совсѣмъ не видали: Его Высочество спѣшилъ въ Вознесенскъ. И такое дрянное у меня сердце! оно даже не почувствовало, не сказало мнѣ, что теперь — прости всему! Не видавъ Жуковскаго теперь, я не увижу уже его никогда!

Начались приготовленія, еще пуще прежнихъ; меня посадили на первую лавку: воображали, что Государыня захочетъ поэкзаменовать насъ. Ужь былъ октябрь (Государыня изволила посѣтить насъ 18 и 19); вставая пораньше выучивать уроки, я обыкновенно садилась на окно, чтобы пользоваться первымъ мерцаньемъ разсвѣта,—и простудилась. У меня сдѣлалась лихорадка. Сначала я сама скрывала, боясь идти въ больницу; потомъ уже скрывать было невозможно: лихорадка ужасная. Я думала, что меня сейчасъ же отошлютъ; но имъ не хотѣлось пустить меня въ больницу. Александра издала милостивое повелѣніе, что это ничего, что я могу быть въ пелеринкѣ, когда почувствую лихорадку, а послѣ шести часовъ, какъ уйдутъ учители, можно и полежать въ дортуарѣ. Я была до смерти рада этому рѣшенію. Напряженное страстное желаніе видѣть еще разъ нашу Царицу, Марію Николаевну, и, ахъ! видѣть Наслѣдника съ Жуковскимъ брало верхъ надъ возрастающею болѣзнью; но, въ самый день счастья, я едва не лишилась всего. Со мной сдѣлался ужасный, продолжительный обморокъ, но дѣти кое-какъ помогли мнѣ, и я таки поборола себя! Оправилась — и заняла мѣсто на лавкѣ. Мой пароксизмъ лихорадки замѣнился радостно-лихорадочнымъ трясеніемъ ожиданія, и я имѣла еще силу танцовать на другой день. Но когда Государыня простилась съ нами, послала послѣдній прощальный поцѣлуй рукой и сказала: Adieu, mes enfants! souvenez-vous de Moi! Я больше уже ничего не видала и не слыхала. Со мной сдѣлался бредъ, вмѣсто лихорадки—уже горячка,—и, какъ у насъ послѣ обѣда нельзя было идти въ больницу (хоть умирай, а дожидайся завтрашняго утра), то Александра уложила меня въ дортуарѣ и, чтобы унять въ головѣ ужасный жаръ, велѣла—вы думаете помочить мнѣ голову хоть уксусомъ? нѣтъ: поставить мнѣ уксусъ подъ кровать. Оно удивительно помогаетъ. На утро меня отвезли въ больницу; а въ понедѣльникъ—Господи мой!—въ понедѣльникъ наши видѣли... Вы догадываетесь кого!

Справедливо говорятъ: кому жить, тотъ не умретъ. Я это испытала на себѣ. Я перенесла горячку, еще лихорадку, потомъ

опять горячку и еще таки маленькую лихорадочку; меня совсѣмъ уже приготовили къ смерти: пріобщили два раза и уже вынесли *въ новую*. О, это страшное дѣло! Такъ называлась пристройка двухъ комнатъ возлѣ больницы, куда уже кто входилъ, тотъ не выходилъ оттуда. У насъ даже составилась чрезвычайно энергическая фраза, выражавшая вмѣстѣ и сильную болѣзнь, и отчаянное положеніе больной, и нашу безнадежность видѣться съ нею. „Mesdames! она ужь въ новой!“ Но я вышла и изъ новой, хотя и долго спустя послѣ Новаго Года. Боже мой! сколько скорби ожидало меня!—„Ахъ, Соханская, ты не видала Жуковскаго! Вотъ здѣсь онъ стоялъ; сюда-то посмотрѣлъ; такъ-то онъ руку положилъ... а! представь себѣ — онъ взглянулъ на нашу лавку!“ И я въ слезы, въ горькія слезы, и только грозное: de quoi est ce que vous pleurez? едва можетъ остановить меня. А тутъ еще порядочное горе: что для другихъ повтореніе, то все мнѣ урокъ; переписывать надобно бездну, а рука слаба — трясется, никакъ не управишься съ перомъ: ты его вернешь въ одну сторону, а оно идетъ въ другую; такая всюду путаница! Но дай Богъ, чтобы только на сердцѣ да въ головѣ было ясно, а все прочее... Мѣсто мое на первой лавкѣ было уже занято, и я съ истинною радостью возвратилась на послѣднюю. Не знаю, бываетъ-ли это такъ со всѣми, какъ случилось со мной; только, когда я еще была въ маленькомъ классѣ и не черезчуръ заслуживала первое мѣсто, мнѣ, понемножку, хотѣлось его; но послѣ — оно ни мало не манило меня; я такъ полюбила свое укромное мѣстечко возлѣ печки, что перемѣщеніе мое къ пріѣзду Государыни не только не обрадовало меня, но я плакала, и насилу могла утѣшить себя тѣмъ, что здѣсь я ближе увижу Государыню и получше разсмотрю Жуковскаго! Но нѣтъ худа безъ добра: такъ и моя болѣзнь принесла мнѣ очень выгодныя послѣдствія. Александра сдѣлалась ко мнѣ какъ-то чрезвычайно милостива: еще въ больницѣ раза два навѣщала меня и благословила на выздоровленіе образкомъ святителя Митрофанія; теперь же позволила мнѣ не снимать пелеринки, велѣла не танцовать покуда, и даже сказала, что я могу спать подолѣе; но объ этомъ и думать было невозможно! Одно—уроки, а другое... (побраните меня, пожалуйста!) Послѣ всѣхъ моихъ горячекъ и лихорадокъ, со мной сдѣлалось что-то странное: я кажусь совсѣмъ здорова; ничего у меня не болитъ, голова свѣжая; но силъ—никакихъ: я не могу ступить двухъ разъ; ничего не ѣмъ, не пью—ни росинки не беру въ ротъ, питаюсь воздухомъ. Скука

ужасная; ну, какъ? ни здоровъ, ни боленъ? а тутъ еще безпрестанно заливаютъ лѣкарствами; вотъ уже когда я думала, что умру! Что было въ тетрадяхъ, я все переповторила; а книгу кто мнѣ дастъ, когда тамъ двое, или трое, учатся по ней? Оставалось только каждый день плакать со скуки. Вдругъ на мое счастье пришелъ m-eur Люби — старикъ славный, преславный: нашъ учитель ариѳметики, казначей института, и онъ еще завѣдывалъ экономическою частью. Я пристала къ нему, чтобы онъ далъ мнѣ какую-нибудь книгу. „Хорошо, хорошо! Да какую же вамъ книгу? *Ариѳметику*, что-ли?“—Да подите Вы прочь съ своею ариѳметикой! Я и безъ ариѳметики совсѣмъ умираю.—„А! такъ вамъ такую, чтобъ пожить? Слышу. Хорошо, славно! Вы бъ такъ и сказали. Я вамъ принесу ариѳметику“ Онъ мнѣ принесъ *Библіотеку*. Тамъ была восхитительная, обворожительная, просто—очарованіе повѣсть (одно ужь имя!)—„*Тейфельсбергъ*“.—[1] Я почти выучила ее на память. По возвращеніи въ институтъ, за первое было объявлено *объ этомъ чудномъ* Тейфельсбергѣ! Меня обступили со всѣхъ сторонъ: „Разскажи! Какъ хочешь, а разскажи! Вѣдь тебѣ Богъ послалъ, и ты должна подѣлиться съ нами“ Въ классѣ это исполнить было нельзя; мы просидѣли цѣлую ночь. Во мнѣ эта ночь отозвалась чѣмъ-то особеннымъ. Кружокъ насъ на полу возлѣ свѣчи; мой жаркій шепотъ, безмолвіе слушателей; вдругъ чей-нибудь слабый крикъ во снѣ—и опять тишина! Слухъ и душа какъ-то удивительно чутки; а тутъ—Италія, Венеція, темно-синее небо, на которомъ, говорятъ, звѣзды такъ ярки, вдвое больше нашихъ... Въ эту минуту передо мною встало нѣсколько сценъ изъ читаннаго дома. Я объявила, что кому угодно слушать — на ту ночь я еще разсказываю. Въ желающихъ недостатка не было; но память не давалась мнѣ: три-четыре отрывчатыхъ происшествія и—ничего болѣе! и тѣхъ никакъ не склеишь; а тутъ еще безпрестанно: говори да говори! „Что, въ самомъ дѣлѣ?“ подумала я. „Начну свое выдумывать.“ Слушатели мои, какъ-будто, ожили. Откуда въ мою голову набралось столько разныхъ разностей—Богъ вѣсть! Происшествія являлись, цѣплялись, располагались сами собою; я едва успѣвала разсказывать ихъ и совершенно не помнила, какъ только высказала. Если разсказъ тянулся на другую ночь, я принуждена была прибѣгать къ хитрости: говорила, что не помню, на

[1] Повѣсть А. Тимофеева, *Библ. для Чтенія* 1835 г., № 8, томъ XI, перепечатана во второй части „Опытовъ Т. м. ф. а.“ 1837 г. Спб. (*С. П.*).

чемъ мы остановились, и заставляла повторять себѣ главныя обстоятельства дѣла, послѣ чего я уже пускалась далѣе легко и свободно. Но вотъ странность: если я какъ-нибудь прежде, загодя хотѣла подготовить свои небылицы,—кончено! я ничего не могла сдѣлать. Въ головѣ было пусто и гладко, все какъ рукой снято и, если мнѣ и удавалось выжать что-нибудь, то куда это было хуже недуманнаго! Рвеніе слушателей и разсказчицы дошло до высшей степени. Положено было двѣ ночи говорить, а третью спать. Сидишь за классомъ, слушаешь, кажется, что изъясняетъ учитель, и полуоткрытыми глазами спишь и даже видишь сонъ. И подобное изнуреніе послѣ моей болѣзни, когда я еще не успѣла хорошенько оправиться; — надобно сознаться, что я очень счастлива, когда это мнѣ обошлось безъ ничего! Великій постъ подошелъ въ пору, чтобы прекратить наши съумасбродныя бдѣнія. Наступила первая недѣля — говѣніе: у насъ стало настолько благочестія, чтобы не заниматься пустяками въ эти священные дни. Тутъ оканчивается одна половина моей институтской жизни и довольно странно начинается другая.

Авдотья Григорьевна всегда бывала въ церкви, когда мы пріобщаемся. По принятіи Святыхъ Таинъ, возвращаясь на мѣсто, надобно было проходить мимо ея и слѣдовало остановиться, поклониться ей по-русски—головой и тогда идти далѣе. Здѣсь она, отвѣчая другимъ легкимъ киваньемъ, подзоветъ рукой своихъ любимицъ, поцѣлуетъ ихъ, дастъ поцѣловать свою ручку и отпуститъ. Теперь, какъ и всегда, я не могла разсчитывать на эту ласку. Иду и — вдругъ она зоветъ меня! Я не знаю, что я думала. Она обняла меня и крѣпко поцѣловала. Въ церкви даже сдѣлался шелестъ отъ движенья: всякій вытягивался взглянуть на это чудо. Когда я проходила мимо Александры, она улыбалась мнѣ, и завтра же я была дежурная! Можно подумать, что я лгу, — такъ все это сдѣлалось быстро, неожиданно, безъ всякой видимой причины. Начальница сама посадила меня на первую скамью, говорила мнѣ: bonjour, m-lle Sochansky, и привѣтливо кивала головой. Я стала дежурить безпрестанно: черезъ день, черезъ два дня; скоро я уже не знала другаго стола, какъ одинъ круглый. Это было дѣло неслыханное: мѣсто за круглымъ столомъ могла только занимать, кромѣ дежурныхъ и главныхъ любимицъ, одна дѣвица изъ третьяго класса, та, которая готовилась къ первому вензелю, и это мѣсто присвоено второклассной дѣвочкѣ! Александра Григорьевна будто хотѣла вознаградить мнѣ все прошлое: брала меня въ свою комнату, кормила

бубличками, отличала первую въ поведеніи; не могла говорить со мною безъ улыбки. Но знаете-ли, что̀ это было? — Жаркая, мгновенная вспышка лампады передъ тѣмъ, какъ ей потухнуть. По отъѣздѣ Государыни, прибыла къ намъ, говорили, отъ самого Вилламова [1] дама—*m-lle Альмъ*, и скоро начали пошептывать, что будто-бы Авдотью Григорьевну смѣняютъ... Не можетъ быть!

„Страшнѣе кошки звѣря нѣтъ!“...

Однакожъ, странно: начальница перестала принимать къ себѣ дежурныхъ; Александра часто ходитъ съ заплаканными глазами; намъ какъ-то пооослабло, и, только Артемовскій побываетъ въ классѣ, Александра Григорьевна призоветъ меня и спрашиваетъ: что̀ онъ говорилъ?—Rien, madame!—Но скоро все объяснилось: начальница и точно была свергнута и уѣхала послѣ праздниковъ, потянувъ за собою Троицкихъ и Шишкиныхъ; Катра и Софья тоже отправились: остались однѣ молодыя кандидатки, да еще бѣдная Александра—сдавать институтъ. Во всемъ этомъ сильно участвовали Артемовскій и Альмъ, подружившіеся. — Настала эпоха совершеннаго междуцарствія: старая начальница уѣхала, а новой нѣтъ; прежній порядокъ рушился, о другомъ никто не думаетъ. Александра безъ всякой власти, убѣгаетъ встрѣчи съ Артемовскимъ и плачетъ въ своей комнатѣ отъ дерзостей и грубостей Альмъ. Дѣвицы, кто гдѣ хочетъ: днемъ спятъ, сидятъ по дортуарамъ; отогнувъ назадъ голову и всѣмъ тяжело-вѣснымъ корпусомъ выступая впередъ, Альмъ величественно прохаживается по корридору. Ее обступаетъ со всѣхъ сторонъ шумный кружекъ: толпятся, надъ нею смѣются, говорятъ ей вздоръ; Иловайская дурачитъ ее самымъ глупымъ образомъ. Она хочетъ показать, что будто не вѣритъ, а между тѣмъ вѣритъ, отъ души вѣритъ, и выраженіе лица становится у нея такъ дурачески-надменно, такое пошлое! а Артемовскій низко раскланивается. M-lle Альмъ очень полюбились такого рода поклоны; мягкая, чувствительная къ богатству, она не была прочь и очень не прочь и отъ этой сладости. Многія воспользовались этимъ и начали извлекать свои выгоды, т. е., ничего не дѣлать и безнаказанно прогуливаться по корридорамъ; но были и такія, которыя не увлекались общимъ стремленіемъ и не умѣли, или не хотѣли, льстить и *унижаться* (са-

[1] Статсъ-секретарь Императрицы, Григорій Ивановичъ Вилламовъ, род. 1773 г., скончъ. 1842 г. (*С. П.*).

мое выразительное слово институтскаго лексикона). Къ числу этихъ послѣднихъ принадлежала и ваша смиренная почитательница. Альмъ поднялась на нее дыбомъ; та продолжала себѣ заниматься, будто не видя грозныхъ возстаній. Ничего не могши сдѣлать открытою силой, m-lle Альмъ пустилась на хитрости: хотѣла поссорить ее съ цѣлымъ классомъ; забывъ свое достоинство дамы, ябедничала и наговаривала дѣвицамъ на дѣвицу,— и то не удалось! Но это время пишущая къ Вамъ считаетъ самымъ лучшимъ временемъ своей жизни: самостоятельность, полное сознанье силъ, борьба, поддерживающая жаркую умственную дѣятельность—самое жизненное время! Пріѣхала новая начальница и съ нею цѣлый штатъ дамъ изъ Патріотическаго Института. Альмъ скорёхонько была вымѣщена, и, кажется, по ходатайству Артемовскаго; мы перешли въ третій классъ.

Вотъ Вамъ и все, почтеннѣйшій Петръ Александровичъ! Богу угодно было вознаградить мнѣ прошлое и, какъ обыкновенно дѣлаетъ Его щедрота, вознаградить стократъ, - слава вся Ему, одной Его милости! Вы знали бѣдную, загнанную дѣвочку; но Вы не узнали бы ея теперь. „C'est l'honneur de notre Institut“, говорили о ней: такъ хотѣлъ Господь. Я получила первый золотой шифръ. Страсть моя къ поэзіи приняла болѣе разумное значеніе: порядочно дюжія тетрадки я выучила о предметѣ любви своей, но, что лучше всего, мой милый предметъ оживотворился во мнѣ истинно-прекраснымъ, благороднымъ впечатлѣніемъ. Съ Михаиломъ Ивановичемъ Ильенко мы прошли весь курсъ Русскаго слова, начиная отъ первой строки Гречевой грамматики до Исторіи Русской литературы. Не легко найти еще такого человѣка съ свѣтлымъ, весело улыбающимся юморомъ, съ доброю, сообщительною душой и съ такимъ твердымъ, благороднымъ характеромъ—такъ всѣми любимаго, такого прекраснаго въ своихъ поступкахъ! Мы, шутя, называли его „поэтъ въ душѣ“, и онъ оправдывалъ это названіе своею страстью, юношескою страстью къ поэзіи. Можете судить: полный властелинъ своей судьбы, имѣя въ рукахъ до 60 тысячъ наличными деньгами, онъ лучше ничего не нашелъ для себя, какъ стать учителемъ Русскаго слова. Не правда-ли? Надобно слишкомъ много возвышенности души и прекраснаго чувства, чтобы такъ понимать счастіе, находить его въ спряженіи глаголовъ—въ соприкосновеніи своей души съ лёгенькими, часто неблагодарными, молоденькими умами? Но Михаилъ Ивановичъ служилъ своему труду съ чистымъ высокимъ безкорыстіемъ: всегда съ жаромъ, съ сердечнымъ увле-

ченіемъ. Я не боюсь наскучить вашему благородному чувству маленькою выпискою изъ его письма къ намъ, на другой день послѣ окончательнаго экзамена передъ выпускомъ. „Добрыя!“— писалъ онъ,—„благодарю васъ отъ чистаго сердца: надежды мои вы вполнѣ оправдали. Я теперь въ положеніи трудолюбиваго сѣятеля, любующагося на богатую, колосистую ниву—трудъ его благословенъ“... И потомъ говоритъ онъ: „Грустно мнѣ было вчера; Пушкинъ мнѣ объяснилъ причину грусти:

Мигъ вожделѣнный насталъ: оконченъ мой трудъ многолѣтній.
Что жъ непонятная грусть тайно тревожитъ меня?
Или, свой подвигъ свершивъ, я стою какъ поденщикъ ненужный,
Плату пріявшій свою, чуждый работѣ другой?
Или жаль мнѣ труда, молчаливаго спутника ночи,
Друга авроры златой, друга пенатовъ святыхъ?

Да, мнѣ грустно—я стою, какъ поденщикъ ненужный“...

Михаплъ Ивановичъ читалъ превосходно: прозу и стихи—что ни дайте ему! Самъ полный кипучей дѣятельности, онъ властительно вдыхалъ ее въ другихъ. Во время его класса, какъ-то невольно, ты весь становился слухъ, вниманіе; глаза такъ и стояли на сторожѣ; у него ничто не пропадало: ни слово, ни взглядъ, ни одно движеніе; все имѣло значеніе, свою мысль,— и я помню его лучезарное удовольствіе, когда, однажды, увидѣвъ, что ему никакъ нельзя укрыться, что его видятъ, слышатъ, все заранѣе угадываютъ, онъ бросилъ объ столъ, смѣясь, книгу и сказалъ съ восторгомъ: „люблю, какъ понимаютъ!“—И я могу смѣло сказать, что у Михаила Ивановича не было другой слушательницы болѣе понимающей, болѣе пламенной къ дѣлу его ученія. Я бы не промѣняла его класса ни на какой балъ! И, повѣрите-ли?—какая я была счастливица! Теперь у меня въ ящикѣ всегда была книга. Пользуясь многими исключительными преимуществами, я даже получала книги отъ нашихъ новыхъ дамъ. Но, болѣе всего, онѣ являлись ко мнѣ недовѣдомо откуда. Кто бы и какъ бы ни пріобрѣлъ книгу, она необходимо поступала въ мое первоначальное вѣдѣніе, и это было совершенно добровольное приношеніе, безъ всякаго усилія съ моей стороны. Я сижу, ничего не зная; меня слегка толкаютъ и подаютъ мнѣ подъ передникомъ книгу.—Mercі, да что же ты сама? „Да нѣтъ, не хочется; прочитай ты прежде“. И что́ же я читала?—*Гамлета*, *Фауста* и *Ринальдо-Ринальдини*; *Драматическія фантазіи* г. *Кукольника* и *Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ*; затѣмъ *Тараса Бульбу*, *Старосвѣт-*

скихъ Помѣщиковъ и *Большой Выходъ Сатаны; Исторію Ужасовъ Грознаго, Исторію Устрялова* и *Повѣсти Марлинскаго, Мечты и Жизнь Полеваго; Аббадону, Ледяной Домъ* и *Нѣмецкія Фантастическія Сказки для дѣтей отъ 10 до 13 лѣтъ.* Но, къ счастью, или къ несчастью, только мнѣ некогда было углубляться въ читаемое; я почти только-что читала: доказательствомъ можетъ служить „Фаустъ", отъ котораго у меня осталось только четыре имени: „Фаустъ, Гёте, Мефистофель и Маргарита"—и ничего болѣе. Я читывала за классами, слушая, какъ изъясняютъ уроки, и поглядывая на даму, чтобы не отняла книги: такое-ли бываетъ чтеніе? А между тѣмъ это ужь былъ и не второй классъ съ четырьмя часами свободы, теперь всего только полтора часика, и извольте еще *сдѣлать* въ недѣлю отъ трехъ до четырехъ сочиненій. На мою долю всегда ихъ выпадало болѣе; кромѣ того таинственныя попытки продолжались —и на выпускѣ были пѣты прощальные стихи моего сочиненія. Они очень плохи, ничего поэтическаго, и это тѣмъ непростительнѣе, что мастерица ихъ—давно была заклеймена именемъ поэта и философа. Но вотъ случай, о которомъ я теперь невольно вспоминаю и почти также невольно передаю вамъ. Говоря институтскимъ языкомъ: представьте себѣ, какое удивленіе! Въ числѣ нашихъ новыхъ дамъ были ваши ученицы: вѣдь вы преподавали словесность въ Патріотическомъ институтѣ и, кажется, были инспекторомъ, и думала-ли я, слушая невнимательно похвалы вамъ,—ахъ, Боже мой! да можно-ли же было подумать, что этого человѣка мнѣ самой прійдется хвалить и—до потери словъ! Около этого времени, мнѣ попалась какая-то *христоматія*: что она? какъ?—я ничего не знаю. Только тамъ было ваше посланіе—кажется, что къ Пушкину? И того навѣрно не помню. О чемъ тамъ говорится?—не спрашивайте; но вотъ съ небольшимъ три стиха, которые врѣзались въ меня:

..... „Съ любовію моей
Къ поэзіи, въ душѣ съ тоской глубокой,
Быть можетъ, я, подъ бурей грозныхъ дней,
Склонюсь къ землѣ, какъ тополь одинокій". [1]

Я исписала ими всѣ обертки тетрадей, чертила стѣны—плакала надъ ними (хоть ужь и стыдно, а сознаюсь): я была до того глупа, что мнѣ думалось слышать въ нихъ голосъ собственной участи; теперь я поумнѣла и не заношусь такъ далеко; но много стиховъ было учено и позабыто, а ихъ... я никакъ не позабуду ихъ!

[1] Соч. Плетнева, т. III, стр. 278—279 (*С. П.*).

III.

Прежде нежели я буду говорить о чемъ, мнѣ бы хотѣлось спросить: откуда иногда въ душу зайдетъ мысль, престранная въ своемъ основаніи, даже вовсе безъ всякаго основанія? А между тѣмъ она преслѣдуетъ, навязчива; убѣждаетъ, не заботясь объ убѣжденіяхъ, и если ей не исполняться, то зачѣмъ бы, кажется, и волновать ей безотвѣтное сердце?

Меня посѣщала подобнаго рода мысль. Можно себѣ представить, что̀ за фантазіи, что̀ за толпы ихъ летаютъ вокругъ головы институтки, готовящейся къ выпуску! Вокругъ моей было пусто, совершенно безпредметно. Только такъ, иногда, въ глубокой дали мнѣ представлялась маленькая комнатка: простой бѣлый столъ, на немъ наша Библія, и вишня въ отворенное окно осыпаетъ ее своими цвѣтами. Себя я нигдѣ не видала. Мнѣ все казалось, что я буду или очень счастлива, или очень несчастлива — что-нибудь одно, т. е. рѣшительная противоположность того, что̀ мнѣ готовилось. Молиться о счастьѣ я не могла. Если Господь дастъ, Онъ Самъ дастъ; да я и не знала, подъ какимъ видомъ разумѣть это счастье. Я молилась объ одномъ: будь со мною, Господи! Съ Тобою я всюду пойду; но безъ Тебя мнѣ не надо ни цѣлаго міра! Душа съ какою-то умиленною грустію готовилась... Богъ знаетъ, къ чему. Дама наша, ваша ученица, говорила: „что она никому не завидуетъ, не хочетъ быть ни на чьемъ мѣстѣ; но на моемъ желала бы: что я буду прекрасно счастлива“. Но, по времени приближенія къ самому дню и часу выпуска, мои неопредѣленныя думы о счастіи и несчастіи и тѣ проходили душа оставалась туманно свободною, какъ-бы готовою на все.

Наступило второе іюля, — кто въ бѣломъ, кто въ розовомъ, мы собрались въ церковь на молебенъ, на послѣднюю молитву... Я, кажется, ни о чемъ не молилась; я только плакала. Избавьте меня отъ описаній послѣдняго прощанья: теперь мнѣ оно чувствуется еще грустнѣе. Гдѣ мы? Что̀ съ нами? Сколько прекраснаго, можетъ быть, замерло и не воскреснетъ!..

На другой день къ вечеру меня повезли изъ Харькова. Ночью мы пріѣхали въ Чугуевъ; до свѣта выѣхали и, когда, верстъ за сорокъ, остановились кормить лошадей и я заснула—маменька и братъ думали, что не умерла-ли я?—Я едва дышала. — Подъ вечеръ мы пріѣхали къ дому.

— Да гдѣ же нашъ домъ?—спрашивала я, когда мнѣ сказали, что разбросанныя по полю хатки—это наша Макаровка.

— Да вонъ, вонъ!—показывала маменька.

— Ахъ, какой маленькій! И вы въ немъ живете, maman?

— И ты будешь жить, душенька.

Мнѣ прежде сказывали, что у насъ нѣтъ дома, а только маленькій флигелекъ; что нѣту ни тычинки лѣса, ни сада: едва начинаютъ разводить тётеньки. Я никакъ не вѣрила: „шутитъ maman!“ думала я. Ну, домъ—про домъ говорить нечего! а чтобы не было сада. Вѣдь, въ Веселомъ же былъ... Да гдѣ-же я буду гулять? и книгъ, стало, читать негдѣ? Ахъ, какой, право, этотъ Петенька! онъ думаетъ: ужь какъ я институтка, такъ такъ сейчасъ и повѣрю, что ни одного деревца нѣту и посидѣть подъ тѣнью нельзя... Никогда не повѣрю. А увѣреніе теперь лежало передъ глазами. Направо—степь, налѣво—степь, и прямо въ лицо смотритъ степь, и позади степь — степь! Глаза хотѣли бы остановиться хотя на вѣтряной мельницѣ; но она такъ вертится и машетъ крыльями, что нѣтъ возможности смотрѣть. Невольно обращаешься къ низенькому, продолговатенькому строеньицу: стоитъ оно отдѣльно себѣ посреди поля, покрыто соломою; да зачѣмъ трубы-то разныя? Одна будто какъ и всѣ — четырехугольная, присѣла; другая вытянулась, глиняная, что-ли? круглая, сверху безъ всякаго уступа, точно шея, у которой срубили голову... Но я увидѣла тётенекъ, выходившихъ на встрѣчу.

Итакъ, послѣ шестилѣтней разлуки, вотъ я опять дома, я въ своей семьѣ! Маменька загорѣла и постарѣла много, тётеньки пополнѣли и еще, кажется, подобрѣли. Братъ Петенька говоритъ, что онъ служитъ по министерству юстиціи, т. е. въ уѣздномъ Харьковскомъ судѣ; одного нашего Паши недостаетъ, а то бы полный праздникъ, и главное лицо на немъ — я. Даже папенька будто присматривался къ намъ, сжимая рукой свою треугольную шляпу съ желтопёрымъ султаномъ. Я поглядывала на всѣ стороны. Стулья тѣ же и столы тѣ же; на креслахъ и ситецъ тотъ: желтый и по немъ бѣлыя съ сѣроватымъ женщины—граціи несутъ въ коробкѣ, надъ головами, толстенькаго человѣчка съ крыльями; деревья кругомъ, собаки длинныя такія; незнакомаго одна картина: *переходъ графа Дибича за Балканскія горы.*

Вы слышали, съ какими огромными финансами маменька пустилась на покупку имѣнія. Говорить вамъ объ этой покупкѣ значило бы написать романъ и даже не въ нынѣшнемъ вкусѣ,

потому что здѣсь есть заряженные пистолеты съ возгласомъ: „смерть, или имѣніе!“ Я скажу одно: если Господь благоволитъ дать или взять, напрасно суетятся люди: все будетъ по Его, а не по нашему. Но хлопоты требуютъ денегъ, а это еще было сейчасъ послѣ голоднаго года; до ста человѣкъ надобно было кормить и, по условію купчей, заплатить двѣ тысячи недоимки. Маменька едва купила, какъ должна была заложить имѣніе въ Приказъ. Оно было запущено и разорено, какъ только можетъ быть имѣніе безъ прямыхъ наслѣдниковъ, подъ присмотромъ опекуна. Господскаго ничего не было, никакого строенія, ни даже погреба: одинъ амбаръ и мельница, и въ посѣвѣ пять или семь десятинъ ржи. Бѣдная maman съ братьями и тётеньки цѣлое лѣто до Дмитріева дня прожили въ амбарѣ. Дядя поселился въ нашемъ домѣ, сжегъ его и разбранилъ маменьку, что отъ ея глупой кладки печей домъ сгорѣлъ. Маменька писала, что домъ сгорѣлъ не отъ глупой кладки печей, а отъ того, что въ немъ жилъ постоялецъ, а не хозяинъ: хозяева жили десятокъ лѣтъ и ничего не случалось. Она просила дать ей за семь жилыхъ комнатъ съ пристройками и кладовыми хотя триста рублей ассигн., дядя не далъ ни копѣйки. Надобно было жить въ чужомъ краю, безъ родныхъ, безъ знакомыхъ—однѣмъ женщинамъ, заводиться всѣмъ, перевозиться за двѣсти слишкомъ верстъ, отправлять брата въ Новгородскій корпусъ, исправлять имѣніе, платить подушное и проценты, и думать—не забывать, что есть еще дочь въ Харьковѣ, что ей надобно все приготовить... Мнѣ всегда жалки бываютъ эти господа писатели съ вѣчною темой глупца-урода помѣщика. Каркаютъ, смѣются—чему они не смѣются? Врутъ, воображая, что они-то цари въ желтыхъ перчаткахъ! Нѣтъ: поживите по нашему, какъ намъ Господь даетъ жить, и не поропщите никогда. Сохраните ясность души и свѣтлое чувство, любите, молитесь, трудитесь, чтобы у васъ всегда была свѣча Богу, ласка и помощь бѣдному—о, тогда смѣйтесь! никто не запретитъ вамъ.—„Слава Богу!“—говорила мнѣ маменька. „Благодари, Наденька, Бога: хотя маленькій уголокъ да есть. Все таки Онъ, Милосердый, не оставилъ насъ“

Домикъ нашъ съ кухней и прихожими состоялъ изъ четырехъ комнатокъ. Сѣни, плетенныя изъ соломы, глиняная кухня; входишь въ комнатку, что служила намъ чайной и столовой, направо и налѣво двери, вотъ и все тутъ. Налѣво была наша парадная комната—гостиная. Ее занимали маменька и покойница тётенька. Почему-то печка никакою стороной не прика-

салась къ стѣнѣ; величалась чуть не посерединѣ, оставляя со входа маленькій проулочекъ, а позади образуя мирное убѣжище, въ которомъ стояла тётенькина кровать. Круглый столъ передъ печкою, два зеркала; подъ ними еще два ломберныхъ стола; въ обоихъ углахъ, къ востоку, образа: тихое, улыбающееся сіяніе вызолоченныхъ и серебряныхъ ризъ. Въ добавокъ, эту комнатку къ моему пріѣзду намостили; въ другихъ оставался тотъ же глиняный полъ, усыпанный песочкомъ.

На меня вѣяло живою идилліей.—Бѣленькія коленкоровыя занавѣски, подобранныя косякомъ, съ голубою шерстяною бахрамой и съ кистями; низенькія, такія же бѣленькія стѣны; стаканы и молочники съ полевыми цвѣтами; чисто, пахнетъ розовою водой; песочекъ желтѣетъ; кошечка умываетъ мордочку сухою лапкой. Если не совсѣмъ видомъ, то своимъ духомъ, это напомнило мнѣ мою маленькую комнатку, да гдѣ же вишня? Библія есть, а вишни нѣту. Оно, пожалуй, вишень много, да онѣ едва изъ-за травы выглядываютъ. Передъ глазами нѣсколько кустиковъ крыжовника—чахлые, грустные, болѣзненно свыкающіеся съ нагольною степью; смородина стоитъ вялая; единственный прутикъ березки какъ-будто поглядываетъ на всѣ стороны: дайте отрады! Мнѣ видѣлось наше Веселое: садъ, домъ, большой цвѣтникъ передъ окнами, по угламъ—рябины; Вилки, милые Вилки—прудъ и ручей маленькій; а здѣсь одинъ колодезь. Солнце открыто печетъ; вѣтеръ со всѣхъ сторонъ; ни откуда защиты. Да я же за шесть лѣтъ привыкла ходить по паркету, или по лощенымъ поламъ; а на этомъ, глиняномъ, я спотыкалась; ноги у меня какъ-то все оставались назади: я ходила точно разбитая лошадь—шатаясь. Руки у меня шерхли отъ пыли; въ груди какъ что-то точитъ; мнѣ было тѣсно, душно, грустно... А ласки лились на меня. Мною не могли, какъ говорится, надышаться; не могли насмотрѣться на меня. Я просыпалась подъ поцѣлуями и засыпала, окруженная маменькой и тётеньками... И чтобы столько любви, столько нѣжности пропадало даромъ? И имъ не пожертвовать чѣмъ-нибудь?—Да Богъ съ ними, съ этими огромными палатами! въ нихъ, можетъ статься, и не любили бы меня такъ... „Ну, что такое паркетъ?“—спрашивала я себя. „Паркетъ да и только, и ничего не видно; а на песочкѣ—посмотрите, на песочкѣ, какъ рисуются мои слѣды... Вѣдь прелесть, чудо; милочка, одно сказать!“—Я бросилась на шею къ маменькѣ, расцѣловала свою maman и тёте-

некъ и чудесно пошла по глиняному полу: легко, свободно... поглядывая на песочекъ.

Въ институтѣ я была такая степенная, серьезная—ничего дѣтски-затѣйливаго, игрливаго, даже до того, что, при всѣхъ моихъ поэтическихъ названіяхъ, меня часто величали *бабой, старухой*, разумною m-lle Соханской, которой какъ можно унизиться до игры, или до бѣганья! А теперь я цѣлые дни проводила въ игрѣ и бѣганьи съ кошками, кроликами; у меня были зайчики, ежи, чижи, овражки—цѣлый звѣринецъ; все что̀ ни поймаютъ мальчики въ полѣ—тащатъ ко мнѣ. Бѣлка моя вскакивала мнѣ на голову, перебѣгала по плечамъ, кушивала всегда у меня на ладони.

Мнѣ довелось встрѣтиться съ нѣкоторыми изъ нашихъ. Тѣ, которыя въ недавнее время казались передо мной шаловливыми дѣтьми, теперь вдругъ стали большія дѣвицы; у нихъ явились такіе большіе интересы. Оно, правда, и мой интересъ не былъ малъ: огромный, бурый крысодавъ—фунтовъ больше пятнадцати вѣса, такъ что я съ успѣхомъ могла подымать его. Смотрѣлъ онъ такъ преважно, всегда нахмурясь; съ флегматическимъ величіемъ дремалъ у печки. Почему-то я называла его *барономъ Брамбеусомъ*, и представить себѣ не могу: почему? Но только, бывало, увижу его—руки у меня протягиваются, и я сейчасъ зову: „Баронъ Брамбеусъ! monsieur le baron, пожалуйте сюда! сдѣлайте честь!“ Но m-eur le baron рѣдко изволилъ отвѣчать на иные знаки чести, кромѣ стуканья тарелокъ, или чайныхъ чашекъ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ, онъ предостойно благоволилъ усаживаться у меня на колѣняхъ, начиналъ мурлыкать очень громко; я прислушивалась, въ восторгѣ восклицая:

„У лукоморья дубъ зеленый...“

А мой котъ ученый ловилъ обѣими лапками и презабавно выпивалъ ложечку чаю, которую я думала донести до собственнаго рта.

Я ничего не читала,—и горя мало, что книгъ не было. Былъ-ли это отдыхъ, вольное степное освѣженье силъ? Или я платила дань тому времени, которое, вмѣсто игры и дѣтскихъ увлеченій, провела въ слезахъ и вѣчно за книгой? Но никакого занятія! никакой думы о будущемъ, или вниманья къ настоящему! Маменька и тётеньки, я и мои пенаты—я не заглядывала далѣе. Вы, можетъ быть, подумаете, что это непріятно дѣйствовало на окружность, на видъ?—Нѣтъ: спустя и полгода, когда уже я была дома,—къ Рождеству, въ наше приходское селеніе

пришелъ полкъ, и офицеры не хотѣли вѣрить, что я окончила курсъ въ институтѣ и должна имѣть притязаніе на большую дѣвицу.—„Да она, просто, ребенокъ. Ей небольше, какъ лѣтъ четырнадцать“,—говорили. Мнѣ было болѣе; но маленькая, худенькая, скажу: черненькая, я и близко не подходила къ кандидаткамъ въ невѣсты. Меня вездѣ и принимали, какъ дитя: давали мнѣ варенья, орѣховъ и не заботились болѣе. Кто присылалъ мнѣ парочку райскихъ яблочекъ—крошечныхъ такихъ, для забавы; иной вѣтку съ вишнями; такимъ же образомъ я получила свою бѣлочку, присланную мнѣ на *прочудью*, то-есть, на удивленіе.

И вдругъ, среди этого міра дѣтскихъ забавъ, семейной нѣги, счастья, мы получаемъ письмо подъ великолѣпною княжескою, или графскою печатью—короны, гербы, сіяніе... Графиня Гендрикова приглашаетъ меня къ себѣ въ гувернантки. Двоюродный братъ ея, графъ Гендриковъ, былъ попечителемъ въ институтѣ, и, вѣроятно, ему-то я была обязана честью этого вызова. Но, Боже мой! Ты видѣлъ, какъ мнѣ было не лестно! Надобно вамъ сказать, что я была робка, робка до невѣроятности; ни у одного звѣрка не найдете подобія. Я боялась мужчинъ; еще болѣе, болѣе, боялась женщинъ. На мнѣ все еще лежала печать временъ Авдотьи Григорьевны. Поднятая мина, пріемы султана и, если еще шелковое платье, и оно шумитъ; она голову несетъ—выступаетъ, и взглядъ ея, хотя ненарокомъ, упадетъ на меня... я таяла; со мной совершалось какъ-бы разложеніе. И къ этакой женщинѣ я должна поступить въ домъ! Графиня—гордая, пышная... Я чувствовала, что меня загоняютъ, зашикаютъ меня; сдѣлаютъ хуже всякой няньки; а мнѣ самой нужна была добрая няня: я была ребенокъ, бѣдный ребенокъ—даже безъ ребяческой вѣры въ самое себя. Мнѣ казалось, что хуже меня никого въ мірѣ нѣтъ и быть не можетъ; что я не умѣю ни стать, ни сѣсть—ни слова сказать. Еще передъ выпускомъ я плакивала о томъ, какъ я покажусь въ свѣтѣ. Я ничего не знаю. И теперь мы всѣ плакали; но, вѣдь, слезы не рѣшаютъ дѣла. Наступалъ сентябрь, шла зима; а шубы у меня не было, и лошади у насъ всѣ пали. Мой пріѣздъ былъ точно урочнымъ срокомъ ихъ смерти. Не прошло недѣли, какъ онѣ, одна по одной, начали падать безъ всякой причины, безъ падежа въ окружности,—такъ, видно, Богъ велѣлъ.

Я просила именемъ маменьки о двухъ вещахъ: чтобы послѣ уроковъ я была свободна, и комнату бы мнѣ дали особую. Въ

скорости мы получили отвѣтъ. Ея сіятельство удивлялась: о какой свободѣ говоримъ мы? Кажется, у нея гувернантки всегда были свободны. Онѣ даютъ уроки, присутствуютъ при урокахъ другихъ учителей; гуляютъ съ дѣтьми, раздѣляютъ ихъ игры и ночуютъ въ одной съ ними комнатѣ. Какой же еще свободы угодно вамъ?—спрашивала графиня. Это уже было слишкомъ много для одного раза... Ни даже своего угла, куда бы спѣшить пріютиться послѣ дня заботъ?—припасть истомленною грудью передъ Богомъ и передать Ему все-все: какъ, можетъ быть, болѣла и занывала душа—не опасаясь, что подслушаютъ твой тяжелый лепетъ и рыданіе разбудитъ дитя! Мы отказались. Послѣ института, я никогда еще не молилась такъ горячо и съ такими слезами, какъ въ этотъ вечеръ. Мнѣ казалось, что Господь избавилъ меня отъ страшной напасти. Да; напасть прошла, а горе шло. Одна изъ моихъ тётенекъ и всегда была нездорова: больна—когда не тѣмъ, такъ другимъ; теперь у нея дѣлался ракъ. Еще не знали, что̀ это? Лѣчили домашними средствами; онъ расходился, увеличивался...

Къ намъ начали доходить слухи, что это только въ глаза меня ласкаютъ да любятъ; а послушать бы изъ-за угла... Околотокъ раздѣлился. Начались сплетни—страшное порожденіе пустоты, скуки и праздности. До сихъ поръ не могу понять: за что̀ взъѣлись на меня эти люди? У кого были дочери, тѣ, кажется, готовы были растерзать меня—и за чтб? Чтб я могла сдѣлать кому? или помѣшать въ чемъ? Если бы я была красавица—хорошенькая; ну, уже такъ и быть! Но дочери ихъ всѣ были лучше меня—видныя; я, такая непоказистая, чтб я дѣлала имъ? Но я буду несправедлива и неблагодарна, если не скажу, что у меня были и свои ревностные защитники. Забуду-ли я моего добраго, прекраснаго Ивана Алексѣевича?

Это былъ Энгельгардтъ—старикъ, красавецъ въ шестьдесятъ лѣтъ; служилъ въ кавалергардахъ. Имѣніе его подъ Смоленскомъ погибло въ двѣнадцатомъ году; богатые родственники прислали его сюда управляющимъ; онъ женился тутъ, поселился. Женитьба, этотъ кругъ, общество добили, убили Ивана Алексѣевича. Съ самаго перваго раза онъ меня чрезвычайно полюбилъ; не слагалъ цѣны мнѣ; кажется, готовъ былъ носить меня на рукахъ. Съ кѣмъ бы онъ ни встрѣтился, ни заговорилъ съ кѣмъ, онъ уже непремѣнно скажетъ: „вотъ у Варв. Григ. дочка!“ Въ домѣ у него былъ огромный горшокъ жасмина и вѣчно въ цвѣтахъ—и это уже, *при каждой вѣрной оказіи*, онъ нарвetъ

цвѣточковъ, завернетъ чинно въ бумажку и шлетъ мнѣ отъ моего усерднѣйшаго слуги. Дай ему, Господи, царство небесное! О, какъ я люблю, долго люблю—навсегда люблю тѣхъ, кто хоть немного любилъ меня!

А тётенька болѣла, болѣла. Спасибо, пришелъ полкъ; полковой докторъ началъ лѣчить ее и сказалъ маменькѣ. Предлагали ѣхать въ Харьковъ, сдѣлать операцію; тётенька не соглашалась, болѣзнь увеличивалась: къ ней присоединилась еще истерика, явились признаки водяной. Полкъ вышелъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ на Кавказъ. Уѣздный нашъ лѣкарь, съ шишкой надъ самою переносицей, почти за тридцать верстъ. Тётенька не хотѣла его, не хотѣла и никого—все равно умирать.

Какъ говорили былымъ временемъ въ романахъ; грустно расцвѣтала моя молодость. Едва выйти на свѣтъ Божій и стать лицомъ къ лицу съ страданьемъ, увидѣть себя—человѣка, въ самую горькую минуту жизненнаго счастья, когда смерть разсылаетъ страшныхъ палачей своихъ и сама уже идетъ, какъ покой, какъ избавленіе! Неужели это—напутствіе на молодую жизнь?.. Я поняла (для непспытавшихъ это невообразимое дѣло): какъ можно соглашаться лучше самому страдать, нежели видѣть, какъ страдаетъ тотъ, кого душа любитъ. Я двѣсти разъ готова была лечь въ гробъ, лечь на эту постель! Вздохи, неумолкаемые стоны и во снѣ стенанье! нечеловѣческій вопль истерическихъ припадковъ... „Господи мой!—падала я на колѣна, ломая руки—если *меня* это терзаетъ и *я* готова отдать душу—Ты же что?“ Слезы не облегчали; жалость, жалость томила грудь. Я думала, что я сама получу истерику. Пошла бы куда поуспокоиться, отдохнуть немного? Кругомъ степь, кузнечики; а я ихъ до слезъ боялась и теперь вздрагиваю. Я пойду, бывало, въ ровъ и не могу пробыть ни четверти часа. Еще болѣе становится тяжко, грустно: точно, какъ-будто мнѣ тётенька надоѣла, и вотъ я бѣгу отъ нея. Я опять въ комнату—и опять стоны, вопли,—душа вонъ просится!

Мельница наша сгорѣла. И весна прошла, и уже приближалось къ концу лѣто; насъ трое давно столпилось въ одну комнатку, узенькую такую: столовая наша проходная; а гостиная вся осталась за больной. Ее закупорили, завѣсили всю, чтобы четинка свѣта и въ двери не проходила: тётенька перестала любить солнце и все лежала въ потьмахъ. Но на завтра ей умереть, сегодня она велѣла отворить себѣ всѣ окна.—„Дайте, посмотрю на свѣтъ и на васъ“ Ее подняли, провели шага два...—

Ну, теперь хорошо; закройте. На утро маменька приказала опять открыть окна, чтобы освѣжить воздухъ; спрашиваютъ ея согласія—она молчитъ. Maman приподняла ея голову и положила къ себѣ на грудь. Видимъ, что она какъ-бы поперхнулась чѣмъ, усилпвается глотать; maman тихонько попроспла воды! Я беру поскорѣе стаканъ, подношу ей къ губамъ; она не пьетъ. Я взяла чайную ложку—подаю; она будто выпила. Я даю другую—вода воротилась ко мнѣ назадъ, лицо тихонько спустилось къ груди—и тётенька скончалась. Ни даже усиленнаго вздоха—жизнь вышла, какъ паръ, ни легчайшаго сотрясенья—ничего! Наклонить немного голову и умереть, это отрадно. Но и въ самой тихой смерти есть что-то ужасное: я трепетала; ни всѣ муки страданья не заставляли меня такъ глубоко содрогнуться и съ такою молитвой стать передъ Богомъ! Безсмертіе Богъ далъ для любви. Что, если бы надобно было терять—терять безъ надежды возврата, ронять какъ въ воду? Сколько любящихъ согласилось бы лучше не любить! Скоро послѣ смерти я видѣла тётеньку во снѣ: такъ, какъ-будто бы я знаю, что она умерла—повстрѣчала гдѣ-то и спрашиваю: „что, тёточка? не болитъ теперь?“—„Не болитъ, не болитъ, душенька!“ и махнула будто рукой. „Все прошло“.

Осталось насъ трое. Намъ было очень грустно. Все казалось, что мы болѣе могли бы любить свою покойницу—и не любили.—О, какъ я постарѣла за этотъ годъ! Я поумнѣла: и ни одной книги у меня въ рукахъ не было. Господь бросилъ всѣ книги и началъ учить меня по Своему. Далъ мнѣ книгу—самое себя и книгу страданій ближняго—большія книги! Послѣдняя, своими раздирающими душу картинами, своею скорбью, слезами, такъ охватила мое робкое вниманіе, что я не видѣла ничего болѣе, пока не дочиталась до послѣдней страницы—смерти. Я перевернула эту тяжелую страницу—и мнѣ предстала жизнь.

Кто не знаетъ, какъ много сливается въ этомъ словѣ? Прочь ребяческое, дѣтское!—Пора! Жизнь зоветъ; я, слава Богу, не ребенокъ. Бѣлка моя ушла; кошки только царапали мнѣ руки—пора, пора! И смыслъ, и чувство сказали: „пора!“

Пусть же даетъ жизнь, когда зоветъ она—пусть даетъ свое! Она дастъ; она должна дать... Я открыла большіе глаза на нее... но, Боже мой! какъ они хотѣли закрыться, чтобы не видѣть, и слуху не слышать, и въ груди чтобы не шевелилось! Мелкая, грязная рѣченка, и даже не текла, а ползла кругомъ меня, заволакивая все иломъ, тиной, вѣковою плѣсенью. Такъ вотъ

это-то—море жизни? И ни одного брызга; ни одной капли живой воды, чтобы плеснулась въ лицо, росинкой упала на душу! Да это скорѣе—мертвое море! И окунуться въ эту грязь, утонуть въ этомъ омутѣ—воробью по колѣно... Я не могу, я не могу!—закрывала я себѣ глаза обѣими руками. А жизнь проснулась; душа требуетъ: „дай! дай ей ощущеній, какъ ты даешь хлѣбъ тѣлу—давай!“ У меня ничего не было—ничего! Надобно понять всю пустоту этого слова: ничего! Я не говорю о тѣхъ глубокихъ движеніяхъ, способныхъ всколыхнуть всю душу до самаго сердца, по крайней мѣрѣ, хоть что-нибудь, хотя бы зарябить эту стоячую поверхность. Проснуться, ѣсть и опять лечь спать—и это жизнь? жизнь молодой души, встрепенувшейся, какъ лебедь? Развѣ она требуетъ сейчасъ полныхъ водъ, всего солнца полудня: для нея все полно, все—солнце,—брызните на нее хотя однимъ лучемъ, одною струей, чтобы она таки знала—вѣдала, что она живетъ, движется, дѣетъ, молодая душа! И ничего!—Маменька поѣдетъ куда-нибудь, что-нибудь съ ней случится: то лошади понесутъ, волка или лисицу встрѣтятъ; когда я съ ней—никогда ничего... „Maman, ни даже волка!“ говорила я чуть не со слезами. Надо мной смѣялись: что я, какъ баронъ Брамбеусъ, ищу сильныхъ ощущеній. „Господи мой! да кто вамъ говоритъ про сильныя? Дайте какихъ-нибудь, чтобы я не думала, что я мѣшокъ съ овсомъ, съ гречишною мякиной!“

Разъ (зимой) возвращаемся мы изъ гостей, было уже поздно. Надобно спускаться съ крутой горки: коренная мотаетъ головой, рвется на возжахъ. Я посмотрѣла и думаю: „Вотъ если бы одна маменька ѣхала, вѣрно бы понесли; а со мной что? Все ничего.“ Лошади спустили и пошли хорошо. Въ Савинцахъ (наше приходское селеніе) маменькѣ нужно было заѣхать въ одинъ домъ; это по дорогѣ; ѣдемъ мы. Только начали равняться съ церковью—у ограды мальчики собрались и шалятъ; стучатъ палками, выбиваютъ какую-то музыку: лошади наши какъ дрогнутъ; вся тройка рванулась и понесла. Сани точно не прикасаются къ землѣ: такъ ихъ и рветъ и мечетъ изъ стороны въ сторону; а впереди по дорогѣ—обрывъ, гора; мостокъ внизу... На чье-то счастье, кучеръ успѣлъ поворотить лошадей, и онѣ со всего размаха внеслись въ полурастворенныя ворота того самого дома, куда намъ надобно было заѣзжать; выбили половинку воротъ, вынесли ее на себѣ; наскочили на водяную бочку; тутъ какъ-то свинья замѣшалась — видите-ли, какъ я помню всѣ подробности? — визгъ, лошади храпятъ... Я безъ всякой помощи вы-

прыгнула изъ саней; вбѣжала въ комнату... Вотъ это жизнь! Кровь мнѣ бросилась въ лицо; я знала, не по преданью только, что есть сердце — оно у меня билось подъ рукою, трепетало какъ голубь; щеки у меня горѣли, глаза горѣли; я не хорошенькая, а въ эту минуту я хороша была!—„Посмотрите на эту дурочку!“ говорила maman. „Она, кажется, радуется, что мать чуть было головы не сломила.“—„Maman, я не радуюсь“... Есть что-то высшее радости въ этомъ ощущеньи, когда человѣкъ узнаётъ, что онъ живъ, живъ! всѣ силы его души живутъ, напряглись и звучатъ какъ струны... Я люблю мѣдныя струны.— Чашка дряннаго, полухолоднаго чая мнѣ показалась, Богъ знаетъ, чѣмъ: вкуса отмѣннаго; я заснула такъ крѣпко, сладко и на другой день вспрыгнула какъ птичка, веселая, свѣжая. Цѣлую недѣлю я была какъ-то особенно здорова; живѣе, свѣтлѣе мыслью.—Вы знаете, кто сказалъ:

Любви всѣ возрасты покорны;
Но юнымъ дѣвственнымъ сердцамъ
Ея порывы благотворны,
Какъ бури вешнія полямъ.
Въ дождѣ страстей они свѣжѣютъ
И обновляются, и зрѣютъ —
И жизнь могучая даетъ
И пышный цвѣтъ, и сладкій плодъ. [1]

Это можно примѣнить ко всѣмъ движеніямъ, ко всякому живому ощущенью молодой неизношенной души. Она растетъ въ нихъ, расцвѣтаетъ какъ роза; иглы ничего ей: онѣ бодрятъ душу, молодая мужаетъ; но застой, застой! Эта неподвижность заглохшаго болота — тутъ развѣ Богъ спасетъ! Силы вянутъ; душа сначала рвется, но въ тщетномъ порываньи слабѣетъ, блѣдно тянется, какъ цвѣтокъ въ тѣни, и скоро никнетъ къ землѣ своею неразцвѣтшею маковкой—неиспробованнымъ чувствомъ, непережитою силой. И пройдетъ время, и послѣ ужь что ни давайте ей—поздно! Въ нашемъ молоденькомъ саду обставляли на зиму деревья. Пришла весна—забыли развязать одну яблонку. Подъ обвязкой она развилась, распустила листья; ее увидѣли, освободили. Яблонка была желта; вся зелень желта, какъ вызрѣлый лимонъ. И вотъ уже прошло третье лѣто; она три раза перемѣнила листья—и листья желты; сморщенные, желтѣются на ве-

[1] Онѣгинъ, глава 8, строфа XXIX *(С. П.)*.

сеннемъ солнцѣ. Словно, будто двѣ зимы не вѣяли на яблонку освѣжительною вьюгой? Обвязки давно нѣтъ; три весны, три лѣта какою благодатью проницали ее до самыхъ корней! Яблонка желта, и пусть себѣ что хочетъ зеленѣетъ вокругъ! Но пойдемте дальше.

Къ Масляной пріѣхала къ намъ изъ Россіи одна наша знакомая. Теперь, какъ я знаю эту женщину, я часто думаю: Господи, гдѣ Твои перлы бываютъ зарыты! Тогда я ее видѣла почти въ первый разъ. Хотя наши семейства жили въ Корочѣ, какъ близкіе родные, очень часто видались; но мнѣ была памятна только ихъ Богодуховка: домъ на крутой горѣ-полугорѣ, мѣловыя прогалины, въ верху большой лѣсъ, у самыхъ оконъ въ обрывѣ рѣка, водяная мельница шумитъ и бѣлая лотать прибивается къ берегу. Странно, однако: отчего у меня такъ живы воспоминанія мѣстностей, черты изъ неодушевленной природы, а на людей я безпамятна? Въ своемъ Веселомъ я могу пересказать каждое деревцо, малѣйшій кустикъ: гдѣ они стоятъ, какъ? и не помню ни одного человѣка, ни даже тётенькиной горничной. Одинъ Иванъ-староста будто припоминается; да и то лучше сказать не онъ, а борода его: темно-красная, окладистая, вотъ-вотъ прицѣпится къ поясу—ахъ, борода! Если я читаю что-нибудь, думаю — картины являются передо мной, растутъ—просто, хоть гуляй по нимъ: я вижу каждый листочекъ, былиночку; а слона-то я и не примѣтила! Человѣка нѣтъ; онъ будто подернутъ туманомъ; лица никогда не увижу; только однѣ ноги прохаживаются по мѣсту дѣйствія.

Вы улыбаетесь? Улыбайтесь; а я между тѣмъ повторю, что я не помнила Лизаветы Алексѣевны; за то теперь ужь я ея не позабуду. Это объ ней я какъ-то писала къ вамъ по случаю комизма. Она, почти каждый годъ, пріѣзжаетъ мѣсяца на два, на три отдыхать къ намъ, освѣжаться, забирать силъ у меня, какъ она говоритъ. Это самое милое, отрадное явленіе въ моей безпредметной жизни; я ее люблю,—не знаю, какъ люблю. Что за чудная женщина! Вотъ женщина во всемъ значеньи слова, высокомъ значеньи... Невольно является дерзостный вопросъ: Господи! что за хотѣнье у Твоей всемогущей премудрости; выбрать изъ тысячи душъ, Самому освѣтить ее, убрать всѣми цвѣтами задушевнаго міра—натянуть всѣ струны, пробудить всѣ звуки высокаго чувства—и бросить это милое созданіе на расхищеніе, на нелѣпый позоръ? Девятнадцати лѣтъ она осталась вдовою отъ мужа, котораго она любила, какъ только умѣетъ

любить женщина ея души и ея чувствъ, осталась съ ребенкомъ — съ сыномъ, безъ всякаго состоянія. Что̀ перенесла, что̀ несетъ эта женщина—знаетъ Богъ, а не люди. Людямъ она весела, шутитъ, и горя ей нѣтъ!—говорятъ. Всѣ смѣются отъ ея разсказовъ; а не дайте этой разсказчицѣ только денекъ мѣстечка, куда бы она могла забѣжать поплакать да помолиться на свободѣ—о, Боже мой! И это не годъ, и не два, а тринадцать лѣтъ! Были случаи, и теперь они есть, выйти изъ этого безвыходнаго положенія, и даже, повидимому, довольно выгодно,—„не могу“,—говоритъ она мнѣ,—„душа не даетъ“ А ей говорятъ: „вздоръ! — начиталась больно романовъ; а кажется, ужь пора бы и бросить“. И это романы? что изъ тысячи людей нашлась одна женщина, которая не хочетъ—не можетъ смотрѣть на супружество, какъ на торгъ—на одно желаніе пристроиться.

Итакъ, пріѣхала къ намъ наша милая Лизавета Алексѣевна. Мнѣ прежде всего бросилась въ глаза легкая, живописная игривость ея ума, эта прелесть-шутка, которая все видитъ, ничего не пропускаетъ — и улыбается такъ мило, весело, что надобно быть пошлымъ дуракомъ, чтобы сердиться на ея намёки. Разумѣется, пошли воспоминанія: она знала меня крошкою, отъ земли невидною; шутили, говорили. Лизавета Алексѣевна припомнила, какъ она была пятнадцатилѣтнею дѣвочкой; жили они въ Корочѣ, братъ ея самый меньшій учился въ уѣздномъ училищѣ и, пришедши домой, училъ ее всѣмъ наукамъ и ариѳметикѣ. Въ силу этого, маменька прикомандировала ее поучить немножко моего брата, такъ какъ онъ готовился къ корпусу — и она учила; даже за полою водой недѣль пять прожила у насъ и помнитъ, что мнѣ показывала сложеніе.

— „О!—сказала я,—въ такомъ случаѣ, позвольте мнѣ считаться вашею ученицей“. „Нѣтъ, нѣтъ-съ!“ заговорила она. — У насъ поднялось жаркое преніе. Я представляла, что за нею самыя сильныя права—права давности. Она и слышать не хотѣла. — „Что за хромающаго педагога вы изъ меня дѣлаете? Ученикъ превзошелъ учителя—не хочу!“. Я продолжала настаивать. — „Когда такъ, сказала она подымаясь,—когда уже вы непремѣнно хотите быть моею ученицей—извольте! Есть у меня одна наука — чудная наука! Что̀ передъ нею ваши ариѳметики, грамматики. Нѣтъ въ мірѣ лучшей науки! и я знаю ее въ совершенствѣ. Это — наука любить. Угодно вамъ? — „Сдѣлайте одолженіе! Ваша покорная ученица“.—„Можетъ быть, вы и сами далеки въ ней — въ этой наукѣ? продолжала она, лукаво по-

смѣиваясь:—„но, знаете-ли, добрый совѣтъ не мѣшаетъ. Вѣрьте моей опытности. Я человѣкъ уже старѣющійся на этомъ дѣлѣ. Умру любя“ Мы долго шутили на эту тему и довольно серіозно. „Ну-те, милая Лизавета Алексѣевна, сказала я наконецъ,—какъ каждая наука начинается опредѣленіемъ — опредѣлимъ: что такое любовь? Что значитъ любить?“ Опредѣленіе вышло совсѣмъ не длинное: любить—это забывать себя и жить для другого.

— „Я надѣюсь на васъ, сказала мнѣ, разставаясь, Лизавета Алексѣевна,—вы такъ хорошо понимаете теорію, что за практикой, вѣроятно, дѣло не станетъ.“ А оно-то именно и остановилось на ней.

Я не намѣрена прикидываться передъ вами; да и не вижу нужды. „*Любовь—святое на землѣ*“,—не помню гдѣ сказано; но прекрасно сказано. Я хотѣла любить, хотѣла забыть себя. Вокругъ меня было все такъ пусто-грустно, что позабыться было бы невыразимою сладостью. Богъ не далъ мнѣ ея. Оглядываясь вокругъ, я съ изумленіемъ увидѣла въ себѣ самыя дикія странности, ни на что не похожія. Чѣмъ другія восхищались, что на нихъ производило оглушительныя рѣзкія впечатлѣнія, то на меня не дѣлало никакого вліянія! Эпитеты: *молоденькій, хорошенькій*—и не двигали меня, были для меня совершенно безсмысленны. Я и до сихъ поръ не могу понять, какъ можно влюбиться, потому только, что молодъ да хорошъ. И самое это слово: *влюбиться*—было мнѣ отвратительно; я его никогда не говорю; отъ него тянетъ пошлостью. Я понимала любить — забыть себя, жить для другого. Въ этомъ раю, я чувствовала, что мнѣ не нужно ни молодости, ни красоты; пусть ему будетъ пятьдесятъ лѣтъ, пусть онъ будетъ нехорошъ, какъ онъ хочетъ; дай мнѣ только *чего-то*; я еще сама не знала чего; но что, видно, выше молодости и красоты. Я хотѣла найти имя этому безымянному. Что жь это, наконецъ, такое, чего хочу я? Или лучше сказать не я, а внутри меня: я хочу только любить—забыть себя. Я стала искать и съ любопытствомъ остановилась на одномъ случаѣ изъ первыхъ мѣсяцевъ моего выпуска.

Тою же осенью, какъ я вышла изъ института, къ намъ началъ ѣздить очень часто—искать во мнѣ одинъ уланъ. — „Maman, прогоните его, говорила я. — Зачѣмъ онъ ѣздитъ? — противный такой!“ Въ немъ ничего не было противнаго. Очень недуренъ собой; право, даже получше меня; съ красными отворотами мундиръ—усы, эполеты, сабля; шпоры звенятъ — чего жь еще дѣвочкѣ, едва выпрыгнувшей изъ института? Особливо,

когда за нею такъ ухаживаютъ: котенку ея не смѣютъ сказать: брысь! хотя онъ лѣзетъ къ самымъ усамъ и заигрываетъ съ ними лапкой. Повторяю: чего бы болѣе? Да еще первое предпочтеніе, первая лесть, уже по одной своей новости, онѣ такъ могуче-пріятны, такъ щекочутъ самолюбіе?.. „Противный, maman!“ твердила я, да и только.—И именно то, что̀, по настоящему, должно бы было снискать ему мое благоволеніе, то-то именно и возстановляло меня. Эти мелочныя ухаживанья, раболѣпность—мнѣ тошнило; я бы расцѣловала котенку лапки, если бы онъ, вмѣсто игры съ усами, да еще вспрыгнулъ ему на голову!

Чтожь это такое? Капризъ? Очень милая причуда женскаго своенравія: когда даютъ одно, такъ нѣтъ!—дай чего-то другаго? Я тогда не понимала этого чувства. Откуда оно? Что? Мнѣ не было дѣла. Только оно было властительно надо мной, и я покорялась ему съ дѣтскою безсознательностію. Теперь оно яснѣло-яснѣло, тайное чувство вставало и несло себѣ имя.

Какъ? позволить себя одурачить такимъ образомъ? Чтобы дрянной котенокъ осмѣлился меня трепать за усы, и я буду сидѣть, какъ не знаю кто, боясь пошевельнуться? И отчего же? Оттого, что эта мышь принадлежитъ той дѣвочкѣ, на которой, отъ нечего дѣлать, захотѣлось пріостановить глаза... Именно: отъ нечего дѣлать. Я никогда не повѣрю, чтобы тутъ могло быть какое-нибудь дѣльное чувство: увидѣть два-три раза дѣвченочку, которая только что не просилась играть въ куклы,—почти не слыхать ея голоса и стать куклой ея котенка! И если бы еще это былъ мальчикъ? корнетикъ какой-нибудь? А то, люди говорятъ, maioръ... Fi, donc! Если-бы онъ бросилъ отъ себя моего котенка, такъ, чтобы тотъ головою пришелся о печку,—безъ всякаго сомнѣнія, я бы расплакалась, закричала, наговорила бы ему: „какъ вы смѣли? Это все равно, вы меня прибили, швырнули о земь!“—отворотилась, ушла бы; обѣщалась внутренно, ну, крестилась бы, никогда съ нимъ не говорить, не смотрѣть на него—и помирилась бы въ тотъ же вечеръ; только бы maioръ похлопоталъ немного, говорила, смотрѣла бы въ двѣнадцать разъ привѣтнѣе; кажется, я бы полюбила его. Но теперь—никогда! Я не могу позабыть себя для того, кто самъ не помнитъ, не понимаетъ, что̀ онъ такое. Мужчина, онъ царь; онъ верховный властелинъ всего; онъ долженъ всегда сохранять свое достоинство.

„Прекрасное должно быть величаво!“

Такъ вотъ, наконецъ, разгадка, чего ищетъ, молитъ бѣдная душа моя! Ея, этой благородной, скромной величавости достоинства—не лицеваго достоинства! Ищи же, моя милая! Съ томительною пытливостію я поглядѣла кругомъ... „Книгъ, книгъ!“— вся заговорила я. „Дайте же мнѣ хотя книгу!“ и книги не было.

Сохраните, Силы Небесныя, всякаго; пощадите его отъ страшной жизни: жить и почувствовать, что для тебя ничего нѣтъ въ жизни; жить для того только, чтобы жить—поѣдать кормъ! Я цѣпенѣла; я не могу передать вамъ этого мучительнаго томленія, замиранья всѣхъ силъ, порыванья чувства, тоски-тоски, выѣдающей душу! И, потомъ, эта пустота, этотъ ужасъ не видѣть въ себѣ ничего; обхватъ ничтожества безъ движеній сердца, безъ трепетанья мысли—безо всего, что душа привыкла называть своимъ, а люди зовутъ милымъ! Здѣсь все такъ слито, такъ скрыто и завязано въ одномъ невыразимомъ томленьи, что я не знаю: какъ означать вамъ время? Два года—болѣе двухъ лѣтъ оно тянулось, страшно тянулось, и, умирая, жила душа.

Глаза открылись разъ,—и уже не было возможности закрыть ихъ: это не игра въ жмурки. Я безпощадно смотрѣла на все этимъ глубокимъ, испытующимъ взглядомъ тоски, будто надежды и неудержимаго презрѣнія, жалости... „Господи, да помилуй же этихъ людей! И неужели это жизнь? И они думаютъ, что они живутъ! И мнѣ такъ жить-жить—и умереть?“ Я стискивала руки; онѣ сами у меня прижимались къ груди; я хотѣла поднять ихъ къ небу и роняла на колѣна.

Жизнь шла на меня со всею оравой, съ полною ватагой большихъ и мельчайшихъ нуждъ, требованій и все-таки желаній, желаній... Я думала отвѣтить на все однимъ горделивымъ презрѣніемъ—и отвѣчала; а молодое чувство билось, оно такъ тоскливо болѣло: у него-ли нѣтъ своихъ нуждъ, своихъ повелительныхъ требованій? Вамъ, конечно, это покажется смѣшнымъ; но надобно быть женщиной въ шестнадцать-семнадцать лѣтъ, чтобы понять: какъ дорога обновка, какъ милъ цвѣтокъ къ лицу! У всякаго свои радости, своя доля счастья: тотъ доволенъ однимъ, другой—другимъ; этотъ веселился, тотъ ждетъ веселостей; всѣмъ праздникъ несетъ что-нибудь;—мнѣ ничего, я одна, всегда одна. Дочь савинскаго дворника франтитъ передо мною, и только тотъ не заступаетъ мнѣ дороги, кто не хочетъ... „И чтобы я могла до того унизиться, чтобы плакать объ этихъ дрязгахъ—никогда!“ шопотомъ восклицала я, захлебываясь отъ невольныхъ слезъ. И я не плакала; да легче-ль было сердцу?

Я сушила глаза, подымала голову... Видите-ли, что я была горда сама собою, собственною силой; потому-то Господь и смирялъ меня: вѣдь, Онъ меня любилъ, Онъ взялъ меня на Свои руки. Но я тогда не понимала этого.

Глухо, затая въ себѣ все, я волновалась и, разумѣется, чѣмъ болѣе душила вырыванье чувства, тѣмъ болѣе чувство душило меня. Я шла въ церковь, думала умириться, отдохнуть—и не могла. Это козлиное оранье вмѣсто святаго пѣнія, мумыканье намѣсто чтенія; Божія Матерь чуть не съ бакенбардою во всю щеку... Да проститъ меня Архистратигъ Михаилъ! разряженный—по колѣна ноги въ золотѣ; увѣшанный, уремизованный ленточками: желтенькими, красненькими, зелененькими; черезъ руку шарфъ голубой, завязанный прекурьезнымъ узломъ—только бы шапку съ колокольчиками...

Я разрывалась. Этотъ дьячекъ среди церкви, засаленный, косёнка торчитъ... Я готова была подсказать ему, на чемъ онъ остановился и мямлилъ: *бабы египетскія, бабы египетскія*, а бабы подняли головы и смотрятъ на него...

Эта жизнь меня томила, какъ развѣ можетъ томить предсмертное замиранье. Но жить все-же надо (хоть бы и хотѣлъ утопить себя, такъ негдѣ); я разумѣю: жить—дѣлать еще что-нибудь, кромѣ ѣды да спанья.

— Maman, что̀ мнѣ дѣлать?

— Вяжи чулокъ.

И это трудъ! и вотъ мое великое дѣло жизни: пять спицъ и клубокъ нитокъ!.. И стоило же родиться для этого? Шесть лѣтъ напрягать молоденькія силы ума? набивать голову всякимъ мозгомъ? слушать о тайнахъ земли и неба, о судьбахъ человѣка... чтобы вязать чулокъ, скорчась у печки?

Во мнѣ открылась страшная, неутолимая жажда дѣла, труда. Дѣлать, дѣлать! Кажется, малѣйшая жилка моя вопила: дай дѣла! Я хваталась за чулокъ; вязала до того, что кровь у меня выступала на пальцахъ отъ прижиманья спицъ... Дай дѣла!—кричали голоса (внутренній голосъ человѣка сильнѣе всего міра).—„Что̀-жь я вамъ дамъ? спрашивала я почти громко, бросая чулокъ, бросая руки—рыдая. Развѣ-жь я не дѣлаю?“ Я думала, что это дѣло легкое. Тётенька цѣлый день копается въ саду и говоритъ: „Вотъ подѣлала, такъ подѣлала,—душѣ сладко“.—Я брала лопатку; выбирала еще, какая потяжелѣе, и начинала копать. Потъ лилъ съ меня ручьями; я не могла шевельнуть ногой; руки у меня распухали отъ плеча по самую кисть; пальцы

пухли. Едва добираясь до постели, я падала на нее, думая: „ахъ, Господи! теперь я поработала“... И вдругъ внутренній голосъ—этотъ полубогъ (какъ назвалъ его прекрасно Михаилъ Никитичъ [1])—онъ вдругъ говоритъ мнѣ: „ты ничего не дѣлала!“

Боже мой! да что-жь такое этотъ трудъ, неуловимый для меня? Въ чемъ же, наконецъ, онъ заключается? Неужели въ тётенькиныхъ грязныхъ рукахъ? Неужели я потому только ничего не дѣлала, что руки у меня остались чисты? Да поглядите-же: онѣ распухли, онѣ у меня болятъ, какъ перебитыя: это болѣе грязи и всѣхъ царапинъ розой... Но, нѣтъ! я сама сознавала, что это не трудъ. Нѣтъ, не такъ долженъ трудиться человѣкъ: не одной силой тѣла,—для этого у него есть волъ и лошадь: потому они и сильнѣе его. Онъ, какъ царь, какъ верховный работникъ всего міра, онъ долженъ трудиться весь—трудиться болѣе тѣмъ, чѣмъ не можетъ трудиться никто, кромѣ его! Пусть работаетъ его умъ (дѣла у него—пропасть: одна видимая природа, ея станетъ на разработку всѣхъ умовъ міра, хоть на тысячу лѣтъ!)—пусть напрягаются силы души, сердце трепещетъ подъ ощущеньемъ, ширится чувство, и все это кипитъ дѣятельностью и подымается къ небу—о, вотъ это—трудъ, вотъ это—жизнь! и пусть сила тѣла только помогаетъ выносить эту силу духа!

Я забросила свой чулокъ и лопатку, и сѣла. Что́ я еще буду дѣлать? Да!.. Маменька, хотя шутя, а часто говоритъ, что какая у нея я *ключница* и *ларечница*, какъ въ пѣсняхъ дочь воспѣвается? Ни за что́ не примусь никогда; не бывать мнѣ, видно, хозяйкой. Пойду ключничать.

— Куда ты, Надя?

— Въ погребъ кувшины снимать.

— О! вотъ моя хозяечка! вотъ мои золотыя ручки! На силу-то онѣ за дѣло взялись.

Я снимала кувшины и не смѣла поднять головы, не могла повести глазами: мнѣ было стыдно, совѣстно своей честной ключницы; какъ будто я подозрѣваю ее; мнѣ жаль этой ложки сметаны, которую, можетъ быть, она бы съѣла. Я готова была зашвырнуть свою снимательную ложку въ болото. Наконецъ, того только не доставало, чтобъ я краснѣла отъ стыда передъ своею бабой!

— Что-жъ ты нейдешь, Надя? Катерина тебя давно ждетъ.

— Не пойду.

---

[1] Муравьевъ.

— Ужъ нахозяйничала! Я такъ и знала: и накопала, и чулка навязала—уже всего надѣлала!.

— Надѣлала.

— То-то же я и говорю, что надѣлала. Сначала—ухъ! горяча. Посмотрѣть: города возьмемъ; а тамъ...

— Что-жъ *тамъ?*

— Лѣнь такая, что не приведи, Господи!.. Вѣдь, вотъ послушай, Надя! Слава Богу, что ты еще у насъ; мы вотъ тебя не принуждаемъ; а побыла бы ты у другой матери, при нашемъ состояніи...

Кажется, мнѣ было бы легче. На мнѣ лежала бы какая-нибудь обязанность, должность. Какъ она ни скаредна, но облеченная въ дѣло, указанное мнѣ дѣлать; вынося на себѣ печать долга—ужь тамъ какого бы то ни было! она все-таки, хоть на четинку, избавила бы меня отъ этой страшной пустоты. Теперь у меня ничего не было. Я была отдана самой себѣ, пущена на свою волю, какъ молодой конекъ безъ узды и сѣдла. Что мнѣ было дѣлать съ этою свободой? Она опостылѣла пуще неволи. О, какъ хотѣлось наклонить голову подъ чью-нибудь сильную, благородную волю! Пусть бы она вела меня, куда хотѣла; я не отстала бы,—я всюду бы пошла, полетѣла за ней! Почти съ младенчества я привыкла жить, напрягая всѣ маленькія силёнки моей души, и теперь, когда разцвѣли онѣ, мои юныя силы, когда на нихъ такъ живительно пахнуло и духомъ полей, и духомъ свободы,—онѣ борятся въ бездѣйствіи и только ломятъ молодую грудь!

Мнѣ была дика, невыносима эта голая степь, подобіе моей души. Къ осени она такъ грязно посѣрѣла; въ домишкѣ темно; вѣтеръ, кажется, сію минуту развалитъ его, онъ раскиснетъ отъ дождя. Собаки собрались на погребъ, подняли носы и воютъ, смертельно воютъ—завываютъ на волка... Не вѣрьте, что можно умереть съ одной тоски; я осталась живою. Я перетащила къ себѣ сундукъ съ книгами, хотя и давно знала, что тамъ ничего нѣтъ. Что было получше, повыбрала тётка (маменькѣ было не до книгъ), что порастерялось дорогою, половину некуда было взять; изо всего осталось мнѣ: блаженная *Россіяда, Владиміріада, Письмовникъ Курганова;* книжка *Арабскихъ сказокъ*, печатанныхъ едва-ли не по-церковному; *Мартынъ Задека*, два экземпляра *Душеньки*, знакомецъ *Рыцарь краснаго оружія; Ринальдини* неполный; еще нѣсколько томовъ разбойничьихъ романовъ, безъ начала и безъ конца, и пр. и пр. *Исторія Глинки* и *Оды Державина.*

Меня одолѣла сила читать. Ни до института, ни въ институтѣ, она не обхватывала такъ всѣхъ желаній, всего порыванья души. Когда я думала о книгахъ, воображала себѣ комнату въ садъ и на столѣ книги—книги, я чувствовала ознобъ и жаръ, настоящую лихорадку. Я бы отдала платье, шарфъ, послѣдніе башмаки, я готова была не ѣсть, не спать цѣлые дни, только дайте мнѣ книгу! Во всемъ околоткѣ было книгъ: *Оракулъ*, да *Георгъ, Милордъ Англійскій*. Я брала свои книги, начинала читать — и не могла прочесть ни двухъ страницъ: я бросала книгу подъ столъ, забрасывала ее подъ кровать. Но кто передастъ всю силу униженія, когда я опять лѣзла за нею, доставала эту гадостную книгу, опять читала ее? я хохотала, а слезы у меня готовы были брызнуть. Наконецъ я не выдержала: топилась печь — я стала бросать въ нее весь этотъ хламъ; съ жестокою радостью подгребала огня; я любовалась, какъ листы корчились, буквы сначала пламенѣли, потомъ страница трепетала, свивалась и улетала въ трубу.—„Туда и дорога!“ говорила я, подкапывая еще огня. Навѣрное можно сказать, что мало бы чего осталось, но мнѣ не дали; но это было все равно. Съ этой поры для меня остальныя книги какъ не были: я не могла уже воротиться на то, что отвергнула съ такимъ ожесточеніемъ. Я захлопнула сундукъ и выслала его къ мышамъ, къ паукамъ—въ кладовую! И я осталась безо всего, одна, какъ видите, безо всего: нечего было желать, нечего надѣяться, когда ничего не исполнялось, ничѣмъ не живилась бьющаяся надежда сердца.

Господь благоволилъ меня воспитать на совершенномъ отсѣченьи у меня собственной воли: чтобы я знала *нѣтъ и нѣтъ* своимъ желаніямъ, пока они смиренно не припадутъ къ Его вышнему *да*, и я не научусь находить сладость въ самой желчи отказа. О, какой узкій путь! какъ тяжело начинать ступать по немъ!

Вы думаете, отказа только въ томъ, что̀ вы видѣли: въ самыхъ глубокихъ, въ самыхъ сильныхъ позываньяхъ души? Нѣтъ: божественная заботливость моего высокаго Воспитателя шла далѣе. Она вникала въ малѣйшую мелочь, въ самую послѣднюю вещь; рубила не дерево только—подкапывала корни; не давала ни отпрыска, ни одного побѣга! Въ это время я потому жила, что мнѣ было все равно: жить, или не жить. Если бы я захотѣла жить, я бы умерла. Не находя, что̀ дѣлать, на чемъ бы я могла остановиться, я невольно оборотила самое ревнивое, изощренное скорбью и горечью вниманіе на самую себя—на все малѣйшее,

что̀ соприкасалось мнѣ. И судите, что̀ я должна была чувствовать, когда видѣла: что, мало того, что мнѣ отказано во всемъ большемъ,—меня преслѣдуютъ, ловятъ меня на каждомъ шагу! Что какая-то враждебная рука словно протянулась надо мною и хватаетъ мое малѣйшее желаніе, чтобы разбить его, сейчасъ же поставить все наперекоръ ему! Что мнѣ, какъ говоритъ наше простонародіе, *назриться* не даютъ! Я убита, пришиблена, едва только задумаю приподнять голову... И если бы еще я не видѣла этого такъ! Но зоркій, настороженный взглядъ останавливался на всемъ—при самомъ малѣйшемъ, со всею мелочною осмотрительностію, раздражительностію несчастья! Мнѣ надобно было только сказать, чего я хочу, чтобы его никогда не было. Все это такая грустная мелочь, что я не знаю: говорить-ли о ней? Вы скажете: „какъ можетъ Господь, рука Господня входить въ такую мелочность?“ Господь такъ великъ, что для Него ничего нѣтъ малаго: все мало или безконечно велико по Его изволенію. Передъ Нимъ день одинъ, какъ тысяча лѣтъ, и тысяча лѣтъ, какъ день одинъ.

Я сѣяла цвѣты—они не всходили; я любила коренья—и ѣла всегда мясо. Я терпѣть не могу на себѣ ничего краснаго, розоваго—я безпрестанно ходила въ немъ; я до сихъ поръ не могу добиться себѣ синяго платья. Маменька ѣдетъ на ярмарку.

— Maman, душенька! пожалуйста, я прошу васъ: будете мнѣ покупать на платье — купите чего-нибудь темненькаго, или лиловенькаго. Бога ради—не краснаго, не пестраго.

— Хорошо, душенька. Такъ тебѣ темненькаго? Куплю.

— Да вы не купите, maman.

— Вотъ терпѣтъ не могу этихъ пророчицъ! Ужь когда сказала: куплю, такъ, стало, куплю.

Пріѣзжаетъ маменька.

— Покажите... Maman, да развѣ-жъ это темненькое, лиловенькое? Не я-ли просила васъ...

— Да постой, дурочка! Куда ты бѣжишь? Ты посмотри: вѣдь, доброта-то какая! зубами не разорвешь. Будто бы я не хотѣла угодить тебѣ? Во всѣхъ лавкахъ перебыла—дрянь такая! Узорчикъ, смотрѣть, будто и порядочный, да хоть кисель цѣди: доброты никакой; а это—погляди!—вѣдь, смѣло, два года проносишь!

Меня сажали играть въ карты. Обыкновенно мы играли въ вистъ: маменька съ тётенькой, я всегда съ болваномъ. И здѣсь, и въ этомъ пустѣйшемъ, въ самомъ ничтожнѣйшемъ убиваньи дѣла, этотъ властительный духъ противорѣчія не оставлялъ меня!

Иногда мнѣ было такъ грустно—тяжко, что я задыхалась; я не знаю, куда дѣть себя, а меня зовутъ играть въ карты. Я сажусь за столъ и едва вижу карты на рукахъ; я бы лучше припала къ этому столу и рыдала-рыдала, пока не наплакалась бы душа; а я играю, и карта идетъ ко мнѣ чудо! Болванъ козыряетъ четырьмя, всѣми пятью онёрами, масти у него подобрать нельзя лучше.

— Ну, ужь къ твоему болвану карта валитъ! говоритъ маменька, досадуя.

— Болванамъ—счастье,—едва отвѣчаю я.

Мнѣ хочется проиграть; хочу доставить удовольствіе маменькѣ; мнѣ самой было бы лучше: проигрышъ, можетъ быть, разшевелилъ бы меня, я бы захотѣла выиграть, оживилась бы хоть немного. Я бросаю карты, какъ попало; дѣлаю нарочныя ошибки—и выигрываю, безпрестанно выигрываю; у меня по восьми козырей на рукахъ. Другой разъ меня опять тянутъ, я не хочу.

— Ты никогда не сдѣлаешь удовольствія намъ,—говорятъ мнѣ.

— Что тутъ за удовольствіе такое? Вѣдь, пойду—все равно обыграю васъ.

Я берусь за карты съ досаднымъ одушевленіемъ.

— Вотъ посмотрите, обыграю! говорю я—и проигрываю; вѣрите-ли, безпощадно проигрываю. Напрасна вся моя сметливость, все приметанье къ дѣлу: какъ ни бейся, карта не идетъ, какъ заколдованная! Мнѣ даютъ шлемы, полушлемы... „А что?“ говорятъ, „обыграла? много обыграла? хотѣла обыграть?..“ Я бросаю карты, бѣгу куда-нибудь въ темный уголъ: слезы у меня градомъ, а меня провожаютъ возгласы: „какое малодушіе! ахъ, какое малодушіе! Плакать о томъ, что карты не идутъ!“

Наконецъ, это неисполненіе всего, ни малѣйшаго позыва желанья,—убило, притупило и самую силу желаній. Со мной произошло что-то ужасное, непередаваемое. Я даже не знаю: какъ назвать его? Развѣ смерть и погребеніе въ живомъ тѣлѣ. Я перестала желать чего бы-то ни было; ничего не надѣялась, ничего не ждала; я никого не любила, ни ненавидѣла. Это было какое-то нечеловѣческое равнодушіе ко всему, къ самой себѣ еще болѣе. Находили такія минуты полнаго онѣмѣнія, что дѣлайте со мною, что хотите—мнѣ все равно: снимите съ меня послѣднее платье, насыпьте передо мной кучи золота; кажется, кольните меня въ бокъ ножемъ, я и того не почувствую! Если бы самые сильные и могучіе земли меня спросили: „чего ты хочешь? Мы все тебѣ сдѣлаемъ“ Я бы сказала: „ничего, оставьте меня“

Вы думаете, что въ этомъ равнодушіи, въ этомъ неестественномъ безощущеніи было тяжелое спокойствіе, какъ бы насильственный отдыхъ? Въ немъ была такая мука, такое тяжелое страданіе, неумиряющаяся тоска, что дайте мнѣ разгаръ какой хотите муки, и теперь я возьму его за одинъ день подобнаго спокойствія! Это язва, которой гнушается и самый адъ: это—полное ничтожество! Чувствовать его... „О Господи мой!“—лепетала я, рыдая, не выговаривая и половины словъ—„просила-ли я у Тебя счастья когда, или богатства, или чего-нибудь — не одна-ли молитва моя была: будь со мной, Господи! И неужели же Твое Божественное присутствіе можетъ обозначаться такою мукой, такими непосильными томленіями?“ Я рвала себѣ платье на груди. „За что Ты оставилъ меня? Что я сдѣлала такого страшнаго? Мнѣ больно, Господи! У меня душа болитъ“... И никакого отвѣта, никакого отзыва! Въ сердцѣ темно и безмолвно, какъ въ безмолвной могилѣ... Хоть бы я заболѣла!—говорила я. Можетъ, болѣзнь освѣжила бы душу; но я была здорова, страшно здорова. Вѣрите-ли? что я даже желала, чтобы у меня былъ какой-нибудь тяжкій грѣхъ на душѣ: по крайней мѣрѣ, у меня было бы что-нибудь—хоть мука раскаянья! Самое страшное что-нибудь, все лучше, чѣмъ ничего.

Велпкій Данте не правъ. Если изъ одного вѣчнаго движенія онъ сдѣлалъ вѣчное наказаніе, зачѣмъ же было къ вѣчной неподвижности прибавлять еще эти гнусныя, страшныя болѣзни? Развѣ онъ полагалъ, что одной ея мало? Лечь живому въ гробъ, живой духъ заключить въ мертвенную кору недвпжности; чувствовать жизнь—пусть она бьется всѣми жилами; силиться проявить ее,—и безконечные вѣки не имѣть силы, — ежеминутно умирать, замирать въ самомъ ощущеньи жизни, это—мука прямо адская! Она глубже вѣчнаго стремленія; это уже доказывается тѣмъ, что и на землѣ человѣкъ скорѣй согласится проходить семь часовъ, нежели простоять пять, не шевелясь, не трогаясь, на мѣстѣ. А теперь же духъ, освобожденный отъ своей тяготы землянаго тѣла—эѳирный, вѣчно движущійся уже по существу своему?

Но я должна свести васъ на послѣднюю ступень, гдѣ я остановилась, потому что далѣе идти уже было некуда. Рѣшиться смертельно болѣть, потерять сознаніе, что ты боленъ — это верхъ болѣзни.

Страшно осиливала меня эта бездна пустоты; никакого исхода; я перестала молиться; я не роптала потому, что для ропота

надо много живости и силу ощущеній: у меня ихъ не было. Но грудь полна невыносимыхъ слезъ, рыданія, и поплакать мнѣ негдѣ! Ночью припаду къ подушкѣ, думаю плакать тихо,—рыданія прорвутся и разбудятъ тётеньку.—„Что съ тобой, Надя? ты плачешь? о чемъ ты плачешь?“ Я не отвѣчаю ни слова, закутываюсь одѣяломъ, подушкой, глотаю рыданія; я думала одинъ разъ, что я задохнусь. Всѣ мои чувства были такъ болѣзненно напряжены, измождены, что малѣйшее чуть-чуть неловкое прикосновеніе вырывало смѣхъ и слезы, ногой становилось на грудь. Можно-ли, чтобы такое состояніе души не выходило наружу чѣмъ-нибудь подобнымъ? Я сдѣлалась раздражительна, вспыльчива—я? Когда я выходила изъ института съ полною увѣренностію, съ обѣтомъ, что никто никогда не увидитъ, какъ я сержусь; я сердилась десять разъ на день. Оставаться въ такомъ неопредѣленномъ, можно сказать, висячемъ положеніи, надъ бездной — невозможно. Надобно на что̀ нибудь рѣшиться. Я рѣшилась.—„Что̀, въ самомъ дѣлѣ?—думала я.—Что̀ я за выскочка такая? Вѣрно, лучше кого, что̀-ли? Пора выбить изъ головы институтскія бредни. И побогаче и поблагороднѣй меня, вѣдь живутъ же такъ: ну, и я буду жить. Выйду замужъ; что̀ тутъ разбирать? Дуракъ будетъ—еще лучше, уменъ — одурить его! Ума станетъ. Вѣдь другія-жь дурятъ. И дура была пошлая, что до этихъ поръ не взялась за умъ—буду жить!“ Я зажила.

Дѣла у меня рѣшительно никакого не было. Чулка я видѣть не могла, не то, чтобы взять его въ руки; платьевъ мнѣ шилось два-три въ годъ; бѣлье пошито; о канвѣ и шерстяхъ говорить нечего; это живыя деньги. Я встану ноутру, послоняюсь изъ угла въ уголъ; спрошу: что̀ обѣдать? скоро-ли обѣдать? Когда очень наскучитъ дожидаться, сяду за машинку—смотаю тальку. Что̀, какъ-будто, я любила дѣлать, это разматывать нитки. Чѣмъ запутаннѣе мотокъ, я рада. Позадуматься, поискать конца—выпутать, угадать его изъ сотни переметовъ, лавировать между петлями... Ахъ, гони природу въ дверь, она влетитъ въ окно. Это была та же древняя жажда труда, тотъ самый жаръ дѣла не дрянныхъ рукъ однихъ, а позадуматься, поискать... Послѣ обѣда я принимаюсь за карты; раскладываю пасьянсы. Что ни труднѣй пасьянсъ, то мой. Я раскладываю до тѣхъ поръ, пока карты не выходятъ; стали легко выходить — ясно уже, что пасьянсъ непремѣнно выйдетъ.—Тутъ только—маменька говоритъ—и самое удовольствіе, а я бросаю карты, мѣшаю ихъ и иду спать.—Проснучшись же, надобно что̀-нибудь дѣлать?—Навяжу на котенка

бумажку и пущу. Бумажка шуршитъ—котенокъ прыгаетъ, хочетъ схватить себя за хвостъ; я любуюсь. Встану, похожу опять по всѣмъ угламъ; подержу маменькѣ веретено съ нитками, пока мальчикъ бѣгаетъ гдѣ-нибудь на посылкахъ; войду въ дѣвичью—какой-нибудь Сиклитиніи, Епистиміи нѣту; я сяду на ея мѣсто за гребень, отведу нитокъ пять-шесть... То мое и горе, что я ничему не могла учиться! Я все дѣлала не учившись: шила и строчила, и пряла и даже тесемки ткала. Одно, чему я не съумѣла научиться: это ворчать и перебраниваться съ дѣвками. Я по прежнему, оставалась *доброю барышней*. Иногда вечеръ заставалъ меня въ самомъ философскомъ положеніи и времяпровожденіи. Я лежала, откинувши голову, на своемъ диванѣ и смотрѣла въ потолокъ. На потолкѣ видѣлась трещина, бродила какая-нибудь отсталая муха; а въ другой комнатѣ звенѣли чашки.—Что, если бы я была муха? — думала я, медленно подымаясь къ чаю.—И я, вѣдь, ходила бы вверхъ ногами... Ну насилу-то дню конецъ! Когда бы еще завтрашній поскорѣй прошелъ. — Я никогда не хотѣла ѣсть и ѣла безпрестанно; спала болѣе двѣнадцати часовъ въ сутки и, таково потайное томленіе души! при этакой жизни, я не только не распространилась въ ширину, не могла даже пополнѣть; я была такъ слаба, безъ всякой болѣзни, что возьму чашку чая, и не могу удержать въ рукѣ: она у меня дрожитъ и чай расплескивается.

Странное дѣйствіе стали производитъ на меня стихи. У меня ихъ было немного изъ института. По настоящему, ихъ должно бы быть куча.—Да на что мнѣ?—говорила я. Чтобы у меня не было всего Пушкина и Жуковскаго, да я и жить не хочу! Это были еще остатки той первобытности, когда *хотѣть* и *имѣть* значило одно и то же.

Отъ нечего дѣлать, я какъ-то стала рыться въ своемъ шкафѣ и напала на связки институтскихъ тетрадей. Тупо я стала пересматривать ихъ: меня даже не живили воспоминанія. Вдругъ попадаются стихи. Глаза лѣниво оборотились... но это на минуту, на одну только минуту! Я затряслась вся; въ груди у меня, точно, будто что оторвалось и трепетало тамъ. Я уже не помню, когда плакала; теперь слезы меня пронимали. Это былъ *Полководецъ* Пушкина: *У Русскаго Царя*. Кажется, о чемъ тутъ плакать? Но когда я дочиталась до строки: *О люди, жалкій родъ*, и далѣе, слезы у меня рпнулись; я плакала, долго плакала, и мнѣ было такъ легко плакать. И это не одинъ разъ. Уже, кажется, я со всѣмъ зажилась и не вспоминаю, что были когда-то *другіе дни*,

другіе сны—и вдругъ одна нечаянность: два-три стиха—и я не та! Я опять та-же институтка; та-же пламенная, страдающая; я выпрямляюсь; руки у меня горятъ—не берите ихъ! Мнѣ и грустно и радостно; слезъ хочется; точно какой-то голосъ зоветъ—зоветъ меня... Даже эти пѣсни, простыя пѣсни.

У насъ, въ дѣвичьей, много было дѣвушекъ. Какъ имъ вздумается, онѣ тамъ поютъ. Эти полевые, заунывные звуки, они волнуютъ меня, подымаютъ всю кровь къ лицу. Я затворюсь въ свою узенькую комнатку и припаду къ стѣнѣ, изъ-за которой они несутся. Мнѣ жарко; я поворачиваю лицо: пѣсня будто свѣжитъ, обвѣваетъ его. Слезы крупными каплями догоняютъ одна другую, и опять душа рвется, опять грусть, тоска; молитва съ рыданьемъ—съ замираньемъ словъ. Я упаду головой въ колѣна—и плачу-плачу, какъ не плачетъ маленькій ребенокъ. Одинъ разъ я цѣлую недѣлю ходила истомленная, смутная, какъ больная, и отчего-жь? Когда я стояла вечеромъ возлѣ коровъ, смотрѣла, какъ ихъ доятъ,—далеко въ степи, кто-то ѣхалъ и пѣлъ пѣсню. Я не слыхала ни слова; одинъ только звукъ...

Наступилъ Великій постъ. И мою душу смутила его святая дѣятельность,—я начала чулокъ. Я начала читать Библію; не для того, чтобы читать ее—нѣтъ! А я не могла заснуть послѣ обѣда, такъ чтобы задремать. Какъ-то пришлось мнѣ развернуть на *Книгѣ Судей Израильскихъ*. Меня поразила неизреченная благость Божія. Израильтяне забудутъ Бога, поклоняются кумирамъ; ихъ Живой Богъ умеръ въ сердцахъ ихъ; — но сосѣди пришли, напали иноплеменники, туга облежитъ Израиля—и онъ вспоминаетъ своего древняго Іегову;—къ Нему,—и Тотъ даже не даетъ дважды молить Себя! По первому призыву, Онъ здѣсь! Онъ—вотъ Онъ! въ рукѣ уже спасеніе и льется милость. Прошла бѣда, Израиль расцвѣлъ, какъ садъ на пригорьи Ливанскомъ—и въ дубравахъ жертвы идоламъ; дочери людей Божіихъ жрутся на алтаряхъ мерзостнаго язычества! И опять бѣда, и опять тотъ же безстыдный кличъ къ Богу — и та же милость, та же благость... И это не два, и не четыре раза; а, можетъ быть, двадцать разъ на пяти страницахъ! Я стала читать Библію, чтобы не спать.

Пришелъ вечеръ Великой субботы. Маменька кое-какъ отправилась на телѣжкѣ къ церкви. Въ экипажѣ было ѣхать невозможно: надо было переѣзжать логъ; шла вода; наступила самая распутица. Тётенька, не помню, гдѣ была, только въ домишкѣ ни шелеста! какъ-будто ни души нѣтъ, я одна. Я сидѣла въ

своей парадной комнаткѣ. Святая ночь смотрѣлась въ окно, тихо сіяя звѣздами; у однихъ образовъ горѣла лампада, у другихъ—свѣча. Легонькій свѣтъ косыми полосами падалъ на яркій атласъ одѣяла, переливался по кисейнымъ оборкамъ подушекъ и затихалъ за ними такъ мирно, будто успокаивался; занавѣски бѣлѣлись заново; бахрома ихъ выросла на тѣни:—такъ пахнетъ праздникомъ! такъ вѣетъ чтб-то благодатное на душу! Мнѣ вспомнилась эта ночь—былая... Какъ хочешь, бывало, чтобы заутреня протянулась подолѣе, чтобы встрѣтить Праздникъ, какъ въ городскихъ церквахъ—въ полночь, и сговариваются пѣть не такъ скоро; а заутреня всетаки окончится къ одиннадцати часамъ. Велятъ спать—какъ боишься уснуть! Уйдетъ дама—опрометью вскочишь, побѣжишь въ классъ, усядешься на окнѣ, припадешь лицомъ къ стеклу—и смотришь, ждешь: когда, между деревьями, заблестятъ огни въ Дмитріевской церкви,—кажется, никогда не дождешься! Но вотъ они блестятъ, горятъ, загудѣли колокола... И крестишься, и прыгаешь; выскочила бы въ окошко; обнимаешься... „Ахъ, mesdames! какая я дурочка! Спросите: чего я плачу?“ Я заплакала. Еще съ института я не читала Евангелія; я думала: зачѣмъ я его буду читать? Я его все знаю почти на память: читала и перечитала. Развѣ оно теперь другое? Ахъ! когда ни читай его, оно все то же; но разно дѣйствуетъ на душу. Я облокотилась обѣими руками на столъ и стала читать по порядку, начиная съ перваго листа. Я не могу передать вамъ той удивительной новости, свѣжести, которыя встрѣтили меня. Все—старое, все —давно знакомое, а все такъ неслыханно шевелитъ сердце. Я не долго читала. Скоро я стала на колѣна,—слезы, какъ зерна, падали, сыпались—я не отирала ихъ; я не произносила ни слова, не крестилась,—я только стояла на колѣнахъ и свѣтъ отъ лика Спасителя лился—лился на мое, поднятое къ Нему лицо...

Вы догадываетесь, что этотъ праздникъ Воскресенія былъ и моимъ воскресеніемъ. Одинъ только Богъ можетъ выводить изъ такой тьмы на свѣтъ Свой и такъ внезапно! Если можно вообразить, что у души есть крылья, то у моей теперь были лебединыя. Она радостно била ими и купалась на такой тихой, чистой водѣ веселья, что свѣтлые брызги летѣли къ небесамъ и падали на землю сладостными слезами. Куда дѣвались эта тяжесть, тоска, недоумѣніе? Во мнѣ осталась только кроткая, какая-то радостная грусть, по которой я вовсе не хотѣла смѣяться, а сладко весело плакала. Вокругъ меня существенно ни-

чего не измѣнилось; но я была не та—и все не то. Помирившись сама съ собой, я примирилась со всѣмъ,—со своею жизнію, съ своею долей; я полюбила свои степи. Мнѣ сталъ такъ милъ и свѣтелъ нашъ маленькій домикъ:

Въ немъ тишина и миръ святые
Возсѣли на простой порогъ;
Любви источники живые
Сюда привелъ Спаситель—Богъ.

Когда я не бывала въ немъ день, я входила въ него, какъ въ церковь—съ благоговѣніемъ. Отовсюду слышались какіе-то голоса, и мнѣ хотѣлось сказать каждой отживающей травкѣ: пусть живетъ-живетъ она и хвалитъ Господа! Я полюбила всѣхъ, всѣхъ. Какъ удивительно близка мнѣ стала чужая радость и чутко чужое горе! Малѣйшій звукъ веселья, онъ такъ умилительно меня растрогивалъ (душа знала цѣну ему), и сколько разъ бывало, когда я хожу вечеромъ по цвѣтнику, и ко мнѣ донесется топотъ пляски и раздадутся пѣсни съ деревни—я остановлюсь. Мнѣ весело за нихъ; я боюсь, чтобы они скоро не перестали,—и когда тамъ поютъ и звонко пляшутъ, мнѣ такъ хорошо молиться, чтобы Господь придалъ имъ еще радости,—еще ея: пусть передъ Нимъ веселится Его міръ и Его звѣзды благодатно смотрятъ на землю! Думала-ли я, что въ то время, когда я такъ мятежно билась въ своей неподвижности и порывалась къ дѣлу, величайшее дѣло совершалось во мнѣ?

Таинственно, какъ все, что́ относится къ духу, недовѣдомо мнѣ самой, во мнѣ разрабатывались всѣ вопросы жизни—все, что́ говоритъ человѣку: „ты—человѣкъ, ты—царь земли; иди и царствуй надъ собой!“ Теперь эти вопросы, они благословенно вызрѣли и такъ глубоко—широко развернулись передо мной! Гдѣ бы ни стоялъ человѣкъ, онъ всегда великъ. Душа его шире всѣхъ охватовъ широкаго міра. Мужчина—глава, высокій преемникъ Создателя: ему—сила, ему—величіе, ему—вся власть; пусть женщина наклонитъ передъ нимъ свою прелестную головку—ей кроткая возвышенность; ея доля тише: на рукахъ у нея счастье земнаго царя, и любовь, любовь ея, какъ голубка Ноя, пусть облетаетъ весь міръ и идетъ покоиться на ковчегѣ своего завѣта съ масличною вѣтвью въ устахъ! Кажется, я бы была совершенно счастлива, если бы у меня было дѣло—какое-то мое, опредѣленное мнѣ дѣло. Я чувствовала, что оно какъ-бы носится надо мною; только я не умѣю протянуть руки и схва-

тить его. Тётенька имѣла теперь во мнѣ свою ревностную помощницу. Я не выбирала тяжелыхъ лопатокъ и не копала грядъ до упада; но ни одинъ цвѣтокъ не садился и не пересаживался безъ моего верховнаго совѣта. Я полюбила цвѣты съ увлеченьемъ институтки. Сколько думъ, мечтаній они навѣвали! Я звала ихъ милыми, бѣдными звѣздочками земли.

Звѣзды и цвѣты были родныя сестры, и жили онѣ на голубомъ небѣ, и было свѣтло—хорошо у нихъ. Разъ сказали онѣ между собой, показывая на землю: „что это такое? И отецъ нашъ—Солнце очень приглядывается. Не пойти-ли провѣдать?“ А были любопытны свѣтлыя звѣздочки. Вотъ—только что Солнышко, ужь какъ насмотрѣвшись на свою любимицу съ одной стороны, завернулось въ красную съ золотомъ порфирку и сошло заглянуть съ другой—звѣздочки-козочки хороводомъ выступили на положекъ неба. Смотрятъ на землю,—и страшно, а хочется.—„Что тамъ за земля такая?“—Вдругъ сорвалась, полетѣла одна, за нею другая—третья; летятъ красавицы-звѣздочки и страха на нихъ нѣтъ! Разсыпались по землѣ, ищутъ: „что тутъ батюшкѣ-царю приглянулося?“—Ничего; темно да грязно. Суетятся звѣздочки: „что тутъ родному показалося?“—И, ну, рыться, зарываться въ землю: не авось-ли тамъ найдутъ? И не знали, видно, звѣздочки, что кто позарылся въ землю, не видать тому высокаго неба! А Земля, вѣдь, старая колдовщица, она, чуть-ли, не приколдовала и государя—Солнышко? Не слышатъ звѣздочки—хлопочутъ; а корешки отъ нихъ давно растутъ, повпивались въ землю. Какъ вотъ ясное солнышко распустило волосики, взобралось на горку—и глядь!.. Звѣздочки къ то къ нему! Звѣздочки на небо—нѣтъ, больно! не оторвешься... И остались звѣздочки высокаго неба да на нашей землѣ! Поглядѣло-поглядѣло на нихъ отецъ родной—Солнышко—и жалко ему стало. Тряхнуло золотыми кудрями—посыпались искры;—выходятъ изъподъ земли звѣздочки, блѣденькія, маленькія, что грустно смотрѣть. Ласкаетъ ихъ царь-Солнышко, порываются онѣ къ нему; рубашечки надѣли зелененькія—вышли и умильно смотрятъ въ жаркія очи батюшки. Улыбнулось, поцѣловало ихъ Солнышко въ самую макушечку—какъ зацвѣли онѣ, зарумянились и теперь цвѣтутъ! На ту пору, дѣвушка плела волосы и сорвала первый цвѣтокъ,—и цвѣты любятъ косу дѣвушки,

„И любитъ дѣвушка цвѣтокъ“.—

А между тѣмъ моя милая Лизавета Алексѣевна, при каждомъ удобномъ случаѣ, не забывала своего:—А наука-то моя, наука что?

— Ничего,—отвѣчала я. Ваша ученица—изъ рукъ вонъ. Но потерпите на мнѣ, моя благая учительша; не авось либо вся воздамъ вамъ? Въ Балаклеѣ (военное поселеніе, верстъ 30) нынѣшнюю зиму учреждаются собранія. Два полка уланъ и гусары будутъ! Какъ вы думаете: вѣдь, можно промотаться на сердце?

— Можно—и могите!—отвѣчали мнѣ.

Если бы я даже не сказала вамъ, то вы сами догадаетесь: съ какимъ замираньемъ я ожидала собраній! Но это было больше страхъ, нежели удовольствіе: „что, если нѣтъ?“—спрашивала я самое себя. „Вѣдь это моя послѣдняя надежда! Теперь, или, стало, никогда!“ Я долго не рѣшалась ѣхать, какъ не рѣшаются открыть письмо, въ которомъ знаютъ, что жизнь, или смерть. Наконецъ... и это уже было воскресенье на масляной—„ѣдемъ, maman,“—сказала я. Когда мы ѣхали, мнѣ было жарко; я начала одѣваться въ жарко натопленной комнаткѣ, мнѣ стало холодно. „Скорѣй, скорѣй, мои дамы!“—стучалъ въ стѣну нашъ кавалеръ... „Огни горятъ, музыка играетъ; уже одинъ кадриль протанцовали“.—Я перекрестилась и вышла. Ѣдемъ мы, пріѣхали. Я не видала: темно-ли, свѣтло-ли у подъѣзда? Одинъ или десять это голосовъ говорило мнѣ: „пожалуйте направо!“ Я пошла налѣво. Зеркало въ уборной опомнило меня: ахъ, перчатки широки! Передъ глазами дверь - и за нею, за нею... Маменька отворила ее...

Пожалуйста, не думайте, Петръ Александровичъ, что со мной сдѣлалось Богъ знаетъ что! У меня престранная внутренность. Пока еще ничего нѣтъ, далеко, и бояться бы нечего—я боюсь, я не знаю, что̀ дѣлать мнѣ, замираю. Но только наступила рѣшительная минута, вотъ, вотъ она,—откуда у меня сила берется? Я, просто, *герой*. Вы не вѣрите? Вотъ вамъ доказательство самое свѣженькое—изъ нынѣшней зимы:

Еще братъ былъ дома; мы ѣдемъ къ обѣднѣ. Я говорю: „Пашенька, прикажи проѣздить лошадей: я что̀-то боюсь“.—„Вотъ, пустяки! чего бояться?“—„Да того, что я боюсь“.—„Со мною нечего бояться“.—„Да, ну, вели, Паша?—„Э! трусиха, ты, трусиха! вотъ же не велю“.—„Ну, ужь эти мужчины!“ Прошу извинить, Петръ Александровичъ, невольно рукой махнешь. Я чувствовала трепетанье; грудь мнѣ давило. Надобно вамъ сказать, что у меня есть предчувствія, и я имъ понемногу вѣрю.—Выходимъ садиться,—„Пашенька! ну, пожалуйста; я тебя прошу, мой другъ: вели проѣхать“.—„Садись-ка, мой другъ. Я твои ноженьки укрою“ Что̀-жь больше дѣлать? Только что рукой

махнуть. Сѣли мы. Недалеко отъ крыльца былъ нанесенъ сугробъ; надобно взять въ объѣздъ... Лошади поворотили и понесли къ конюшнѣ; тамъ были приставлены доски, зацѣпили ихъ. Я едва успѣла отклониться,—доска, менѣе чѣмъ на вершокъ, пронеслась мимо моей головы; другая попала подъ сани, подрѣзомъ такъ ее и расщепило на двое. Пристяжная съ моей стороны оторвалась; пара ее нажимала къ конюшнѣ; ей некуда было дѣться,—она почти насѣла на меня, успѣли кое-какъ удержать.—„Видишь?“—говорила я брату, выпрыгивая изъ саней и протягивая руку къ его ушамъ—„не моя правда, что надобно проѣздить лошадей!“ Даже ни одна жилка не билась ускоренѣе; ни прежней тягости не стало, ни замиранья. Я была спокойна и довольна, какъ будто встала съ кресла Поэтому вы не должны удивиться: если не зная въ передней, гдѣ право, гдѣ лѣво, я вошла въ залу съ чистымъ, полнымъ самосознаньемъ.

Что́ я скажу вамъ? Мы танцовали отъ девяти и почти до осьми часовъ. Народъ Божій выходилъ отъ утрени, а мы ѣхали изъ собранія. Я была окружена очень лестною внимательностію: человѣкъ по-пяти по-шести не отходило отъ стула (дамъ было мало), а спросите: что̀ я дѣлала? Я досадовала, щипала кончики платка; я не знаю, что бы я сдѣлала!

Тутъ былъ одинъ Полякъ; правда ихъ было много, да одинъ на виду (я забыла фамилію): богатый человѣкъ; ну, главный распорядитель собранія, уступившій свою квартиру, развѣсившій свой коверъ на стѣнѣ—какъ не привзять гонора? Сидитъ такъ откинувшись преважно; едва на кого смотритъ. Танцуемъ мазурку—другихъ кавалеровъ будто нѣтъ, его выбираютъ безпрестанно—и онъ какъ-то изволитъ привстать, да еще приподняться. Онъ, кажется, утомленъ—изнеможенъ; ему чуть-ли не спирта надо. Меня разрывало на части.—И женщинамъ не имѣть на столько благороднаго самолюбія, чувства своего достоинства, чтобы не захотѣть навязываться къ тому, кто,—хотя, безъ сомнѣнія, лжетъ,—но видимо показываетъ, что ему надоѣли? Едва выступаетъ на припрыжки своихъ искательницъ, не благоволитъ кончить ни одного тура... Фу, мой Господи! да ежели бы жизнь моя отъ этого зависѣла,—я бы умерла вотъ тутъ—на мѣстѣ и не пошевельнулась! Пусть же я сама знаю, что мое вниманіе ничего не сто́итъ; но чтобы мужчина мнѣ это показалъ, и я все буду лѣзть... Это уже ниже всѣхъ словъ! Я не сердилась, а злилась! просто—злилась. Кавалеръ у меня былъ—*ничего себѣ!*—какъ бы сказалъ мой братъ. Маленькій, бѣленькій; видно,

недавно произведенный: потому что онъ взглядывалъ еще на свои эполеты. Онъ сообщилъ мнѣ, что воспитывался въ пансіонѣ Роберти. Это недалеко было отъ нашего стараго института: сынъ Роберти женатъ на дочери нашей начальницы; одни учителя учили насъ,—стало, мы были почти свои. Поразвернулись въ разсказахъ

О прежнихъ дняхъ, о тѣхъ проказахъ,
Которымъ (увы!) *повторенья нѣтъ.*

— Вотъ это еще занимательнѣе,—сказалъ онъ, прося меня взглянуть на середину залы.

Явленіе точно было любопытное: была фигура съ зеркаломъ. Танцующая дама, въ ожиданіи этого Поляка, кажется, рѣшилась перебрать всѣхъ кавалеровъ до единаго. Человѣкъ съ восемь подводили ей, и она все третъ-третъ,—я думала, что вотъ стекло вылетитъ.

— Что вы думаете?—спросилъ меня съ улыбочкой мой кавалеръ.

— Я ничего не думаю,—отвѣчала я. Но этой дамѣ, должно быть, очень непріятно такъ долго ждать надлежащаго танцора.

— А чтобы избавить васъ отъ этой непріятности, позвольте просить—назначить: кого вамъ угодно?

— Это уже я предоставляю искусству вашей догадливости.

— А если я такъ тупъ, что не догадаюсь?

— Если вы вносите такое условіе, то я должна помочь вамъ. У меня есть маленькое правило: никогда не заниматься тѣмъ, кѣмъ всѣ занимаются.

Не понялъ-ли онъ меня, или хотѣлъ испытать; но только мы протанцовали, я сажусь—онъ мнѣ подводитъ этого общаго царя. Я имѣла величайшее наслажденіе стереть его съ такою медленно-разсѣянною небрежностью. Онъ, кажется, не вѣрилъ глазамъ своимъ; отошелъ и окидывалъ меня Зевесовскимъ, сгущающимъ облака, взоромъ.

Надобно вамъ покаяться, Петръ Александровичъ. Если я считаю своимъ дѣломъ, увидѣвши кого-нибудь бѣдненькаго, смиренькаго, заброшеннаго—какого рода бы онъ ни былъ,—окружить его внимательностію, стараться, по силамъ моимъ, вывести его на лучшую дорогу, то,—этихъ господъ выскочекъ—отбить имъ натопырщенныя перья, вырвать хотя полкосички изъ распущенныхъ торжественно павлиньихъ хвостовъ, это мое душевное удовольствіе, я вся сочувствую его сладости.

Началась новая фигура, гдѣ дамы окружаютъ кавалера и танцуютъ вокругъ него, пока онъ выбираетъ себѣ любую.—Я не понимаю, какъ эта фигура могла быть допущена въ благородные танцы—туда, гдѣ царствуетъ женщина; ея мѣсто на Восточныхъ базарахъ, гдѣ женщина продается, какъ лавкой товаръ, и показываетъ зубы своему покупщику. Какъ оно идетъ, какъ это совмѣстно съ благороднымъ, скромнымъ достоинствомъ женщины: отдать себя на выставку, чтобы тебя мѣрили глазами, и одна какая-нибудь счастливица получила избраніе, а всѣ другія, отвергнутыя, презрѣнныя, отправлялись прочь! Дошла очередь до нашего Поляка. Онъ такъ по-султански расположился въ кругѣ и говоритъ, что вотъ „видите-ли—онъ теперь сыръ въ маслѣ и катается“—и начинаетъ выфантывать, выдѣлывать съ такими ранграсами па́, то на одну сторону, то на другую—и ему смотрятъ въ глаза, улыбаются—ахъ, мой Господи! Я отворотилась вонъ изъ круга: будто что увидѣла въ окнѣ любопытное и разсматриваю—не гляжу туда ни полуглазомъ—ни-ни!

— Позвольте безпокоить васъ, сказалъ онъ, выбирая меня. Ему угодно было благоволить сдѣлать со мною и еще туръ.

— Благодарю; я устала,—сказала я.

Какъ это обыкновенно бываетъ, что намъ хочется того, чего нѣтъ: ему стало хотѣться моего вниманія. Онъ слѣдилъ меня, всячески старался сблизиться, выбиралъ одну меня я его ни разу не выбрала. Была фигура цвѣтовъ. Случилось, что я взяла себѣ *крапиву*, другая дама, не помню, чѣмъ была,—подводятъ насъ.

— „Позвольте, что̀ за крапива?“ спросилъ онъ.

Я подаю руку.

— А! сказалъ онъ мнѣ: вы хотѣли обжечь, уколоть!.

Я говорю:—Ни мало. Я—глухая крапива, которая не жжется и не колется.

И, протанцовавши цѣлую ночь до бѣлаго свѣта, я ѣхала домой - мечтая, засыпая? спросите вы.—Да. Читая *Записки Наполеона на островѣ св. Елены*.—„Такая пустошь!“ говорила я самой себѣ, только не о „Запискахъ“ Я еще была въ собраніи, для того, чтобы потанцовать. „Богъ съ вами и съ вашею наукой!“ писала я къ Лизаветѣ Алексѣевнѣ.—„Вы-ли не умѣете преподавать, я-ли такая безпонятная, но, кажется же, я не отставала ни въ какихъ наукахъ. Вычеркните меня изъ вашихъ списковъ“ Я шутила, но мнѣ было горько. „Что я за безобязательная такая, что на меня ничто не дѣйствуетъ—ни весь соборъ эполетовъ, усовъ? Неужели же Александра права въ самомъ

дѣлѣ,—что я—*нечувствительная*—безчувственная? Неужели я не умѣю любить?“ Это самый тягостный вопросъ, какой только можетъ задать себѣ женщина. „Что-жь изъ того, что я хорошо разсуждаю? Да дѣло-то, дѣло... Кто оправдаетъ меня?“—„Я“,—отозвалось маленькое, бѣленькое воспоминаніе изъ временъ довыпускныхъ.

У насъ было двѣ сестры Самойловыхъ; мѣсяца за три до выпуска пріѣхалъ къ нимъ братецъ; самъ не болѣе года выпущенный изъ корпуса—кираспръ,—чудо Мишка Самойловъ (другаго имени ему и сестры не давали). Мишка произвелъ une sensation. Тѣхъ, кто говорилъ: „mesdames, я обожаю Мишку!“—навряд-ли можно было усадить на половинѣ лавокъ. Я сидѣла на своемъ мѣстѣ, зарытая въ своихъ книгахъ и тетрадяхъ, и только въ ушахъ у меня звенѣлъ Мишка; а видѣть я его не видала и не порывалась видѣть. Надобно сознаться, что меня всегда называли *холодною*, и не безъ причины: я не обожала ни одного учителя,—только въ первомъ классѣ батюшку,—отца Зимина, а послѣ до конца любила, то-есть, уважала очень Михаила Ивановича. У меня не было ни мѣлочковъ, ни снурочковъ,—словомъ, никакой *памяти*; хоть выбрать все изъ ящика, ничего не найдешь.

— Ахъ, Nadine! что за Мишка! поди, душенька, посмотри!—сколько разъ говорила мнѣ моя сосѣдка по мѣсту на лавкѣ, пребогачка на всякаго рода памяти.

— Поди ты съ своимъ Мишкою! есть мнѣ когда?—отвѣчала я обыкновенно.

— Ты—дурочка, ей-ей, дурочка! хоть ты и умница! говорила она, притопывая ножкой.

А мнѣ казалось, что она дурочка. Я вмѣняла себѣ въ какую-то особенную честь, когда весь классъ волновался Мишкою и, по привычкѣ, шелъ ко мнѣ за разнаго рода рѣшеніями, отвѣчать: „mesdames, я не знаю; я не видала Мишки“ И я увидѣла Мишку въ самую блистательную минуту — на балѣ у себя 21 апрѣля. Онъ танцовалъ съ Alexandrine Голубь. Голубь была прелестна, какъ настоящій голубокъ; а Мишка... кто его знаетъ? Хорошъ-ли онъ былъ? я не знаю. Только мнѣ не хотѣлось танцовать, не хотѣлось говорить ни съ кѣмъ; я забилась въ уголъ и смотрѣла, кажется, на Голубь, а видѣла Мишку. Мишка мнѣ снился цѣлую ночь; я встала поутру—впереди меня ходитъ Мишка; я молюсь, и усердно молюсь, и на образъ смотрю,—а Мишку вижу. Я просидѣла цѣлый день надъ

книгою и не перевернула листа; не слышу, когда зовутъ меня, а слышно всюду и все, что ни заговорятъ про Мишку. У меня явилась булавочка, на которую онъ наступилъ, кусочекъ бумажки, которую онъ скрутилъ и бросилъ. Они хранились въ хлопчатой бумагѣ—раздушенные, завернутые еще въ двѣнадцать бумагъ. И это только въ праздникъ—въ воскресенье я позволю себѣ развернуть ихъ, посмотрѣть, и опять-опять до долгаго ожиданья! Забывая все, что я первая дѣвица, что всѣ глаза обращены на меня, я пойду за какимъ-нибудь дѣломъ и проберусь къ дверп пріемной, чтобы заглянуть въ замочную скважинку, какъ Мишка разсыпается передъ другими!.. И неужели это не любовь? Присоедините къ этой святынѣ и безкорыстному самозабвенью еще жаръ тайны—жаръ души не дѣлиться тѣмъ, что самой безцѣнно. Я только Богу говорила: „Господи! вѣдь, это ничего, что я люблю Мишку?“—Нѣтъ, я не дамъ своего сердца въ обиду! Пусть, что хотятъ обижаютъ во мнѣ; но—не его! Не наша вина, когда доли нѣтъ,—не вина, что макъ не цвѣтетъ, когда его не сѣяли!

Я махнула рукой. Что-жь? Насильно колодезь рыть—воды не пить; не дается, такъ не возьмешь силой! „Книгу, пожалуйста, мнѣ книгу!“,—съ тихою грустью молилась душа. И я мечтала о книгѣ, какъ въ мои лѣта только мечтаютъ о любви. Весь постъ я читала Четьи-Минеи. Наступила весна. Апрѣль у насъ бываетъ удивительно хорошъ: такъ мягко-тёпелъ, можно сказать—нѣженъ; но май—неровный, съ порывами и всегда вѣтренный, какъ всякій май. Прошелъ и май. Пріѣзжаемъ мы къ одной своей сосѣдкѣ въ іюнѣ. Проѣхать пятнадцать-шестнадцать верстъ іюньскимъ утромъ,—полями, когда солнце блеститъ, пшеница такъ чудно-темно зеленѣетъ, и на небѣ—ни облачка, это, будь каменный—и то расшевелишься! Да и сосѣдка эта—премилая женщина, умная, умноговорливая, разсказовъ всякихъ тьма, и все это съ легонькимъ перцомъ малороссійскаго юмора. Я вбѣжала къ ней оживленная, веселая, сама говорливая (что, сказать въ скобкахъ, бываетъ со мной не очень часто); она обнимаетъ меня, цѣлуетъ; я гляжу—изъ-за дверей смотрятъ на меня какіе-то жирные эполеты. Проходя, и я, мелькомъ, взглянула на нихъ... Я не знаю, вѣрите-ли вы въ силу женскаго взгляда: едва взглянуть и видѣть все насквозь? Только я болѣе не смотрѣла на этого полковника.—„Вы знаете, кто это?“—спросила меня Настасья Петровна: „Богомоловъ, вдовецъ и женишекъ-съ“.—Я шутила, смѣялась; была свободна по домашнему

и не думала *женироваться*, какъ говорятъ у насъ, ни на единую крошечку. Мы ночевали тутъ и на другой день уѣхали. Случилось какъ-то, что все остальное лѣто мы не видѣлись и осень не видѣлись; дней за пять до Рождества, гляжу я—ѣдетъ Настасья Петровна. Мы ей чрезвычайно обрадовались. Послѣ первыхъ здравствованій—„вѣдь, я къ вамъ"—говоритъ она мнѣ.—„Очень рада. Что вамъ угодно"? Она шутила-шутила и, наконецъ, говоритъ, что она сваха.—„За кого-жь это? любопытно".—„Отгадайте".—„Не знаю",—говорила я.—„За Богомолова" Объяснилось,—что онъ видѣлъ меня въ собраніяхъ и еще гдѣ-то, хотя я побожиться готова, что кромѣ того раза я никогда его не видала; что съ самаго іюня мѣсяца онъ не даетъ покоя ей, Настасьѣ Петровнѣ—чтобы она передала, познакомила его, и вотъ она съ удовольствіемъ сердца, съ радостію исполняетъ это, дочери своей не желаетъ бо́льшаго счастія, какъ мнѣ, милой, безцѣнной, неоцѣненной Надеждѣ Степановнѣ!—„Что-жь я теперь скажу? Что говорятъ въ сказкахъ: утро вечера мудренѣе. Послушаемъ этого дива завтра"

Мнѣ хотѣлось выиграть ночь. Мнѣ было тяжко, грустно. Мало того, что въ подобномъ предложеніи всегда столько тревоги, столько думъ для дѣвушки,—я еще была обижена.

И эта женщина, кото[illegible]ую я люблю и которая, казалось, такъ меня любитъ—дочери не желаетъ бо́льшаго счастія—и вотъ шесть мѣсяцевъ ей не хотѣлось передать этого предложенія! Что за грустная, за безпредметная зависть! Пусть бы дочь ея не была замужемъ—о, я бы ни минуты не винила ее! Какая мать, въ ущербъ и всему міру, не хочетъ счастія милому дитяти? Но теперь... но счастіе-ли это? что—полковникъ? что деньги есть? отъ прежней жены брилліанты остались?.. Да Богъ съ ними и съ брилліантами! Душа человѣка, самъ человѣкъ—вотъ брилліантъ... О, что за грустная судьба женщины! И хочется иной разъ, чтобы она поняла себя, бѣдная женщина, и, ей-Богу, не надо! Какъ одинъ шьетъ себѣ на зиму шапку съ ушами, такъ другой беретъ ее.

Что́ мнѣ было дѣлать съ этимъ предложеніемъ? Между нами—бездны, бездны,—и перешагнуть ихъ не беретъ себѣ на спину сила человѣческая. Ничего общаго тамъ, гдѣ все должно быть одно. Онъ вялъ, онъ старъ, онъ размазня; онъ только что не глупъ. Я буду помыкать имъ, какъ мнѣ вздумается; даже безъ малѣйшаго усилія съ моей стороны, онъ, необходимо, подпадетъ подъ мою власть, какъ дрянной, гнилой тростникъ клонит-

ся подъ напоромъ налетѣвшей чайки. Я не хочу этого! Женщинѣ дано не повелѣвать, а благородно, съ достоинствомъ повиноваться. Но чему тутъ повиноваться? На этомъ тупомъ лбу, отъ роду, не вѣяла мысль, не искрились глаза задушевною силой! Покажите мнѣ одну морщинку, которая бы сказала мнѣ: „я положена благороднымъ чувствомъ; я рождена отъ благородной думы!“ Здѣсь все дрянь, все изношенность, все напоръ крови и ничего болѣе! Я отказала. И прежде еще я слыла гордою невѣстой, которая не умѣетъ залавливать жениховъ; теперь— все поднялось на меня. „Да она-то что жь такое? Да что жь она о себѣ думаетъ? Да кого жь еще она ждетъ?“ И распустили слухъ, что будто-бы я говорю: „что я—или генеральша, или— Соханская, а не иначе!“ Пусть себѣ говорятъ. Было время, когда я плакала отъ этого, потомъ громко смѣялась, а теперь, уже давно, я не плачу и не смѣюсь. Во мнѣ и тогда уже начиналъ дѣйствовать тотъ міръ, который не слишкомъ боится дрязгъ нашего міра. Прощайте.

IV

Чтобы продолжать мой плохой разсказъ о себѣ, надобно воротиться къ вѣтреному маю. — Было 9-е число — перенесеніе мощей Святителя Господня Николая. Въ Малороссіи этотъ день празднуется. Мы собираемся ѣхать къ обѣднѣ, какъ приходитъ кучеръ и просится, чтобъ его освободили — позволили бы ему идти въ Кунье, что онъ хочетъ служить молебенъ.

— Да развѣ въ Савинцахъ нельзя? спрашиваетъ маменька.

— Видите ли, въ Куньемъ престольный праздникъ, большой сходъ бываетъ и даже что-то въ родѣ ярмарочки: пряники и орѣшки продаютъ.

— Ну такъ, чтобъ уладить все, сказала maman: — и тебѣ отслужить молебенъ, и намъ быть въ обѣднѣ — запрягай, поѣдемъ въ Кунье.

Мы еще ни разу не были тамъ. Это отъ насъ не болѣе верстъ пятн, хотя мы считаемъ семь,— и три четверти дороги степью; пробивается ковыль-трава, и на чистомъ полѣ, подъ чистымъ небомъ семейка кургановъ.

Кунье — имѣніе баронессы Моллеръ-Закамельской. Сама она перекатною звѣздой блеститъ за-границей, а мать ея всегда живетъ въ Куньемъ. — Кажется, что можетъ быть обыкновеннѣе имени: Марья Ивановна? И сколько на русскомъ свѣтѣ бываетъ

Марій Ивановенъ? Мудрено-ли перемѣшать пхъ? Однако же, не всѣ Марьи Ивановны удобно смѣсимы. Есть точно Марьи Ивановны, о которыхъ, чтобы дать понятіе, необходимо надобно прибавить: Клебекъ-ли, напримѣръ, или Котляревская, или хоть покойница Петренкова; но не такова Марья Ивановна, о которой рѣчь идетъ. Здѣсь сказать: Марья Ивановна, значитъ—сказать все; другія соименницы точно исчезаютъ передъ нею, становятся какъ-бы Марійками; одна она является Ивановна Марья! — А почему является? Это очень просто. Потому что съ этимъ вмѣстѣ является понятіе о двухъ тысячахъ душахъ, идея селитренныхъ, винокуренныхъ, пивоваренныхъ заводовъ, кирпичныхъ, завода лошадинаго, недавно еще богатаго завода рогатаго скота, 13.000 испанской овцы,—идея Куньяго, богатаго села, съ двумя церквами, со всѣми угодьями: съ степями на двѣнадцать верстъ, съ лѣсами, съ пасѣками, съ водяными мельницами, съ выдрами въ заросшихъ прудахъ; о рыбѣ я и говорить не хочу. Такова Марья Ивановна Шидловская.

Разумѣется, мы не были знакомы съ нею и никогда ея не видали. Слыла она по всему мѣсту женщиной гордою, очень гордою,—безпривѣтною. Въ молодости знать никого не хотѣла. Къ ней пріѣдутъ гости—мужъ принимаетъ, а она и не выйдетъ, или же завернется въ шаль и лежитъ молча на диванѣ. Дочери своей не позволяла видаться ни съ кѣмъ, ни даже съ своими родными: всѣ были недостойны коснуться ея хорошенькаго личика. Какъ распространяется паническій страхъ — недовѣдомо какъ; такъ распространилось къ Марьѣ Ивановнѣ общее высокопочитаніе. Никто не скажетъ: за что онъ ее уважаетъ? А всякій уважаетъ и ставитъ себѣ въ честь это уваженіе. Но оно полно какого-то суевѣрнаго страха. Предложите самому жаркому ея почитателю отправиться къ ней и высказать чувства своей глубокой преданности, онъ ни за что не согласится, закрестится обѣими руками: „И Богъ съ ней, и Господь съ ней! Не хочу, не хочу. Живи она себѣ здорова!“

Объясненіе этому я нахожу въ томъ, что Марья Ивановна живетъ болѣе преданіемъ, какъ-бы туманнымъ повѣрьемъ, а не настоящею жизнью. — Молодая, прекрасная вдова съ двумя дѣтьми (сынъ впослѣдствіи умеръ), она одѣлась во все черное, и никто даже не осмѣливался искать ея. Почти тридцать лѣтъ завѣдывала сама имѣніемъ, иные годы даже безъ тѣни управляющаго, выплатила долги, прикупила имѣній, купила едва не тысячу десятинъ лѣса, и какого лѣса! завела всѣ заводы, вы-

строила большую каменную церковь. Сама говоритъ: 140.000 проѣздила въ три года за-границей, лѣча сына; 250 т. подарила дочери въ день свадьбы; 200.000 дала на домъ въ Петербургѣ и отдала всѣ имѣнія чистыми, ни одно не заложеннымъ—безъ копѣйки долга, крестьянъ богатыхъ, довольныхъ,—у иныхъ по двѣнадцати паръ воловъ было. Не взяла себѣ даже седьмой части, а только 10.000 въ годъ и оставила небольшое имѣніе душъ въ триста, свое приданое. Сошедши такъ величаво, съ полнымъ достоинствомъ, со сцены, Марья Ивановна сокрылась въ Куньемъ, въ недосягаемыхъ садахъ, водахъ и цвѣтахъ. Грустная, убитая семейнымъ несчастіемъ, безучастная къ живымъ, насущнымъ интересамъ — никуда не выѣзжающая, никѣмъ не посѣщаемая—недовѣдомая краса какъ-бы заповѣдныхъ мѣстъ, все это придало величественно-туманный образъ ея личности; а разсказы былаго, живущая слава ея имени и пр. и пр., какъ бы наслѣдственно, вселили уваженіе и разлили вокругъ струю почтительнаго страха.

Мнѣ давно хотѣлось побывать въ Куньемъ. „Это рай земной (говорили)—Кунье. Цвѣтовъ тамъ, цвѣтовъ!“—Марья Ивановна страстная охотница до цвѣтовъ и сама ходитъ съ лопаточкой въ саду.—Я переодѣлась, и маменька надѣла кисейный капотъ. Ѣдемъ мы — у меня души нѣтъ; ежели бы не стыдно было, я бы просила воротиться. Пріѣзжаемъ—и воздухъ, кажется, такой барскій! Садъ составляетъ одну сторону улицы; черезъ каменную полуограду перекинулся кустъ бузины; стоитъ пень въ такой поэтической ветхости! Широкая, бученая дорога идетъ внизъ къ самому дому. Съ одной стороны её густо обсѣла сирень; сирень переплелась люціей. Гибкіе, тоненькіе стебли люціи пронизались тамъ и тамъ; виднѣются всюду, какъ жилки на нѣжномъ молоденькомъ лицѣ; сирень цвѣтетъ... Кто скажетъ мнѣ, права-ли я? Я ничего не знаю граціозно-простѣе, милѣе вѣтки сирени. Эта стоячая кисть мелкихъ, нѣженькихъ цвѣточковъ съ такимъ легонькимъ запахомъ, этой легонькой краски, и она какъ бы всплыла надъ своею темною, густою зеленью и колышется: не такъ ли воспоминанія дѣтства вѣются надъ жизнью силы и зрѣлости?

Обѣ церкви въ саду: Николаевская—маленькая, деревянная, такая ветхозавѣтная, недалеко отъ подъѣзда — чудный монастырекъ: тихій, уютный, весь заросъ въ деревьяхъ, обнесенъ особой оградою и ограды той не видно за кустами и зеленью. — Мы смиренно остановились у воротъ сада; идемъ, народъ идетъ

толпами; мы какъ въ лѣсу: ни души нѣтъ знакомой; но и самый лѣсъ чудно привѣтенъ у дверей церкви. Долго гуляли мы вокругъ; обѣдня еще не начиналась; служили молебны. Маменька сказала: „когда я умру, попросите у Маріи Ивановны, чтобы меня похоронили тутъ“ — Я думала о другомъ; я совсѣмъ забыла о Маріи Ивановнѣ. Свѣтлыя группы, такія свѣтлыя лица! Народъ полусидитъ, полулежитъ около церкви; кто помѣстился въ тѣни; дѣти ползаютъ, какъ раки. Здѣсь служба бываетъ только два раза въ годъ: зимою на Николу и весною. Трава такъ свѣжо смята; пахнетъ она, пахнетъ ладаномъ. Человѣкъ въ коричневомъ сюртукѣ остановился передъ зеленой могилкой, снялъ картузъ, перекрестился и сказалъ, улыбаясь: „здравствуйте, батюшка!“ — Мы сѣли на крылечкѣ.—Вдругъ передъ нами, какъ изъ травы, выросла старушеночка въ желтоватомъ платьѣ (дальнѣйшаго наряда я не помню), и платокъ сизый на головѣ; сейчасъ подъ ручку къ маменькѣ, потомъ ко мнѣ. Я говорю: „нѣтъ, милая, я никому не даю рукъ цѣловать“... Она низко раскланялась, отступила, сложила свои ручки у сердца и объявила намъ, что она главная прачка Маріи Ивановны.

— Не баронессы-съ, сударыни-матушки: у ея милости баронессы-съ свои прачки есть-съ: въ Петембургѣ-съ ученыя; а старой барыни, Марьи Ивановны-съ, главная прачка. Милость ваша навѣрное, изволили слыхать про Марью Ивановну?

Маменька отвѣчала утвердительно.

— Что жь бы вамъ, матушка-сударыня, пожаловать-то къ нашей барынѣ? Скучно-съ ей одной; она бы вамъ рада-съ была. Теперь матушки нашей, Марьи Ивановны, нѣту-съ: внучечку повезла въ Харьковъ: въ горлушкѣ болитъ-съ; а баронъ, батюшка Егоръ Петровичъ, изволитъ выѣхать завтра-съ: не то въ Москву-съ, не то въ Одессу-съ, куда его милости угодно.

Ежели бы милость наша любила поразузнать кое-что, да поразспросить, случай былъ не надо лучше—богатый, какъ выражаются нѣкоторые; но въ домѣ нашемъ отеческое наслѣдіе: не вѣрить никакимъ примѣтамъ, снамъ и ничего не выспрашивать у людей.

Желаніе мое взглянуть на цвѣты осталось грустно неисполненнымъ. Гдѣ мы были, это было еще только предверіе сада: рощицы да вишни, за церковью простиралась широкая поляна. Чтобы попасть въ настоящій садъ—къ цвѣтникамъ, надобно бы было пройти той большою дорогою къ самому дому: это съ четверть версты; потомъ своротить и поворотить, и явиться подъ

самыми окнами; а тамъ баронъ, батюшка Егоръ Петровичъ; и деревня любитъ свободу, и баронъ любитъ компанію:—прощайте, дорогіе цвѣты!

Но, вѣдь, кто разстается съ своею лелѣянною идеей при первомъ толчкѣ? Одинъ вялый, совсѣмъ лѣнивый умишка. Я не хотѣла. Слышно было, что Марья Ивановна повезла внучку въ Одессу, къ вернувшейся въ Россію матери; баронъ уѣхалъ въ Москву. — Поѣдемъ, maman, сказала я. Поѣдемъ—и поѣхали. Это было на самый Духовъ день. Мы прибодрились немножко и уже въѣхали въ ворота и стали на площадкѣ передъ каменной церковью. Она съ виду совершенно круглая и вся въ колоннахъ; но внутри образуетъ округленный крестъ. Кажется, Марья Ивановна, бывшая въ Италіи и въ Римѣ, только-что не всходившая на Везувій, взяла образецъ своему храму съ Templo di Vesta, какъ я замѣтила у ней же на картинкахъ. Только та разница, что дѣвственная граціозность легкихъ греческихъ колоннъ замѣнилась тяжелыми, увѣсистыми ступами; церковь толста, будто разсѣлась, какъ русская барыня; она низка по своему объему и потому является скорѣе представленіемъ египетской массивности, нежели стройной легкостной красоты греческой.

Обѣдня еще не начиналась; но церковь была отворена, и мы вошли. Иконостасъ въ нынѣшнемъ вкусѣ: однѣ мѣстныя иконы, бѣлый съ золотомъ—очень хорошо. Сдѣланъ сводъ надъ престоломъ, золотой и на золоченныхъ колоннахъ; все хорошо,—и свѣтильникъ семисвѣчный за престоломъ; да только церковь пустая.—Возлѣ праваго поперечника, образующаго крестъ церкви, разостланъ былъ коверъ и стояло два легонькихъ стула. Священникъ-старикъ, съ подозрительно-краснымъ лицомъ и съ желтовато-бѣлыми, какъ высохшая ковыла, волосами, во всемъ облаченіи бѣгалъ по церкви и ворчалъ что то: „коли-бъ я, коли-бъ я самъ... Я ужь бы десять обѣденъ отслужилъ“, — сказалъ онъ, обращаясь къ намъ. И этому можно было повѣрить. — Сейчасъ же, однимъ махомъ, онъ обвѣнчалъ двѣ пары; тѣ, бѣдные, еще не успѣли опомниться, какъ онъ обѣжалъ съ ними вокругъ аналоя, сунулъ имъ вѣнцы ко рту—и всему конецъ. Я напрасно силилась прислушаться хотя къ одной молитвѣ; не поняла даже, что за Евангеліе читалъ онъ, когда я знаю всѣ Евангелія почти на память. — Вдругъ южныя двери съ шумомъ растворились; тяжелыя половинки ужасно хлопнули отъ вѣтра и вбѣжалъ мальчикъ, говоря запыхавшись: начинайте! Батюшка, гдѣ сто-

ялъ, тамъ и возгласилъ; пѣли пѣвчіе на хорахъ, и прекрасно; пѣли тѣмъ самымъ напѣвомъ, которымъ пѣвали у насъ въ институтѣ. Мы стояли напротивъ Божіей Матери, писанной на полотнѣ въ Италіи, если не ошибаюсь, съ знаменитой Мадонны Рафаэля, что возсоздалъ намъ Жуковскій. Спаситель, не знаю, съ какой картины, но такъ задумчиво-кротокъ: лѣвая рука прикоснулась къ груди; а благословляющая десница такъ мягка, что будто сама изольется въ благословеніяхъ. Я не знаю, въ какой степени эти картины хороши; но мнѣ лучшаго ничего не доводилось видѣть. Вдругъ я почувствовала такъ, какъ-будто кто взялъ меня сзади за плеча и стряхнулъ всю, посыпалъ по мнѣ мурашками. Я невольно поворотила голову, какъ - бы желая удостовѣриться: ужь не правда-ли это, въ самомъ дѣлѣ?— Гляжу: на коврѣ у стульевъ явилась женщина—черный шелковый капотъ, черная шаль, черная шляпка, черный вуаль откинуть: Марья Ивановна! У меня сердце похолодѣло, а въ голову вступилъ жаръ; но любопытство придавало силы; я еще взглянула. Худенькая, почти моего роста старушечка; смотрѣть—такая смиренькая; но носъ орлиный, глаза свѣтлые, большіе, такъ и пронизываютъ. Бѣла,—видно, замѣчательно хороша была; и французскія перчатки, кончикъ батистоваго платка и, въ шестьдесятъ лѣтъ, ножка кокетливо обутая въ шелковый чулокъ и бархатный полуботинокъ; съ боку на носу бородавочка. Эти подробности я разсмотрѣла, когда стали читать Евангеліе. Мар. Ив. живо очутилась передъ царскими вратами, поставила свою ножку на ступеньку, что бываютъ на возвышенности къ алтарямъ; потягивала голову впередъ, какъ бы лучше разслушать, и качала ею, ничего не слыша; погрозила пальцемъ на дьячка: зачѣмъ онъ кашлянулъ? и опять стала на свое мѣсто легко, проворно, словно перелетѣла, какъ ласточка. Прежде, говорятъ, въ церкви не кадили, потому что Мар. Ив. не могла выносить запаха ладана; теперь она маніемъ перчатки подозвала къ себѣ изъ противоположнаго угла толстаго человѣка въ сюртукѣ, повидимому, конторщика; тотъ принялъ приказаніе, отправился черезъ всю церковь къ нашему человѣку и потомъ воротился къ М. И. съ донесеніемъ. Мар. Ив. вставала, садилась, молилась, ходила по церкви, какъ-будто по своей комнатѣ; кивала титарю [1]; подпѣвала пѣвчимъ, кланялась мужикамъ, которые, проходя мимо ея, отвѣшивали ей пренизкіе поклоны. Вся эта

[1] „Титарь“ южнорусское слово, ктиторъ, церковный староста (С. П.).

общность престранно дѣйствовала на свѣжаго человѣка; я съ нетерпѣніемъ ждала конца обѣдни. Она кончилась. Маменька была уже у дверей къ выходу, а я почему-то отстала.—Иду и вдругъ слышу, что меня догоняетъ шорохъ шелковаго платья. Я оглянулась, вижу: Марья Ивановна спѣшитъ за мной, чтобы меня опередить, и направленіе ея прямо къ окну.—Я сейчасъ догадалась: въ чемъ дѣло? Дала ей нѣсколько дорогу и прошла.—Она уже знала, кто мы, и хотѣла пригласить къ себѣ; но, прежде чѣмъ рѣшиться на это, ей надобно было видѣть: какъ? и въ чемъ мы пріѣхали?—А мы пріѣхали въ коляскѣ, которую купилъ папенька, какъ былъ въ Москвѣ, сейчасъ послѣ женитьбы. Лѣтъ слишкомъ двадцать ѣздила она по бѣлу свѣту, изъѣздилась, какъ можно себѣ вообразить; но все же, въ года счастливой юности, она была вѣнскою, на англійскихъ рессорахъ, блистательнаго цвѣта солнца и чуть-чуть не съ короной—съ какимъ-то плюмажнымъ гербомъ на дверкахъ. Я поспѣшила къ маменькѣ и говорю: „Маменька, вѣрно, Марья Ивановна будетъ звать насъ—не поѣдемъ. Вотъ—на, будто набиваться на обѣдъ! Поѣдемъ въ шесть часовъ; скажемъ, что у самихъ обѣдаютъ“ Едва я успѣла кончить, какъ догоняетъ насъ человѣкъ—и все вышло по моему. Марья Ивановна проситъ насъ покорнѣйше пожаловать къ ней. Маменька велѣла благодарить, сказать, что она очень жалѣетъ, что этимъ должна отвѣчать на приглашеніе Марьи Ивановны, но что намъ никакъ нельзя: у насъ обѣдаютъ; а въ шесть часовъ она непремѣнно будетъ засвидѣтельствовать свое почтеніе Марьѣ Ивановнѣ.

Вы не имѣете права не находить смысла въ этихъ рѣзкихъ противоположностяхъ: то дѣтскаго страха, робости, доходящей чуть не до глупости, и потомъ вдругъ такой вольной смѣлости отказа. Это, какъ вы слышали, странность моего внутренняго построенія; да къ тому же я читала книгу Премудрости Іисуса Сираха: „Егда тя сильный призоветъ—отступай, и толико паче призоветъ тя—не приближайся, да не отриновенъ будеши... *Не належи бесѣдовати съ нимъ и не вѣруй множайшимъ словесемъ его: многою бо бесѣдою искуситъ тя, и, яко смѣяся, испытаетъ тайная твоя*“ [1] Петръ Александровичъ... но я говорю о Марьѣ Ивановнѣ.

Пріѣхали мы въ шесть часовъ. Я, нарочно, одѣлась, какъ можно проще: бѣленькое съ короткими рукавами платье, такая

[1] Глава XIII, стих. 12—14 (С. II.).

же тюлевая маленькая пелериночка съ концами изъ розовыхъ лентъ и на шеѣ нитка мелепькихъ гранатъ—и ничего больше, ни даже большихъ серёгъ. Я опять ступила на паркетъ. Марья Ивановна приняла насъ не надо внимательнѣе. Сказала привѣтствіе такимъ тоненькимъ голоскомъ, усадила насъ кругомъ себя; начались пени.—„Какъ? мы такіе близкіе сосѣди, ближе насъ никого нѣтъ, и о сю пору не пріѣхали познакомиться? Это грѣхъ, просто грѣхъ!!“ Марья Ивановна качала головой и, оборотясь ко мнѣ, благосклонно складывала всю вину на меня.—„Вашей maman еще простительно: она въ хлопотахъ, въ заботахъ; но вы, молоденькая сосѣдка... вы должны были настоять на этомъ, твердить maman: что вотъ Марья Ивановна такъ близко,—надобно поѣхать къ ней—познакомиться“ Я говорю: „Марья Ивановна, позвольте мнѣ оправдаться: мы не были въ такихъ обстоятельствахъ, чтобы намъ заводить знакомства“,—„Ахъ, милая моя! что это вы говорите? Ай, ай, ай!“—Марья Ивановна сдѣлала глубоко-изумленныя губки и замахала рукой.—„Какія тутъ обстоятельства?—Не стыдно ли? Мы такіе близкіе сосѣди“... Что бы вы приказали отвѣчать на такую высоко-благосклонную филиппику? — Но Марья Ивановна, кажется, и сама сознавала невозможность какого-бы то ни было отвѣта и сейчасъ же оборотилась къ маменькѣ съ предложеніемъ разсказать: какъ она купила свое имѣньице и что-то, помнится—Марья Ивановна какъ-то слышала—очень за дешево?—„Да, продолжала она,—вообразите, я, вѣдь, не знала, что оно продается, а то бы я не упустила, никогда не упустила. Дуракъ управляющій Катерины Николаевны не сказалъ мнѣ. Земля превосходная; я, вѣдь, знаю; я двѣсти десятинъ отъ этого имѣнія купила, и ужь какъ намъ съ руки былъ бы этотъ маленькій кусочекъ: межа неразрывная — скажите, пожалуйста.“ — Марья Ивановна говоритъ не нараспѣвъ, а какъ-то выразительно на растяжку, съ повтореніемъ въ приличныхъ мѣстахъ.

Потомъ Марія Ивановна повела насъ изъ своей голубой гостинной въ танцовальный залъ, росписанный въ видѣ рощи, съ хорами маленькими и съ выходомъ на балконъ; повела показать, съ очень понятнымъ чувствомъ бабушки, своихъ хорошенькихъ внучковъ, рисованныхъ въ Парижѣ,—двухъ мальчиковъ, остриженныхъ въ кружокъ: одинъ въ бархатномъ кучерскомъ кафтанѣ, зеленомъ, а другой—въ красной рубашкѣ. Но это было одно предисловіе. Хотя Марія Ивановна ничего не говорила и не указывала, но здѣсь надобно было видѣть портретъ Екатерины

Николаевны, баронессы. Писанный Брунн (или Брюни, какъ говоритъ Марія Ивановна), писанный подъ небомъ Италіи, въ стѣнахъ вѣчнаго Рима, онъ поставленъ въ полукруглomъ углубленіи стѣны между двумя зеркалами. Отражаясь наискось въ нихъ, картина повторяется въ двухъ противоположныхъ зеркалахъ и какъ-бы наполняетъ собою весь лѣсъ залы и клонитъ верхи этихъ непреклонныхъ для вѣтра деревьевъ. Портретъ едва-ли не въ сажень, что въ длину, что въ ширину; роскошная золоченая рама такъ ярка, что кажется самороднымъ золотомъ. Екатерина Николаевна стоитъ на балконѣ, будто слегка наклонясь къ его чугуннымъ завиткамъ; съ боку улица; римскій карнавалъ мятется и кишитъ въ неразбираемой гущѣ и толкотнѣ; только мелькаетъ что-то красное, что-то черное. Красавица-баронесса держитъ въ одной рукѣ корзинку, всю полну цвѣтовъ; съ другой она сбросила длинную бѣлую перчатку, и рука явилась во всей открытой прелести—чудная, живая ручка! и она сыплетъ розы, тюльпаны, нарцисы на народъ... Вѣтерокъ заклубилъ баронессѣ бѣлый газовый шарфъ на шеѣ, граціозно раскинулъ его дугой надъ головкой, и концы отлетѣли и вѣются неуловимыми парусками, и это подъ пышной малиновой драпировкой; шаль съ небрежностью брошена черезъ кресло; стоитъ плетеная корзина: въ ней черная съ вуалемъ полумаска, еще что-то такое, не знаю, и скинутая перчатка. Она страшна, какъ будто сейчасъ стянута съ руки плечистаго гренадера. Такъ и мечется въ глаза эта странная несообразность. Четыре подобныхъ руки могутъ войти въ такую перчатку! Но сколько я ни старалась добраться до выраженія лица на картинѣ—я не нашла. Оно, правда, большаго его и быть не можетъ; но сходства почти нѣтъ; развѣ въ однихъ только чудесно продолговатыхъ, какъ миндалинки, глазахъ? Сколько мнѣ случалось замѣтить: портреты—ложь; красятъ нашу братію нехорошенькихъ и марaютъ кисти передъ лицомъ красавицъ. Такъ и должно быть: человѣкъ не создаетъ ничего лучше Бога. Но все неживое на картинѣ—это жизнь, приманка жизни: этотъ атласъ, газъ, каемочка на шали, блондовый вуаль на полумаскѣ,—какая тутъ картина? когда ихъ бы купилъ, если бы только деньги были.

Кажется, я пріобрѣла особенное благоволеніе Маріи Ивановны тѣмъ, что долго оставалась передъ картиной. Она ушла съ маменькой, а я все стояла и смотрѣла; а въ стеклянныя двери все видно. Когда я воротилась въ гостиную, Марія Ивановна занялась мною съ невыразимою благосклонностью. Раз-

спрашивала меня о моемъ ученіи, занятіяхъ, теперешнемъ житьѣ-бытьѣ, вывѣдывала мой характеръ.—„Я думаю, вамъ страшно скучно въ вашемъ хуторкѣ?“—„Что-жь дѣлать?“ отвѣчала я, и дальше, и все это закончилось самымъ выгоднымъ для меня заключеніемъ.—„А! какая жалость,—твердила Марія Ивановна, качая головой,—какая жалость, что я прежде не знала, что у меня такая милая, такая милая сосѣдка“.—Марія Ивановна до того расположилась къ намъ, или, говоря безъ лести самимъ собѣ, до того истомилась скукой, что даже приглашала насъ остаться ночевать у ней. Но, по законамъ деревенской политики, ночевать за семь верстъ, бывши въ первый разъ въ домѣ, это ни съ чѣмъ несходное дѣло,—и маменька принуждена была отговориться; разумѣется, подъ большими предлогами и съ изъявленіемъ многой благодарности. Но, когда я взялась за шляпку, Марія Ивановна рѣшительно не хотѣла пустить меня.—„Зачѣмъ вамъ въ вашъ хуторочекъ? Останьтесь погостить у меня, любезная моя. Читать вмѣстѣ будемъ; у меня книгъ много“ Предложеніе какъ ни было лестно, но теперь еще менѣе можно было согласиться на него, нежели на ночлегъ. Маменька убѣдила отпустить меня; но что вотъ на этой недѣлѣ она ѣдетъ въ Харьковъ и тогда привезетъ меня на все время своей поѣздки. И Марія Ивановна была такъ обязательно добра, что еще повторила: „какая жалость!“ и продержала насъ часовъ до десяти; мы долго гуляли вмѣстѣ; она сама разливала чай и проводила насъ черезъ всю залу, почти къ дверямъ самой лакейской.

Благодарю моего Бога, я никогда не была до того проста, чтобы мнѣ принимать за наличную монету все, что ни послышится. Лестные отзывы Маріи Ивановны, хотя она и Марія Ивановна, вовсе не льстили мнѣ. Я ясно поняла ея положеніе. Ей скучно, страшно скучно; душа должна ныть. Огромный, и притомъ еще какой-то мрачный, угрюмый домище, въ которомъ она одна; пустыя комнаты, по которымъ ея шаги, малѣйшій трескъ паркета—раскатываются какъ громы по лѣсу; нельзя сказать слова, чтобы отголосокъ не заглушилъ половины его; и огромный садъ, рощи, пруды и все это пустое, точно, опустя голову, спитъ, но—не здоровымъ сномъ, а какимъ-то тоскующимъ усыпленьемъ. Дорожки пустыя, лавочки пустыя; на пескѣ слѣдовъ нѣтъ; цвѣты прекрасные, какъ Божій даръ, и некому сказать простого, безпричуднаго слова: „смотри, какъ это хорошо“!—Одиночество, страшное одиночество — и въ ея лѣта, безъ силы

даже надѣяться, безъ малѣйшаго привѣта! Дочь забыла, въ ссорѣ съ нею и даже никогда не пишетъ; Марья Ивановна едва знаетъ, гдѣ она. Кажется, въ Италіи. Зять рыщетъ по картежнымъ притонамъ, то въ Баденѣ, то въ Франкфуртѣ; внучка въ Парижѣ, внуки учатся въ Вѣнѣ, а Марья Ивановна здѣсь, въ Россіи — на Украйнѣ, одна въ своемъ Куньемъ, сидитъ, какъ птица надъ опустѣлымъ гнѣздомъ, изъ котораго дѣти вылетѣли и разлетѣлись далеко-далеко, и никогда не собраться имъ! Азбучное наше реченье: „что посѣешь въ молодости, то въ старости пожнешь“— сдѣлалось какъ-бы смѣшнымъ; а между тѣмъ оно глубоко утѣшительно, или глубоко грустно и, что главнѣе всего—глубоко справедливо. Бѣдная Марья Ивановна! даже съ родными она не умѣла не быть гордо-безпривѣтною, считая себя выше всѣхъ, и теперь ее всѣ оставили. Изрѣдка кто-нибудь заѣдетъ проѣздомъ переночевать и сейчасъ же бѣжитъ отъ нея, какъ отъ заразы. Въ самомъ дѣлѣ: что̀ для человѣка свободнаго, довольнаго собой, грустная, нелюбимая старуха? — Она заражаетъ страшнѣйшею болѣзнью—скукой. А кто изъ чести, изъ нѣжной благодарности къ снисходительной ласкѣ, могъ бы теперь населить ей страшное уединеніе,—на тѣхъ Марья Ивановна и смотрѣть не хотѣла, когда засѣвала свою молодую ниву. И въ старости тяжело пришлось сжинать ее, и какъ тяжело! Марья Ивановна рада первой попавшейся дѣвочкѣ и говоритъ ей незаслуженныя любезности.—Но чего же она отъ меня хочетъ?—спрашивала я самое себя.—Что я могу для нея. Забавою ни чьей я не буду, да и не могу быть: я вовсе не забавна. Что мнѣ дѣлать тамъ? И мнѣ страхъ не хотѣлось ѣхать гостить къ ней; но сами судите, какъ не поѣхать?—Немножко мнѣ легчало, когда я вспоминала „*книги*“, „*читать*“; но цвѣты меня болѣе не занимали. Я люблю, хотя простой, но живой и, безъ запаха, свѣжо пахнущій жизнью цвѣтокъ, а не цвѣтъ сонный, какъ-бы вылившій свою роскошную чашечку благоуханій передъ какимъ-то тяжелымъ, безотраднымъ видѣніемъ.

Поѣхала я; было уже совсѣмъ къ вечеру. — Марья Ивановна обошлась со мной, какъ съ милой гостьей; будто не смотря, осмотрѣла съ головы до ногъ. Мы сидѣли на балконѣ; она говорила объ Италіи, о цвѣтахъ, о морѣ, о лунѣ. Сказала, что любитъ вотъ такую луну—показывая на небо—круглую, полную и большую. Я осмѣлилась замѣтить, что не люблю ея, и для меня гораздо лучше луна полуполная, въ лёгонькихъ лучахъ и на темномъ небѣ. Вы подумаете, что эти разговоры были очень

интересны, оживленны? Они были, двѣ капли воды, какъ въ азбучномъ спискѣ заглавія книгъ: шевелится будто мысль, но понятія нѣтъ никакого, и все остается темнымъ по прежнему. Снѣдаемая одною заботой—своимъ постояннымъ горемъ и никогда не говоря о немъ, Марья Ивановна говоритъ о всемъ прочемъ неизобразимыми переходами, скачками изъ поля въ лѣсъ, и надобно имѣть большую живость соображенія и русскую смѣтливость, чтобы не потеряться въ ея словахъ. Въ подобныхъ разговорахъ мы провели часу до перваго. Съ балкона отправились сидѣть въ гостиную; посидѣвши въ гостиной, потомъ перешли сидѣть въ ея спальню и наконецъ Марья Ивановна сама проводила меня въ назначенную мнѣ комнату и тамъ еще посидѣла. Когда я осталась одна, мнѣ надобно было вздохнуть изъ самой глубины, отвести духъ; точно будто-бы я взбиралась на превысокую гору и въ претяжелую пору. Голова моя была какъ-то странно тяжела, въ груди тяжело; даже въ глазахъ какая-то особенная, отличная отъ сна тягость. — На другой день проснулись мы часовъ въ десять. Я не привыкла вставать такъ поздно, когда на дворѣ полный жаръ, и голова моя не тяжелѣла, а уже рѣшительно болѣла; я вся была какъ обваренная. Пока мы собрались, пока напились чаю, пробило и одинадцать; но по Марьѣ Ивановнѣ это было еще утро. — „А что жъ вы, милая моя, не пойдете погулять? Утромъ гулять здорово, это здорово“ Марья Ивановна позвонила.—„Климъ, подай сюда хлѣба. Вотъ вы пойдете покормить лебедей. Гдѣ маленькая Саша? — все бѣгаетъ“.—Саша явилась.—„Проводишь вотъ Н. С. къ лебедямъ, да смотри, все бѣгай, бѣгушка“.—Пока Климъ сходилъ въ людскую за хлѣбомъ, пріискалъ корзинку, пока принесъ ко мнѣ, было уже болѣе половины двѣнадцатаго; жаръ нестерпимый; а я еще, кажется, забыла дома зонтикъ взять.—Иду; смотрѣть — будто и не далеко, а по дорожкамъ почти съ версту до пруда, на которомъ пара лебедей. И какой-то этотъ садъ, не расти онъ себѣ! Деревья большія, а тѣни нѣтъ. Аллеи пребезтолково насажены. Съ Сѣвера, откуда люди добрые не ждутъ жаровъ, деревья тѣнистыя: клены да бѣлая акація повытянулись—стоятъ; а на самый полдень — розочка да кустики, цвѣты да сирень... Добрела я кое-какъ; побросала хлѣбъ въ воду и, уже не знаю, кто тамъ глоталъ его: лягушки, или лебеди.—Теперь представьте себѣ возвратъ въ самый жаръ, на крутую горку; вѣтеръ валитъ; на кирпичъ ступаешь какъ на раскаленную плиту; башмаки мои ссохлись и жмутъ ногу немилосердно; я чувствую, что я горю, вся

горю, а въ подошвахъ иголки. Я думала, что я не дойду до дома и, точно, едва было не упала на крыльцѣ. — Утренняя прогулка совершилась такимъ пріятнымъ образомъ; теперь предстояли дальнѣйшаго рода подвиги, и одинъ не изъ самыхъ маловажныхъ: ждать до четырехъ часовъ обѣда, ничего не завтракавши и съѣвши за чашкой чая два-три тоненькихъ бубличка, въ которыхъ и пяти золотниковъ вѣса не будетъ. О книгахъ и чтеніи не вспоминалось. Марья Ивановна въ утреннемъ капотѣ и чепцѣ, какъ бѣлая мушка, являлась тамъ и тамъ, присаживалась на диванъ, на низенькое кресло, брала цвѣтокъ, нюхала французскую книжку, жевала лимонную корку, безпрестанно переходила изъ гостиной въ спальню, изъ спальни въ гостиную, была въ саду, заглядывала въ залъ. Въ комнату передъ спальней съ непосредственнымъ выходомъ на маленькій балконецъ, въ эту комнату и на самый балконъ являлись разныя лица. Марья Ивановна распоряжалась, ворчала и ласкала своимъ тоненькимъ голоскомъ. Маленькая Саша ползала на колѣняхъ во всѣхъ направленіяхъ, собирая мельчайшую частичку пыли; слышно было, на балконѣ кричали цыплята; а я, будто на нихъ, неслышно вязала свою черную шелковую сѣточку. — Около трехъ часовъ дверь въ спальню, нѣкоторое время остававшаяся плотно затворенною, отворилась, и Марья Ивановна вышла въ своемъ черномъ нарядѣ, въ чепцѣ безъ лентъ, безъ одного бантика—какъ-то на снурочкахъ; волосы сзади подстрижены и видны; а спереди всѣ подобраны и рюшъ виситъ. Вышла она съ красною сафьянною книжечкой въ рукахъ; прошла гостиную и портретную залу и вступила въ половину баронессы; тутъ дверь хлопнула; занавѣска взвилась, колыхнулась отъ вѣтра—и пала, и все сокрылось. По дому начали ходить какіе-то странные звуки; я не постигала; что это? Разговоръ, не разговоръ, и не чтеніе, а будто речитативъ съ постепенными возгласами. Я догадывалась, соображала и насилу могла понять, что это Марья Ивановна громко молится въ Катерины Николаевны комнатахъ. Времени черезъ полчаса, Марья Ивановна показалась опять съ красною книжечкой въ рукахъ, прошла мимо меня, разнося благоуханія французскихъ духовъ, вошла въ спальню, воротилась—и сѣла на низенькомъ креслѣ у окна, передъ маленькимъ столикомъ, на которомъ лежали „Часы Благоговѣнія“, разумѣется по-французски, и двѣ книжечки Пужула, Voyage en Orient. Марья Ивановна протянула ко мнѣ „Часы Благоговѣнія“, приглашая читать громко. — Что жъ прикажете, Марья Ивановна? — спросила я. — „А, милая

моя, любезная! Что-нибудь. Тутъ все хорошо, такъ хорошо“.— Я начала читать. Въ этомъ благочестивомъ занятіи засталъ насъ обѣдъ. Мы пообѣдали по-англійски, какъ замѣтила сама Марья Ивановна, то есть, молча; воротились въ гостиную. Марья Ивановна объявила, что она никогда не спитъ послѣ обѣда. — Какъ можно спать? Гуфландъ говорилъ ей въ Вѣнѣ, что это очень вредно,—и съ этимъ вмѣстѣ прилегла на диванъ, подложила себѣ подъ голову гарусную подушку, на которой, по красному полю, бѣжала желтая съ бѣлымъ кошка.

— „Я только такъ, немножко полежу. А что же вы? сказала она, указывая мнѣ на книгу. — Кончайте, душенька моя, кончайте. Не правда-ли: ахъ какъ хорошо! Душа, душа говоритъ. Я все буду слышать“.—И для большей удобности слышанья, я перемѣстилась къ столику возлѣ дивана. — Читаю; Марья Ивановна спитъ, совсѣмъ спитъ: и глаза закрылись, и руки откинулись, и языкъ медленно переворачиваетъ: „Да, да; слышу, прекрасно!“— Наконецъ и языкъ заснулъ; я думала и своему дать угомонъ. Перестаю читать; только-что хотѣла вздохнуть свободно, какъ Марья Ивановна зашевелилась, полуоткрыла глаза.

— „А? что жъ вы? Читайте, читайте я слышу... ммм... все слышу“,—и голова повалилась, какъ неживая. Представьте мое положеніе: я читаю, читаю; уже и пять пробило, и половина шестого и еще четверть щелкнула; наконецъ уже мои уши не знаютъ, чему внимать: моему-ли слабѣющему голосу, или усиливающемуся храпѣнію моей слушательницы? Грудь у меня ужасно разболѣлась, на глазахъ чуть-чуть не слезы. Хотя бы пробраться въ свою комнату, хотя бы разочекъ встрепенуться свободно! — Боже мой! цѣлый лѣтній день просидѣть вытянутою, приклеенною на стулѣ, боясь пошевелиться, и читать, читать, когда храпятъ, тебя слушая! И хоть бы уже это былъ романъ — какая-нибудь исторія; а то цѣлый день-деньской читай проповѣди! Часы начали бить шесть; подъ прикрытіемъ ихъ ударовъ я замолкла и устремила глаза на свою слушательницу: она такъ глубоко почивала, что развѣ ослиный крикъ могъ бы разбудить ее, а не мое прерванное чтеніе.—Я перекрестилась и стала тихохонько отодвигаться съ кресломъ; выскользнула изъ-за стола, ступила разъ-другой и остановилась.

Мнѣ казалось, что я столько сдѣлала для своей свободы, что дальнѣйшее уже не можетъ удасться; былъ мигъ полной безнадежности, когда я готова была воротиться на прежнее мѣсто. Въ мою комнату надобно было проходить черезъ столовую въ

маленькій коррпдорчикъ; а въ самыхъ дверяхъ гостиной паркетъ страшно трещитъ; квадратики разсохлись, что-ли? прикоснуться нѣтъ силъ. Если бы меня кто видѣлъ въ ту минуту, какъ я кралась, онъ бы сказалъ, что ни одна кошка не крадется такъ за мышью. Я ступала и отступала, вытягивалась вся, оглядывалась на всѣ стороны; едва приподнимала ногу и стремительно отдергивала ее, замѣтивъ трещинку на паркетѣ, куда думала ступить. Отъ волненія щеки у меня разрумянились, пелеринка раскололась, блестки ходили въ глазахъ; наконецъ на цыпочкахъ, кое-какъ—Господи мой!—я стала на порогѣ гостиной. Я не вѣрила своему счастью и даже въ радости еще перекрестилась и немножко подпрыгнула. Ну, слава Богу! — думала я. Теперь я почти дома, бояться нечего—пошелъ! И вольной, радостной стопой я только ступила — какъ паркетъ затрещитъ, полъ будто весь поколебался; по комнатамъ зашумѣлъ свистъ, какой то визгъ, точно ворвалась буря, и эхо, какъ медвѣдь въ лѣсу, кажется, деревья ломаетъ.

Я уже не помнила, какъ я вбѣжала въ свою комнату и, не въ фигуральномъ, а въ полномъ буквальномъ смыслѣ слова, упала на диванъ. Очнувшись, я поскорѣй схватилась за перчатки и бросилась въ садъ. Пробираясь мимо оконъ гостиной, я опасливо заглянула въ нихъ: Марья Ивановна моя спала и не чуяла, что за громъ и буря пронеслись надъ нею! Клпмъ едва отыскалъ меня къ вечернему чаю: такъ я забѣжала, куда глаза глядятъ.

Вотъ вамъ изображеніе цѣлаго дня, и это образчикъ всѣхъ ихъ, съ очень маленькимъ, почти незамѣтнымъ измѣненіемъ. Вечеръ прошелъ по-вчерашнему. То же сидѣніе на балконѣ, въ гостиной и въ спальнѣ; било двѣнадцать часовъ—я начала зѣвать.

— А, милая моя,—будто шутила Марья Ивановна, раскачивая головой, — какой стыдъ: молоденькой дѣвушкѣ спать хотѣть — ай, ай, ай! Отчего же я, душенька, не хочу?

— Вы почивали, Марья Ивановна, днемъ...

— И, помилуйте, моя милая! Откуда она взяла? Вишь какая, что я спала! Я совсѣмъ не спала, я все слышала. Ну, почитаемъ же немножко; знаете, милая, на ночь—такъ хорошо...

И эдакъ удивительно хорошо прошла цѣлая недѣля. Я думала, что я никогда не дождусь конца ей, никогда не пріѣдетъ маменька; я будто и дома никогда не жила, а это былъ только сонъ—одинъ сладкій, сладостный сонъ, которому, кажется, не бывать возврата.

Такимъ-то образомъ разоблачилась передо мною туманно-величественная личность Марьи Ивановны, но это знакомство надѣлало короба шума. Какъ? Марья Ивановна, къ которой никому не было доступа, и она знакома съ нами!? Я по цѣлымъ недѣлямъ гощу у ней, и даже верхъ всего: были у насъ поминки по тётенькѣ, вдругъ несется шестерикъ бурыхъ—чудныхъ бѣлоножекъ, коляска, какъ серебро; лакей, какъ баринъ, является съ прошеньемъ отъ Марьи Ивановны пожаловать къ ней. Изъ нашей братіи кто меня не зналъ, тотъ по ярмаркѣ кричалъ:

— Да гдѣ-жь она? Да покажите-жь намъ эту Соханскую!

Двоюродная сестра моего дорогого Ивана Алексѣевича,[1] женщина съ богатствомъ и достоинствомъ, знавшая Марью Ивановну тридцать лѣтъ, и та дивилась и говорила:

— Очень бы хотѣлось видѣть эту дѣвушку. Понравиться Марьѣ Ивановнѣ—это надо быть...

И никто не подозрѣвалъ, что вся надобность заключалась въ томъ, что Марьѣ Ивановнѣ скучно, не въ моготу стало скучно, и она теперь рада всякому, хотя сколько-нибудь, человѣческому лицу.

Однако же, точно: судя по видимому, я будто очень заслуживала ея благоволенія. Она ласкала меня, какъ никого; я могла ее выспрашивать—она не молча отвѣчала мнѣ; улыбалась, шутила со мной, звала меня взглянуть на какой-нибудь хорошенькій цвѣтокъ, сажала возлѣ себя на диванъ, трепала иногда по шеѣ, клала мнѣ руку на плечо (Марья Ивановна никогда и никого не цѣлуетъ; я даже не видала, чтобъ она дочь когда поцѣловала, или внука; она только показываетъ видъ, будто хочетъ поцѣловать). Я стала привыкать къ ней, вглядываться въ нее со всѣхъ сторонъ и съ этимъ вмѣстѣ извѣдала: какія пластинки въ паркетѣ трещатъ и по какимъ пройти безопасно можно? Во всякой тѣснотѣ гораздо болѣе свободы, нежели сколько кажется съ перваго взгляда. Я узнала, что большая часть утра, почти до половины втораго, можетъ исключительно принадлежать мнѣ самой. Марья Ивановна занята въ это время внутренними хлопотами, ворчитъ, и стоитъ только сказать ей: доброе утро! спросить: какъ она почивала? и потомъ идти въ портретную залу и быть тамъ одной сколько угодно. По совершеніи обряда усыпленія, я тоже оставалась свободною до позд-

[1] Энгельгардта, старика-сосѣда, служившаго въ кавалергардахъ; о немъ вспоминала Кохановская въ III тетради своей Автобіографіи.

няго вечера. Марья Ивановна, вставши, сейчасъ отправляется къ цвѣтникамъ, начинаетъ рыться въ нихъ, выпалывать, поливать; тутъ являются Гриши, Петруши, лейки; въ общей суматохѣ и я подойду. Мы поговоримъ словъ десятокъ, полюбуемся вмѣстѣ — особливо макомъ: Марья Ивановна ужасно любитъ макъ, и я иду; меня ждутъ бѣлые лебеди. Дорогая пара полюбила меня, какъ свою милую питательницу. Еще я иду, не вижу ихъ, а они меня высмотрятъ на горкѣ (и какъ замѣтятъ между кустами?), и начинается крикъ. Я заговорю къ нимъ: „Леленьки, лели! Мои лели!“ и они плывутъ и бьютъ крыльями, полосы такъ и тянутся по водѣ. Только, кромѣ того раза, я не совершала къ нимъ утреннихъ путешествій въ полдень; мы видались только вечеромъ. Я отдѣлила себѣ особую половину сада, уединенную такую, куда никто не заходитъ: я поѣду недѣли на двѣ домой— ворочусь, и слѣды мои живы, какъ-будто вчера оставлены,—и это близко церкви, внизу подъ скатистую горку стоятъ два вѣковыхъ дуба; одинъ изъ дубовъ раздѣлился на двое и то страшно огроменъ,—въ два ряда низенькія терраски розъ, бесѣдочка изъ сирени, и соловей,—черемуха; золотой, высокій крестъ все свѣтитъ и будто благословляетъ тебя на далекій путь...

Одно было ужасно нехорошо, съ чѣмъ уже и помириться было нельзя: книги мнѣ давались такая все старина! русскаго ничего. Мармонтель, Шатобріанъ, Флоріанъ, путешествія да проповѣди, Расинъ въ красномъ переплетѣ, Ламартинъ, любимецъ Маріи Ивановны (читался только вмѣстѣ). И хотя бы уже этого вдоволь; а то дастъ книжечку—и жди, пока умилосердится на другую; а я читаю чрезвычайно скоро, глотаю, просто, книги; но попросить самой — не могу и не могу! и языкъ у меня не поворачивается. Если бы мнѣ надобно было просить ѣсть, я бы давно умерла съ голода.

Такимъ образомъ, сижу я и только-что не сплю надъ „Campagne de Rome“ Шатобріана. Я ее прочитала, и въ другой разъ уже перелистала, и опять еще она передъ глазами,—скука страшная! Входитъ управляющій, молодецъ-мужчина, какъ обыкновенно говорятъ. Они пошли съ Маріей Ивановною на балконъ, разговаривали тамъ; хотя я его видѣла почти въ первый разъ,—но онъ, замѣтно, зналъ меня болѣе. Возвращаясь, онъ остановился и говоритъ мнѣ: „Извините, что я такъ дерзокъ: осмѣлюсь предложить вамъ свои услуги. Я получаю нѣсколько нашихъ журналовъ; не прикажете-ли прислать?“— И менѣе нежели черезъ четверть

часа въ рукахъ у меня были книги три *Отеч. Записокъ*, *Москвитянинъ* и лежала *Библіотека*.

Поймите, что̀ это было для меня? Я думала, что я не живу, а витаю въ надзвѣздномъ пространствѣ. Я забыла о дняхъ, о часахъ, о судьбахъ всего міра, и помнила одно—*читала*! Брать мнѣ книги домой было неловко (если бы я была хотя немного поболѣе знакома съ управляющимъ!), и потому я съ радостью возвращалась въ Кунье, съ радостью оставалась въ немъ. Слѣдствія были очень естественныя. У М. Ив. начало образовываться ко мнѣ то, что̀ вы назвали „любимымъ дитятею жизни“—*привычка*; я становилась ей необходима, хотя ни она, ни я и никто не объяснилъ бы этой необходимости. Наступила осень,—зима; у М. Ив. лѣтомъ еще есть развлеченіе: она живетъ садомъ, цвѣтами; но осень—когда и на свѣтлой душѣ какъ-то туманится,—а на ея... М. Ив. даже завѣрила самое себя, что она насъ любитъ. „Мои милыя Соханскія! да что за прекрасное, за благородное семейство,—душой, душой люблю!“—твердила она. Меня вовсе не хотѣла отпускать домой.—„Ну, что тамъ въ хуторочкѣ? зачѣмъ, зачѣмъ? Что за дѣла такія? Вишь, какая домосѣдка! Вотъ видите-ли? Живи-ка, живи у меня, моя милая.“—М. Ив. приняла со мною очень любезный, дышащій какъ бы нѣжностью, образъ обхожденія; говорила иногда мнѣ, особенно при нашихъ встрѣчахъ и разставаньяхъ, пріязненно-шутливое *ты*; а такъ всегда называла *Н. С.* и *вы*, *моя милая*. Она стала понемногу выѣзжать и меня непремѣнно брать съ собой; въ Куньемъ начали появляться гости; но М. Ив. *привыкла* къ намъ. Если я уѣду домой, она черезъ день, много черезъ два дня—не жалѣетъ даже своихъ бурыхъ—шлётъ за мной, и волей или неволей, а наконецъ сдѣлалось такъ, что я жила въ Куньемъ,—а дома бывала въ гостяхъ. Ноги мои находили какое-то особенное, тонкое наслажденіе: не скользить и не спотыкаться,—а такъ же вольно и покойно переходить съ паркетнаго пола на глиняный, какъ и съ глинянаго на паркетный.

Господь научилъ меня жить съ самой-собою, но надобно было еще учиться жить съ другими, и Онъ далъ мнѣ порядочно тяжелую школу. Вы отчасти видѣли характеръ М. Ив.: женщина сильная, гордая, властолюбивая. Обстоятельства и тяжелый разсудокъ горя какъ бы заставили ее притихнуть; но развѣ разсудокъ всегда, какъ царь, владѣетъ нашими страстями?—Онъ только завоеватель на мятежной землѣ: сегодня онъ одержалъ побѣду, а завтра легко могутъ побѣдить противники.—Да, и женщина

всегда въ нервическомъ раздраженіи несчастья; тоскующая и никогда не сознающаяся въ своей скорби,—хитроумная, проницательная; ее и утѣшать нельзя, и слезъ она не принимаетъ. А между тѣмъ, она ждетъ отъ васъ развлеченія; вы единственно затѣмъ и призваны, что ей грустно, скучно; вы должны утѣшать ее. Но вы напрасно будете искать средства. М. Ив. совсѣмъ не то, что̀ мы привыкли называть старухой. Въ ней ничего нѣтъ старческаго: она не кряхтитъ, не охаетъ; поддѣлаться разспросами о болѣзни къ ней нельзя, угодить картами невозможно.

Марія Ив. играетъ въ дурачка; но только безъ вашей помощи. Она раздаетъ колоду на двое и сама ходитъ, сама бьетъ, щелкая по носу королей, когда сердится на Зеленскаго—управляющаго. Вы даже не имѣете права глазами участвовать въ благородной битвѣ: М. Ив. сейчасъ смѣшаетъ карты, если замѣтитъ, что вы смотрите. Вы читаете ей; она, кажется, и слушаетъ; но вы напрасно ищете сочувствія, напрасно вашъ голосъ невольною силой приподнимается и глаза просятъ отвѣтнаго взгляда. М. Ив., склоняясь надъ своими пальцами (она работаетъ на церковь), лѣпитъ одинъ къ одному разноцвѣтные кусочки матеріи и прерываетъ васъ на самомъ лучшемъ мѣстѣ: „А ну-те, милая моя, иголочку“.—Вы вдергиваете шелкъ, стараетесь услужить ей; она проситъ подобрать на полу разсыпанныя бусинки, то есть, никуда негодный, растресканный стеклярусъ; сама замѣчаетъ, что это тяжело, и не думаетъ, что эта тягость можетъ обязывать ее къ чему-нибудь. Вы дѣлайте для нея, что̀ вамъ угодно—всевозможныя услуги; но что́ бы вы ни сдѣлали, она смотритъ на это, какъ на долгъ вашъ, на непремѣнную обязанность, и думаетъ, что въ ней одной, только въ М. Ив., есть чувства и достоинства. И М. Ив. еще несносимый остатокъ того вѣка, который воспитывался по французской энциклопедіи. Все русское ей дрянь; Россія—хоть утопить; она и теперь дышетъ Франціей, не надышется.—„Только бы еще побывать въ Парижѣ; а тамъ хоть бы и умереть.“

Привезли изъ деревни мальчика, хохлёнка въ полномъ смыслѣ—Герасима.—Какъ можно? Что за Герасимъ? М. Ив. и слышать не хочетъ. Эразмъ—другое дѣло,—и Эразмъ въ сермяжной куртк̀ѣ поселился въ передней.—„Кого вы, душенька моя, послали за садовникомъ?“—„Герасима, М. Ив.“—„Ахъ, матушка моя, что̀ вы? Ахъ, ахъ, ахъ! Какой Герасимъ?“—„Извините, М. Ив, забыла: Эразмъ Роттердамскій.“ — М. Ив. ничего не знаетъ про этого Эразма и никакъ не дождется своего.—„Да что-жъ это онъ? куда

онъ дѣлся?—У Саши маленькой выучился, все только бѣгаютъ да бѣгаютъ; только и дѣла, что бѣгаютъ. А все отъ того, что розги имъ не даютъ (то-есть, не сѣкутъ). Вотъ надо дать розгу. Климъ, отчего ты Эразму никогда розги не дашь? Давалъ ты ему розгу? То-то и есть, что не давалъ; а когда-бъ ты давалъ, такъ онъ бы и не бѣгалъ. Дать ему розгу, дать, дать, и маленькой Сашѣ дать, и Сашѣ дать—всѣмъ дать."—И розга эта пойдетъ на цѣлый день.—Мало еще всего этого, я была рѣшительно поставлена между двухъ огней. Надобно было держаться всею силой благоразумнаго нейтралитета, сохранять свое маленькое достоинство, не потеряться во мнѣніи обѣихъ сторонъ и отдавать себѣ строгій отчетъ во всякомъ дѣлѣ и словѣ, въ малѣйшемъ взглядѣ невзначай.

Къ этому меня призывали странныя отношенія М. Ив. и ея управляющаго, то-есть, (управляющаго) не ея, а Катерины Николаевны.—Зеленскій, хотя не Полякъ—онъ изъ простыхъ Чугуевскихъ козаковъ,—но человѣкъ съ рѣдкими для жизни способностями: чрезвычайно ловкій, находчивый, преобязательный такой и умный; особенно въ томъ смыслѣ, какъ возвѣщалъ Репетиловъ: что *умный человѣкъ не можетъ быть не плутомъ.*—Изъ ничего, отъ одного какого-нибудь камлотоваго сюртучка, онъ, черезъ Кунье, составилъ себѣ все; поставилъ себя на такую ногу, что корпусные, дивизіонные генералы, полковники—все это жило съ нимъ какъ съ себѣ равнымъ, весь Чугуевъ зналъ это; онъ былъ царькомъ нашего Изюма; въ Харьковѣ губернаторъ, вицегубернаторъ протягивали ему руку; дѣвицы дарили ему подушки, портфёли, образа своей работы.

— Только вы, Н. С., а, какія вы: мнѣ никогда ничего.

— Ну, ужъ меня прошу извинить: я такъ лѣнива, что и для себя ничего не работаю.

Вѣрно, Катерина Николаевна не жила за-границей такъ роскошно, какъ жилъ ея Зеленскій. Безъ двухъ пирожныхъ и мороженаго онъ не обѣдалъ; каждый день гости; охота собакъ въ триста, лошадиныя скачки, бѣга зимой по льду, маскированныя катанья по Изюму; музыка, пѣвчіе свои, домашніе театры; мальчиковъ онъ повыучилъ танцовать мазурки, кадрили, всевозможные танцы; что ни вечеръ—музыка гремитъ, играютъ зори; только фейерверковъ не было.

Можете судить, какъ на это должна была смотрѣть М. Ив., и смотрѣть въ безсильномъ негодованіи, потому что она только жила въ Куньемъ, знала свой цвѣтникъ и свою прислугу—и

ничего болѣе, не имѣла ни тѣни власти; одинъ Зеленскій былъ самостоятельный господинъ всего,—паша египетскій, какъ называла его М. Ив. тишкомъ. Но паша египетскій, какъ былъ уменъ и дальновиденъ, то будто-бы и признавалъ надъ собою власть М. Ив. и являлся каждый день, по утру часовъ въ одиннадцать и даже въ вечеру, какъ-бы совѣщался съ нею по разнымъ дѣламъ, а дѣлалъ все по-своему. Судя по-моему, такъ-бы я на-чисто отказалась отъ этого призрачнаго вліянія на что-бы то ни было и запретила-бы Зеленскому показываться къ себѣ на глаза; но это я, а М. Ив. привыкла къ власти, ея жизнь—власть. Она никакъ не можетъ разувѣрить себя, что она уже не госпожа Куньяго, а только его жилица. Ей все помнится то время, когда Куньинскій управляющій стоялъ вытянувшись у ея дверей, или садился смиренно у порожка; она и этого-бы усадила такъ, да этотъ не садится. Онъ и не думаетъ дожидаться въ передней, а входитъ прямо къ ней въ гостиную, выбираетъ себѣ любое кресло, и еще нарочно придвинетъ его къ ея дивану, и говоритъ, разсказываетъ обо всемъ легко, свободно,—какъ-бы подзадоривая М. Ив. на каждомъ словѣ. М. Ив., молча, дергаетъ кончиками губъ, чепецъ у нея незамѣтно свернется на сторону, и она только и ждетъ, что завтрашняго утра. Вотъ ступни Зеленскаго послышатся въ залѣ, М. Ив. вдругъ юркнетъ изъ гостиной, запрется въ свою спальню и сидитъ, сидитъ, глубоко наслаждается удовольствіемъ, что вотъ она, таки, госпожа; вотъ, таки, заставляетъ ждать себя: жди ее и четверть часа, и часъ... Зеленскій злится, вымѣриваетъ шагами комнату, паркетъ трещитъ, а М. Ив. чуть улыбается.

Вы сами поймёте, что̀ за непріятное и претяжелое положеніе попасть въ самую середину сумятицы, гдѣ большія неудовольствія высказываются такими мелочными дрязгами. Меня сдѣлали общею повѣренною. Какъ не съ кѣмъ было болѣе, М. Ив., то и дѣло, разговаривала со мною о Зеленскомъ; Зеленскій жаловался мнѣ на М. Ив. Едва займется утро, не успѣешь еще чашки чая выпить, а М. Ив. уже начинаетъ:

— А Зеленскій-то нашъ, каковъ молодецъ! Слышали? До трехъ часовъ вчера гости пировали—а? Что̀ вы скажете?—Шахъ персидскій, да и только! Это султанъ, султанъ; Махметъ-Али, вотъ паша египетскій!—и пойдетъ такъ, что въ цѣлой книгѣ не упишешь.

Является Зеленскій, — М. Ив. бѣжитъ; я остаюсь одна въ гостиной.

— Ушла ужъ! — махнетъ рукой Зеленскій. Добраго утра,— и садится ко мнѣ. — Вѣдь, вотъ вы войдите, Н. С., въ мое положеніе. Всегда она такъ со мной дѣлаетъ. Хорошо, слава Богу, что вы теперь тутъ—сиди она себѣ! а то прійдешь, а она отправится, и жди ее—сиди болваномъ, одурѣешь совсѣмъ. Да развѣ я ей мальчикъ, чтобы мнѣ стоять у порожка? Меня, вѣдь, дѣла ждутъ. Обязанъ ли я еще являться къ ней, надобно-бы о томъ подумать. Вѣдь, вотъ не пойду; захочу, не пойду; сама будетъ присылать...

Я ему показываю на дверь:

— Замолчите, пожалуйста! Она тамъ; я знаю, что она слушаетъ; слухъ у нея чудесный.

— А если я хочу, чтобы она слышала? — шепчетъ онъ мнѣ.

Я уже не знаю, какъ меня Господь вынесъ цѣлу и невредиму изъ этого омута. М. Ив. даже отдала мнѣ на руки ключи отъ шкафовъ съ книгами. Я натащу книгъ десятка полтора, разложу кругомъ, роюсь въ нихъ, и она ничего; а у М. Ив. стула съ мѣста не подвинь и перчатокъ не клади на столъ — она морщится.—„Люблю вашу Н. С.—говорила она тетенькѣ,—за все ее люблю. Да какъ она мило, какъ хорошо себя держитъ; нѣтъ, ужь намъ никто—ничего!

Я сжилась съ Куньимъ, какъ своя; меня даже называли *„Куньинскою барышней“*; *„наша Н. С.“*, это было общее прибавленіе всей глаголющей стороны Куньяго. Какъ-то меня особенно всѣ полюбили: прислуга вся носила на рукахъ; жена управляющаго, я увѣрена, послѣ своей Жолиньки — („Жужу, кудрявая болонка“) [1], никому не протягивала руки съ такимъ полненькимъ довольствомъ сердца, какъ мнѣ; самъ Зеленскій даже баловалъ меня черезчуръ. Не было вещи, которою бы онъ не хотѣлъ угодить мнѣ: цвѣты, картины, журнальныя картинки, музыка, пѣвчіе...

— Да поѣзжайте хоть покататься! заѣдете къ намъ. Ну, какъ вамъ запречь: саночки съ дышломъ, или съ пристяжными? Знаете-ли: я вамъ велю вороненькихъ. Э, да что за конп, Н. С.! Или не хотите-ли гнѣдыхъ? Вѣдь вы же такъ любите лошадокъ; чтожъ, ѣдете?

— Благодарю, не хочется что-то.

— Когда вамъ чего-нибудь захочется?..

Вы знаете, какъ мнѣ хотѣлось книгъ? — И теперь я была

---

[1] Стихъ Крылова въ баснѣ „Двѣ собаки“ (*С. П.*).

завалена книгами, можно сказать, по самую душу. Получаются журналы, и даже, чтобъ избавить меня отъ скуки разрѣзыванья, они разрѣзываются въ конторѣ и сейчасъ же несутся ко мнѣ. Я распоряжаюсь ими, какъ маленькій, незаконный деспотъ: везу ихъ домой и изъ дому; держу сколько мнѣ угодно—и „никто-ничего", какъ сказала М. Ив. И что же я читала? *Библіотеку* и *Москвитянина; Отеч. Зап., Маякъ, Репертуаръ* и *Пантеонъ*; *Пчелу* нашу *Сѣверную*, которую я прозвала *Западный Шмель;* попадался и *Сынъ Отечества*, литературная газета; даже я могла бы читать *Эконома* и *Журналъ Охоты и Коннозаводства*, если бы силы стало. Но вашъ *Современникъ*, хотя бы я знала про него! Пришлось бы упомянуть когда,—и ужь онъ вѣрно былъ бы выписанъ; но въ шкафахъ М. Ив. я нашла *Современникъ* Пушкинскаго изданія и думала, что онъ кончился этимъ—и, слава Богу! Тогда еще я не могла понимать васъ; голова моя бродила безъ устоя; такъ долго оставаясь въ оцѣпенѣломъ бездѣйствіи, она теперь бросалась на огонь, на трескъ, на шумъ, гдѣ думалось найти побольше работы. Ваше спокойное достоинство, вѣчная истина съ своимъ кроткимъ, безшумнымъ сіяніемъ испугали бы меня, какъ омертвѣніе, и теперь мучили бы душу жалость и невознаградимое раскаяніе: имѣть въ рукахъ золото и отдать за мишуру, не разглядѣвъ его.

Первымъ слѣдствіемъ моего чтенія было то, чего слѣды вы и нынѣ видите: я сбилась съ толку и потеряла правильность орѳографіи. Что ни возьмешь книгу, то новое правописаніе; по польской пословицѣ: что ни голова, то разумъ. Мудрено-ли, что мой бѣдненькій потерялся? Я увидѣла, что грамматика—къ чему она? Ея вовсе не нужно. И это была только одна затѣя Михайла Ивановича (учителя институтскаго) такъ намъ долбить ее. Какихъ же, напр., у насъ семь падежей, когда у *Библіотики* вовсе нѣтъ родительнаго? И гдѣ же это смягчаются предлоги и очищается языкъ отъ иностранныхъ словъ, когда *От. Записки* говорятъ такъ: „*Гуманно-цивилизаціонное распространеніе идеи въ объективной универсальности и индивидуальной субъективности есть прогрессъ?..*" Истинный прогрессъ русскаго языка, когда, въ его реченіи, въ десяти словахъ нѣтъ и трехъ цѣльно-русскихъ! *Маякъ*, этотъ свѣтлый указатель на морѣ, завербовалъ себѣ на книжной сушѣ *чорнаго чорта*, *чорные глаза* и рѣшительно не хочетъ знать, что только для чорныхъ ушей нѣтъ различія между о и ё. *Москвитянинъ* надоѣлъ мнѣ своею Троицкою Лаврой:—„Осада Троицкой Лавры", „Критика на осаду Тройцкой

Лавры", „Анти-критика на критику Осады Троицкой Лавры", на анти-критику еще критика и критическія замѣтки, — ахъ, мой Господи! и все это для чего же? Чтобы человѣка, котораго привыкла чтить вся Россія, кого она такъ дружно присоединяетъ къ великой четѣ Минина и Пожарскаго, того человѣка— Авраамія Палицына, представить, что онъ былъ хитрецъ, лжецъ и только увертливый честолюбецъ.

„Мнѣ низкой истины дороже
Насъ возвышающій обманъ"

Голова моя была точно какъ въ туманѣ. Мнѣ казалось, что она распухла, и по ней вѣтеръ ходитъ, но душа оставалась здоровою. Скоро я почувствовала какую-то духоту, непріятный жаръ будто томилъ меня; мнѣ было нехорошо, какъ-то неловко дышать; а я люблю свободу; я привыкла дышать на чистомъ полѣ. Даже не мало-по-малу, а вдругъ мнѣ опротивѣла вся эта нелѣпость фантазій, эта грязная, грубая толкотня журнальныхъ ссоръ и только что не дракъ, высокоименуемая „критикой". Не прошло даже и половины зимы, какъ Зеленскій началъ говорить: „На Н. С. я ужь и рукой махнулъ: на нее ничѣмъ не угодишь. Ей то, ей другое, она и смотрѣть не хочетъ" — Онъ приноситъ мнѣ кипу книгъ; расхваливаетъ... „Прочитайте хоть это. Ну, право, скажете: спасибо". — Я возьму книгу, пробѣгу страницу—пять, наконецъ десять; едва дотяну до конца и брошу книгу изъ рукъ вонъ. Я стала читать съ удовольствіемъ почти однѣ историческія статьи; часть такъ называемую *беллетрическую*, или еще: *беллетристическую*, я пробѣгала только глазами, изъ одного любопытства: чѣмъ кончится? безъ малѣйшаго соприкосновенія внутреннихъ силъ души. Но, странно, что дурной конецъ дѣла сердилъ меня невыразимо, забиралъ меня всю, какъ говорится, за живое; точно какъ бы въ этомъ была моя собственная какая-то частичка, — кровное что-то. Я десять разъ брошу книгу и опять возьму ее, чай передо мною стынетъ—я не вижу чашки; вожусь съ книгой.

— Да брось ты ее, ради самого Христа!—говоритъ тетенька. Вотъ нужда человѣка! Ну, дурно—не читай; кто тебя неволитъ? Вотъ лучше бы чай пила; чай совсѣмъ простынетъ.

— Да какъ же, тетенька, писать-то такія пошлости,—вздоръ-то такой? Да это бы я лучше написала!

— Ну, и пиши.

Я готова бывала вспылить. — „Ну, и пиши“, какъ будто все равно: „ну, чулокъ вяжи!“ Можетъ быть, я и сама думаю объ этомъ; да писать — это мнѣ казалось такимъ великимъ дѣломъ, такимъ неизреченнымъ даромъ Божьимъ, что и вспоминать о немъ... Да мнѣ ли имѣть его? Еще, бывало, въ институтѣ, подъ конецъ, я думаю-думаю; задумаю помолиться, чтобы Богъ... да нѣтъ: и молиться не смѣю. Куда мнѣ? что я такое? Теперь эта мысль все чаще и чаще навертывалась ко мнѣ.—„Отчего же“?—думала я иногда.—„Господь, кому хочетъ, даетъ Свои дары; вѣдь Онъ силенъ въ слабыхъ... Что если мнѣ?.. да нѣтъ!“...

А между тѣмъ моя давнишняя способность живого представленія картинъ будто разросталась во мнѣ, удивительно широко раскидывалась. Я иду по полю, встрепенется птичка: она летитъ, я смотрю ей въ слѣдъ — и подымаются что за мысли въ душѣ! Картины одна передъ другою, какъ звенья необозримой цѣпи, идутъ-идутъ; не знаешь, что за невольная, за безотчетная сила ведетъ ихъ?—Пока, наконецъ, выведенная изъ терпѣнія какою-то нелѣпою повѣстью, я долго помолилась, разумѣется, поплакала; положила окончательныхъ три поклона; сѣла и еще перекрестилась—*и начала писать*.

Оно коротко и легко сказать: *начала писать;* а надобно знать, какъ трудно было это исполнить. Первое, что и пера мнѣ было очинить некому. Кругомъ, знаете, все люди такіе пишущіе—есть къ кому отнестись! Зеленскаго просить я не хотѣла; пока дождешься помощника окружнаго, или становаго; но какъ, благодареніе Богу, дѣлъ у насъ никакихъ не было, то и это явленіе случалось рѣже, чѣмъ солнце въ осени—я разумѣю: вашей. На перья пришелъ страшный переводъ: я крошила ихъ по пятидесяти на день; доставалось и рукамъ и бѣднымъ пальцамъ.

Чиня перо, я себя порядкомъ кольнула въ грудь. Ужъ какъ это случилось, объяснитъ развѣ пословица, что дѣло мастера боится, а здѣсь мастеръ самъ боялся своего дѣла. „Что писать?“—разсуждала я сама съ собой, приглашая на совѣтъ и тетеньку.—„Писать-то еще ничего; да вотъ если бы мнѣ перья выучиться чинить“!—И я чуть было не отказалась отъ писанья затѣмъ, что никакъ не могла справиться съ перьями; но наконецъ—до всего можетъ человѣкъ достигнуть наконецъ!—я очинила перо. Маменька ѣдетъ въ Савинцы [1] на ярмарку.

---

[1] Селеніе въ 7 верстахъ отъ деревни Кохановской—Макаровки. *(С. П.)*.

— Maman, не забудьте же, душенька, мнѣ купить бумаги. Я вамъ лучше запишу.

— Что тутъ записывать? бумаги купить. Что же тебѣ: хорошей, что ли?

— Нѣтъ, къ чему же хорошей—писать на-черно?—простой.

— Вотъ еще новая трата,—прибавляетъ улыбаясь маменька.

Я жду ее—не дождусь; кажется мнѣ, что Савинцы за тысячу верстъ. Наконецъ, ѣдетъ моя maman; я выбѣгаю навстрѣчу.

— Здравствуйте, maman-душенька, что вы такъ долго провозились?.. А чтожь бумага? купили?..

— Ахъ!—взмахиваетъ рукой маменька,—скажи, пожалуйста! Ну, прости, мой дружочекъ: ей-ей, совсѣмъ изъ головы вонъ; чтобъ было записать?.. Да оно, правду сказать, я и помнила; да тутъ пришла Катерина—горшковъ, кувшиновъ надобно было дать купить; тамъ атаманъ съ веревками... Ну, ужь погоди: будемъ посылать въ городъ, тамъ купимъ.

— Ахъ, maman, да когда же вы будете посылать? Ну, пошлите завтра.

Моя maman даже отвернется и только что не вспрыгнетъ.

— Вѣдь вотъ эти головы, только слушай ихъ! Смотрѣть, будто и не дура, а гдѣ жъ таки у тебя разсудокъ? Ну, стану жь я нарочно человѣка отрывать отъ работы, чтобы онъ 25 верстъ гонялъ за твоими блажнями?

— Да какія жъ это блажни, когда мнѣ писать не на чемъ?

— Вотъ-то пуще всего потеря большая!

Только что не приходилось сказать: что писать? писать-то ничего, да вотъ если бы бумага была!—Въ ожиданіи будущихъ благъ, я обратилась къ своимъ институтскимъ тетрадямъ.

Теперь перо у меня было; нашелся и листъ бумаги; предметы въ головѣ кишатъ, какъ мошки на весеннемъ солнцѣ: заслышится ли пѣсенка на волѣ степей, колокольчикъ ли зазвенитъ, мятель завоетъ, засіяетъ утро,—все чѣмъ-то невыразимымъ отдается на душу, какъ-то странно толпится въ нее, начинаетъ тамъ жить и, какъ шелковый червь, пускаетъ изъ себя нити-нити: онѣ плетутся, Богъ знаетъ, какъ; выходятъ недовѣдомыя исторіи, и все какъ будто видѣлъ своими глазами, все хочется передать другимъ глазамъ, перенести на другую душу... И чтожъ тутъ мудренаго? Стоитъ только сѣсть да написать. — Я и сѣла. Но тутъ-то и открылась мнѣ вся великая мудреность писанья! Къ изумленію моему, я увидѣла, что перо и бумага совсѣмъ еще не дѣло, и въ головѣ, кажется, много, а станешь писать—

куда это все дѣнется? Слова не приберешь. Сценъ и положеній, мыслей, кажется, хоть въ табунъ гони, а начнешь выводить на бумагу—ничего нѣту; сидишь-сидишь—и въ полтора часа пяти строчекъ не высидишь! И вотъ та, что куда негодовала на *Библіотеку* и слышать не хотѣла, чтобы писать по примѣру *Отеч. Записокъ*, та боялась выставить малѣйшее положеніе, написать одно слово, которыхъ не встрѣчала въ отвергнутыхъ журналахъ. По цѣлымъ часамъ билась, соображая: былъ ли подобный оборотъ употребленъ *Отеч. Записками*—и въ силу этого можно ли употребить его? Что скажетъ о томъ-то *Библіотека для чтенія* и что она подумаетъ?

Таковы были мои начальные шаги: странное слѣдованіе своимъ образцамъ безъ вѣры къ нимъ, безъ уваженія, даже со всѣми оттѣнками брезгливой презрительности; но голову клонила робость, несознаніе силъ и наконецъ полное, всецѣльное неразумѣніе дѣла. Одна у меня была надежда: Михайло Ивановичъ. Я пишу къ брату въ Харьковъ, чтобы братъ розыскалъ мнѣ, гдѣ онъ теперь и куда отнестись къ нему? И получаю въ отвѣтъ, что Михайло Ивановичъ былъ боленъ; едва-ли не умеръ, что̀, однако же, не утверждается положительно; но что его давно уже нѣтъ въ Харьковѣ: онъ взялъ отставку и уѣхалъ—куда?—неизвѣстно. И здѣсь, какъ всегда и во всемъ, я осталась одна-одна, съ однимъ только Богомъ.

Истинно, что внутри человѣка есть свой особый міръ—пространный міръ, котораго законы написаны на скрижаляхъ сердца и именно перстомъ Божіимъ. Надобно совершенно умереть духомъ, чтобы не слышать позываній изъ этого міра, не ощущать, какъ силенъ онъ надъ всею силой міра внѣшняго. Законъ его можетъ вопіять, когда, повидимому, всѣ законы исполнены, и онъ одинъ скажетъ „молчи“ всему; только дайте великому удовлетвореніе. Я возьму себя. Бѣдная, ничего не значащая дѣвочка, самою судьбой опредѣляемая къ разнаго рода мелкимъ и большимъ лишеніямъ и уничиженіямъ, я безъ урона человѣческому достоинству занимала мѣсто возлѣ важной, богатой женщины. Она, гордая, ласкала меня; говорила: „вы знаете, милая моя,—вы у меня приняты, какъ родная“ Я жила въ разрисованныхъ, лакированныхъ комнатахъ; лакеи въ бѣлыхъ перчаткахъ служили мнѣ; французская кухня кормила; ѣла я съ серебряныхъ блюдъ и серебрянымп вилками; полковникъ съ деньгами и брилліантами сватался за меня. Одна неблагодарность къ Богу, измѣнившему даже какъ бы свое начальное законополо-

женіе и вотъ выводящему на большій свѣтъ и прохладу ту, которая, какъ сосудъ не въ честь, опредѣлялась къ жизни мрака и мельчайшей повседневности—говорю: одна неблагодарность, несытость наша могли бы прибавить тутъ свои желанія.—И я ничего не желала. Я понимала своимъ смиреннымъ существомъ, что это даръ, даръ Божій, на который я не имѣю никакого права: я не родилась для него, и потому я должна благодарить за эту милость щедротъ, благодарить Бога со слезами, вставая рано и ложась поздно.—Можетъ быть, я и дѣлала такъ. Но виновата ли я была, что, когда слезы и жаркая молитва благодарили за даръ щедротъ и милостей, сердце не шевелилось радостно — никакимъ весельемъ; на немъ было тихо, грустно, всегда тихо и всегда грустно... Я сижу въ своемъ розовомъ кабинетѣ—предо мною старинно-роскошное зеркало въ золоченой рамѣ, фарфоръ саксонскій; ноги упираются въ коверъ, ко мнѣ доносится куреніе алоэ; а въ душѣ становится тихо-тихо, какъ передъ майскимъ дождемъ, и слезы каплями падаютъ на руки и сбѣгаютъ по пальцамъ. О чемъ я плачу? Эта грусть безъ словъ, безъ названія даже; она безъ всякаго ропота, тихая, безотвѣтная; она та же молитва; только, кто скажетъ мнѣ, о чемъ? О, Боже мой! если сердце царя (предполагается: такого сильнаго, мощнаго) въ рукѣ Твоей,—на чьи же руки Ты оставилъ слабое, болѣзненное сердце женщины? Зачѣмъ? Откуда это умилительно шепчущее позываніе будто къ чему-то радостному, великому? Душа Твоя, Господи: въ ней и все должно быть Твое.—Во мнѣ хвалили ровность моего характера, и точно, я всегда была одинакова. Не порывалась ни къ чему, не вздыхала, не смотрѣла печально; но я никогда не была весела, какъ люди бываютъ весе́лы въ восемнадцать лѣтъ. Марія Ивановна (она такая наблюдательная: мимо нея, кажется, муха не пролетитъ, что-бы она не видала; хотя она вовсе будто не смотритъ), М. Ив. говорила тетенькѣ, что, сколько она меня знаетъ, всего только одинъ разъ она меня видѣла такою, какъ я быть должна: веселою и одушевленною; но я не помню, когда бы могъ быть и одинъ этотъ бѣдный разъ! Мнѣ все чего-то недоставало, и мое мнѣ было не моимъ. Не занимало меня особенно ничто; словно я не жила, какъ живутъ всѣ добрые люди, а такъ, двигалъ меня степной вѣтерокъ. И вдругъ (такова сила внутренняго предназначенія; только въ его свѣтѣ и открывается намъ жизнь) я будто воскресла, преобразилась! Чтобы дать понятіе объ этомъ, надобно бы было собрать всѣ выраженія внезапнаго, благодат-

наго пересозданія въ человѣкѣ, и всѣ онѣ выскажутся для меня тремя словами: *я начала писать.*

Нѣтъ, какъ небо, что ни разсуждай о немъ, будто оно призракъ, пустой, бездонный мракъ, повитый въ слояхъ атмосферы—небо прекрасно; небо сіяетъ. Въ небѣ хранимъ мы всѣ залоги души, всѣ завѣтныя обѣтованія сердца; къ нему стремятся глаза въ минуту скорби: тамъ всегда есть утѣшеніе, и въ минуту чистой радости не тамъ ли живыя струи ея? И, скажите, какою свѣтлою улыбкой не привѣтствуемъ мы свѣтлаго благозданнаго неба?—Такова и поэзія. Пусть, что хотятъ, говорятъ о ней;—она—небо, и небо чистое, небо свѣтлое души человѣческой. Загрязнить можно все и одѣть шумихой; но прекрасное—какъ лебедь; оно, хоть умирая, а пропоетъ намъ. Поэзія—жизнь и выраженіе прекраснаго въ прекрасномъ видѣ, въ прекрасномъ звукѣ. Намъ ни создать, ни ея уничтожить нѣтъ силъ: она всегда живетъ. Поэзія такъ же нераздѣльна съ ощущеніемъ души благодатной, какъ чувство любви и добра. И что за рай—ея самое легкое, чуть скользящее дыханіе! Въ томъ-то и видно чистое небо поэзіи, что она навѣваетъ святыню и стремитъ душу къ небесамъ. Я не молилась такъ съ тѣхъ поръ, какъ, когда мнѣ казалось, что Спаситель съ намѣстной иконы, улыбаясь, благословлялъ меня. Нѣтъ, не степной вѣтерокъ теперь двигалъ мною: меня вела еще прежде рожденія положенная мнѣ черта на путяхъ Провидѣнія, и все мое горючее горе, вся тоска души лились изъ того, что я искала черту мою и черта моя не находилась—и теперь она нашлась. Я не выскажу вамъ, Петръ Александровичъ, какъ мнѣ стало хорошо, свѣтло. Я будто умылась чѣмъ живительнымъ, я будто подросла. Явились отговорки не гостить болѣе въ Куньемъ. Я весело обмѣняла свой розовый кабинетъ, паркетный полъ — широкій просторъ, зимой вешніе цвѣты и куренія—на мою узкодлиноватую, тѣсненькую комнатку съ запушеннымъ оконцемъ, съ лежанкой вмѣсто камина,—и опять, опять слѣды мои запестрѣлись на желтомъ песочкѣ.

Гдѣ же вамъ запомнить все? Въ *Современникѣ* на стр. 58, № 1-й, вы говорите, что поэтъ, приводя только въ дѣйствіе свои дарованія, уже достигаетъ главной своей цѣли или назначенія. Вотъ вамъ доказательство полной жизненности вашихъ словъ.

Какая далась мнѣ частичка въ долѣ поэта?—Изъ милліонныхъ развѣ милліонная; но и она, словно жаръ, горѣла во мнѣ. Вы помните, какимъ тяжелымъ трудомъ я пыталась доставить себѣ отрадное самосознаніе труда и дѣла, — и все напрасно. Руки у

меня пухли, трудовой потъ градинами падалъ съ лица; но не было капли, которая оживила бы душу внутреннимъ самодовольствомъ. И, вдругъ, теперь я просижу, правда, часу до перваго, до второго ночи; но что-жь я сдѣлаю? Не измараю иногда и двухъ страницъ; а голосъ такъ чудно-ласковый, какъ будто поцѣлуй въ голову, подымается изъ сердца, будто обнимаетъ тебя и говоритъ такъ внятно, тихо, съ улыбкой: „Ты трудилась, ты устала:—отдохни, дитя!“—И точно: дыханіе поэзіи сдѣлало изъ меня свѣтлаго, прекраснаго ребенка—лучшаго, нежели я когда либо была. Я начну молиться, — я не вижу потолка низенькаго нашего домика надъ собою: онъ будто подымается. Поэзія научила меня плакать, улыбаясь сквозь слезы; она дарила меня блаженствомъ и какою чудною разумно-младенческою ясностью души! Я проработаю долгій зимній вечеръ; уже полночь, такъ тихо; молитва прольется на душу, какъ благодать небесной росы. Я ложусь спать; но день маленькаго поэтическаго труда невольно хочется покончить мыслію о высочайшей поэзіи—о Богѣ, о небѣ Его. Мнѣ думается, что это небо (я чрезъ потолокъ будто вижу его), усыпанное неисчислимостію звѣздъ, это Господь смотритъ на насъ билліонами очей Своего верховнаго Промысла. Міръ уснулъ, и вотъ на обзоръ его выходятъ свѣтлыя очи Вседержителя. И я думаю о томъ, какъ должно быть Господу пріятно, когда, въ это время, съ земли поднимутся къ Нему навстрѣчу чьи-нибудь взгляды. Съ какою любовью Божественная любовь Его должна приникать къ душѣ, такъ псалмопѣвно-бодрствующей на стражѣ Полунощнаго Жениха,—и руки у меня сами собой крестомъ складывались на груди; вокругъ становилось будто еще тише, и я чувствовала, кажется, я видѣла,—какъ раскрывалось мое сердце и въ него сходилъ Богъ. Но далѣе: — премудрый Соломонъ сказалъ, что „въ злохудожную душу не внидетъ премудрость“ Я не знаю, что именно онъ разумѣлъ подъ этимъ; но въ этомъ отношеніи, и поэтическія ощущенія та же премудрость, и они также требуютъ чистаго безукоризненнаго художества души. По крайней мѣрѣ, такъ было со мной. Я не могла и не могу писать, если на душѣ есть хоть малѣйшее облачко, завелось хоть одно пятнышко. Надобно мнѣ быть совершенно довольною самой собою, чтобы въ груди глубоко чувствовалось это довольство, и тогда я пишу, когда свѣтлый взглядъ безпрепятственно поднимается къ небу; въ противномъ случаѣ—я не могу; все кончено: не стяну двухъ словъ съ пера. Мои образы, мои видѣнія, весь міръ поэзіи, онъ будто отвернется отъ меня, и

стоитъ грустный и недоступный, пока молитва и молитва, и всеочищающая слеза не сведутъ мира на изболѣвшую душу. Поэзія была для меня истинно поэзіей, праздникомъ души, а не средствомъ къ выгоднымъ разсчетамъ. Вотъ вамъ неотъемлемое доказательство. Когда я начала писать и уже кончила свою первую повѣсть, я даже не знала, что въ журналахъ платится за статьи,—и теперь я мало смыслю, а тогда я вовсе не имѣла никакихъ понятій о вашемъ книгопродавчествѣ. Писать для того, чтобы писать, передавать невольно-сладостныя ощущенія, которыми благодатно волнуется и исполняется душа, это было для меня единственною причиной, за которою я не видѣла подразумѣвающихся слѣдствій. И какъ я тягостно помню минуту, когда я вычитала въ *Маякѣ* первое объясненіе нецеремонныхъ журнальныхъ сдѣлокъ! Меня въ жаръ бросило; не говорю, чтобы щеки—но и уши, и лобъ, и мои руки—горѣли; нѣсколько времени я оставалась безъ мысли, безъ движенія... Такъ низко торговаться, продавать мысли свои и чувства на листъ; это мнѣ казалось промышлять душой!

А мой „Маіоръ Смагинъ“ [1] былъ написанъ. Ни показать его кому, ни мнѣ посовѣтоваться — ничего хоть не ищи! Пріѣхалъ братъ изъ Харькова. На семейномъ ареопагѣ положили заставить меня прочитать моего „Смагина“. Если осталась еще какая пытка, вытягивающая всѣ жилы и подымающая волосы чуть не дыбомъ, такъ это читать свое первое произведеньице такому бѣдненькому автору, какъ я. Гляжу я—братъ мой зѣвнулъ; я сейчасъ же свернула тетрадь:—„Что-жь ты, Надя?“—„Ничего. Я боюсь, что ты проглотишь не только моего Смагина, а и меня съ нимъ вмѣстѣ.“—„Э! да, право, какая-жь ты!“ смѣялся братъ.—„Ну, вотъ, что выдумала! Что-жь тутъ еще за бѣда, что я зѣвнулъ; развѣ ужь я совсѣмъ заснулъ?“—Тѣмъ дѣло и кончилось. Больше ужь никакія силы ареопага не могли бы заставить меня продолжать. Сама я видѣла, что мой „Смагинъ“, если не лучше читанныхъ мною повѣстей, то не очень и хуже половины изъ нихъ. Но куда дѣть его? Въ *Библіотеку* и *Отечественныя Записки*, я хорошо знала, что я не дотолплюсь,—слѣдственно, надобно поискать мѣста въ какомъ-нибудь журналѣ потише, основаться въ немъ, и тогда, если Господь пошлетъ,

---

[1] Ея первая повѣсть, напечатанная въ „*Сынъ Отечества*“ и значительно измѣненная и сокращенная редакторомъ К. П. Масальскимъ (1844, № 6). *О. П.*

что я смогу обратить на себя маленькое вниманіе, не трудно будетъ перейти и въ другое мѣсто. Такимъ образомъ я отнеслась къ *Сыну Отечества*. Константинъ Петровичъ Масальскій казался мнѣ человѣкомъ не очень страшнымъ. Въ *Ста русскихъ литераторахъ* я читала его — не помню ужь что; читала его „Романъ на ледяныхъ горахъ"; за полное благородство нашихъ отношеній ручался мнѣ громкій титулъ „превосходительства". Пишу къ нему. Слѣдуя однажды и навсегда положенному правилу: не помогать своимъ сочиненіямъ просьбами и не являться на открытую выставку, я дала своему коротенькому, полуанонимному письму самый безукоризненно вѣжливый, благородный голосъ. Не упоминая ни о какихъ сдѣлкахъ, не унижаясь ни до какихъ мелочныхъ просьбъ и объясненій, я просто, въ пяти словахъ, показала, что это первое дѣло моего пера, и просила сказать о немъ откровенное мнѣніе. Я почти вѣрила, что авторъ „Романа на ледяныхъ горахъ" напечатаетъ моего „Смагина"; но, еслибы и не далось по вѣрѣ, все же, въ какомъ хотите случаѣ, онъ долженъ отвѣчать мнѣ: если не какъ автору напечатанной въ его журналѣ статьи, то тѣмъ болѣе, какъ женщинѣ, отнесшейся къ нему такъ благородно, вполнѣ уважая его и свое достоинство; а это главное, чего искала я: сближенія съ какимъ-нибудь литературнымъ лицомъ. Если бы я заводила подобное дѣло съ нашимъ увѣсистымъ степнячкомъ, я, безъ сомнѣнія, не основала бы своихъ крайнихъ надеждъ на такомъ легенькомъ построеніи, какъ право женщины: здѣсь я могла бы брать во вниманіе и самый разсчетъ на гривенникъ, столь неизбѣжный для отвѣта; но, сами вы судите, я относилась къ человѣку — предполагается — высокообразованному, стало быть, такъ утонченно-вѣжливому — столичному, петербургскому... Могу же васъ увѣрить, что ни одинъ степнякъ-медвѣдь, какъ вы изволите называть ихъ, не поступилъ бы такъ, какъ поступилъ вашъ благородный левъ! — Не болѣе какъ черезъ мѣсяцъ пріѣзжаемъ мы къ М. Ив., я беру листокъ *Пчелы* и совершенно нечаянно встрѣчаю оглавленіе *Сына Отечества*: повѣсть „Маіоръ Смагинъ." Вспомните, пожалуйста: билось ли ваше сердце, когда вы въ первый разъ видѣли напечатаннымъ ваше первое созданіе? А мое, Петръ Александровичъ, такъ очень билось! На другой же день мы посылаемъ на почту. — „Письмо, письмо!" — прыгаю я. — „И лисья шуба къ зимѣ," — приговариваетъ тётенька; а маменька ужь молчитъ и только смотритъ на свою *великую* дочку. — Но письма нѣтъ; мѣсяцъ, два и три — ничего нѣту. Я рѣшилась писать. Не-

вспоминая ни малѣйше объ удержанной платѣ, — Боже мой! да я бы, кажется, умерла на первомъ словѣ, только бы заговорила!—я, въ выраженіяхъ самой тонкой, женской учтивости, благодарила за честь мнѣ сдѣланную, давая слегка замѣтить, что она будто была вовсе неожиданна. Этимъ я хотѣла удержать за собой право независимости, потому что въ письмѣ моемъ и тѣни не было о печатаньи: все дѣло шло объ одномъ мнѣніи; онъ напечаталъ, потому что самъ захотѣлъ. Но, съ этимъ вмѣстѣ, я посылала къ нему еще двѣ свои повѣсти, прося, чтобъ онъ, похваливши меня такъ въ своемъ журналѣ, рѣшилъ окончательно по нимъ: гожусь ли я для него, а если гожусь, то не угодно ли будетъ взять меня въ сотрудницы? Я не предлагала никакихъ условій — ничего; я только просила увѣдомить меня о рѣшеньи, потому что мои обстоятельства не ждутъ, и я буду искать мѣста въ другомъ журналѣ. Нарочно я послала пакетъ страховымъ, чтобы мнѣ уже положительно знать, что онъ не затерялся. Жду мѣсяцъ, жду два, жду опять три — пакетъ не возвращается и отвѣта нѣтъ. Я пишу въ третій разъ. Сохраняя всѣ условія самой безукоризненной вѣжливости и тутъ не вспоминая ни о чемъ, я только говорила, что онъ долженъ получить мой пакетъ, потому что я не получила его назадъ; онъ слышалъ о моихъ предложеніяхъ, но какъ они ему неугодны, то я покорнѣйше прошу возвратить мнѣ посланныя къ нему повѣсти,—пересылку я беру на свой счетъ. Но Констант. Петр. Масальскій очень благоразумно разсудилъ, какъ судили и дѣды наши, что доброе молчаніе—чѣмъ не отвѣтъ, и онъ ничего не отвѣчалъ мнѣ... Дайте мнѣ вашу руку, истинно-благородный, прекрасный Петръ Александровичъ! Такъ ли вы поступили со мной? Не велпкая важность въ большомъ дѣлѣ будто повыказать себя: за большимъ лѣсомъ и маленькій тянется; но въ маломъ надобно помнить свое величіе. Это я называю на моемъ степномъ языкѣ прекраснымъ храненіемъ высокаго достоинства.

20 іюля, 1848.

V

„Впередъ, впередъ, моя исторья!“

Вотъ, Петръ Александровичъ, когда такимъ неловкимъ образомъ шли мои поэтическія дѣла, дѣла наши экономическія были не въ лучшихъ условіяхъ: хлѣба и по полтора рубля ассигнаціями никто не покупаетъ; а тутъ—недоимка, подушное, платежъ въ Приказъ...

— Маman, я буду искать мѣста въ гувернантки, сказала я.

Маменька молчала. Есть вещи, на которыя внутренно соглашаешься, и знаешь, что согласиться должно, но высказать это согласіе—охъ, какъ тяжело! вовсе нѣтъ силъ. Я понимала эту глубоко-грустную тягость и не ждала дальнѣйшихъ поясненій.

Вспомнила я, что еще въ началѣ зимы была я у Марьи Ивановны, и пріѣхали туда монашенки, что ѣздятъ съ книгами. [1] Послушница была за послушницу и за кучера, а возжами правила „матушка наша Богородица“, какъ, помню, выразилась въ святой простотѣ вѣры старшая монашенка. Онѣ остались ночевать; я пригласила ихъ въ свою комнату; поразговорились мы.

— А барынюшка милая — Господь тебя не остави! сказала старшая монашенка,—я васъ попрошу, матушка моя, о чемъ-то. Просила меня—спаси тебя Богородица!—одна барыня, чтобъ я сказала—такъ, кому, изволишь видѣть, случится: не возьмется ли поѣхать къ ней сына поучить? Барыня она вдова — ничего себѣ, Господь ее вѣдаетъ: не хотишь ли, родная моя, иль, можетъ статься, знакомыя есть?

Знакомыхъ у меня такихъ не было, и сама я тогда еще не помышляла о гувернантствѣ, однако же говорю: „на всякій случай, пожалуйте адресъ“ Монашенка отвѣчала мнѣ, что „андресу никакого нѣту-ти, а только какъ писать, такъ къ генеральшѣ Пелагеѣ Васильевнѣ Грековой, жительство имѣетъ неподалеча отъ Бахмута—кажись, что верстовъ съ двадцать“

Теперь мнѣ это казалось перстомъ Божьимъ. Не откладывая надолго, я сейчасъ же сѣла и написала. Отвѣта не было ни отъ его превосходительства г. Масальскаго, ни отъ ея превосходительства г-жи Грековой. Жду я уже и май, и іюнь—іюль, и уже ждать перестала. Подъ Преображенье пріѣзжаемъ мы къ Марьѣ Ивановнѣ; она обыкновенно зоветъ къ себѣ на всенощную и на обѣдню, и собралось насъ довольно много, дѣвицъ даже было до шести, что̀ большая рѣдкость въ нашемъ околодкѣ. Мой розовый кабинетъ заняла одна пожилая родственница Марьи Ивановны; еще, кто по почетнѣе, да постарѣе, размѣстился тутъ, а мы, все молодое поколѣніе, отправились на верхъ, весело бѣгая отъ незамѣтно-сторожевыхъ ушей и глазъ Марьи Ивановны. Намъ было такъ вольно и покойно. Верхъ нарочно строился для помѣщенія ночующихъ гостей: по срединѣ широкій корридоръ, по обѣимъ сторонамъ небольшія отдѣльныя

[1] Разумѣется—просительными, сборными, въ пользу обители (*С. П.*).

комнатки, кончающіяся общимъ заломъ съ нависшимъ балкономъ въ садъ; вдаль по низу виднѣются рощи: березовая, сосновая, вода, на взгорьѣ молодой лѣсокъ дубковъ, разнородныя, переливныя волны зелени, запахъ цвѣтовъ, и прямо, напротивъ, въ полугорѣ, винный подвалъ, такъ романтически выглядывающій изъ-за деревьевъ—страшный, египетскаго стиля двѣ ужасныя колонны, кажется, поддерживаютъ гору сѣро-муравленныя, небѣленыя, выходъ чернѣетъ, и желѣзная рѣшетка вмѣсто дверей.

Всѣ мы въ первый разъ готовились ночевать тутъ, и явилось громко-шутливое предложеніе: погадать на новомъ мѣстѣ—приснись женихъ невѣстѣ!

— Нѣтъ, mesdames! Меня и не приглашайте. Мнѣ ничего не снится, отказалась я. И точно: это большая рѣдкость, если я вижу что̀ во снѣ. Но эту ночь мнѣ не только не снилось, мнѣ вовсе не спалось. Я вставала и ходила — не сплю. Всѣ такъ сладко спятъ; тишь, будто завороженная, не отзовется; въ комнатахъ такой чудный лунно-серебряный полусвѣтъ — самое время для завѣтныхъ видѣній; одна я не сплю. Я сѣла на окно, отворила его и цѣлую ночь просидѣла такъ. Голова сама собою клонилась освѣжиться, тяжелая такая, и ни одной мысли! Въ чувствахъ такое томительное замиранье,—грустно; я будто чего-то ждала, а ночь—что за рай успокоенья! Тихая—тихая, самая лѣтняя: безъ вѣтерка, безъ соловья, одна луна и ночь, ночь и луна, и зачѣмъ я-то замѣшалась въ эту чудную пару?

Отошла обѣдня, и обѣдъ уже кончился, совсѣмъ вечеръ; кое-кто уже началъ разъѣзжаться; Марья Ивановна не хотѣла пустить насъ; какъ вдругъ входитъ Климъ съ докладомъ къ маменькѣ, что человѣкъ изъ хутора пріѣхалъ. — Зачѣмъ это? что̀ такое? — Маменька поспѣшила выйти; когда она воротилась, я замѣтила, что она какъ-то особенно взглянула на меня.

— Прощайте, наша почтеннѣйшая Марья Ивановна! сказала maman, едва входя. — Мы ѣдемъ, я велѣла подавать лошадей. Грекова пріѣхала.

Я поняла свою безсонницу. И что̀ это за странное чувство—предчувствіе? Загодя чуять сердцемъ, что къ тебѣ идетъ горе, налетаетъ тоска; плакать, самъ не зная, чего плачешь, а слезы льются, и остановить ихъ нѣтъ силъ. Грустное приданое женскаго сердца!... Письмо мое провалялось цѣлый мѣсяцъ на почтѣ; отвѣтнаго письма Грековой я вовсе не получила; она посылала человѣка по адресу въ Изюмъ, тотъ не отыскалъ насъ, и вотъ она поѣхала сама,—и вотъ я стала гувернантка за 1.200 р. въ годъ,

гувернантка хромого мальчика, который въ десять, въ одиннадцать лѣтъ не умѣлъ еще отличить *т* отъ *м* въ русской грамотѣ. Я васъ прошу, освободите меня: я ужасно не люблю описывать прощаній и никакого рода разставаній и, можетъ-быть, отъ того именно, что глубоко чувствую ихъ грустную силу. Да и къ чему это?—Кто самъ не испыталъ, не выплакалъ да не выгрустилъ ихъ, тому все будетъ казаться: „Слова, слова, слова!“ какъ сказалъ Гамлетъ: хотя тамъ, можетъ-быть, словъ и очень мало, а только льются неудержимыя слезы и заглушаемыя рыданія.

Оно и въ самомъ дѣлѣ, о чемъ тутъ плакать? Отрывать отъ себя, отдавать любимое единственное дитя—дочь, Богъ знаетъ, въ какія руки, безъ защиты, безъ покровителя, одну, какъ былинку въ полѣ,—пусть она сама живетъ, сама ведетъ себя, у ней нѣтъ болѣе наставника. Въ осьмнадцать лѣтъ она сама наставница, то-есть, гувернантка, то-есть, то, чѣмъ при людяхъ громко назваться нельзя—конфузно. Она, какъ зерно, брошенное при дорогѣ — всякій имѣетъ право надъ нею. Офицеры смотрятъ на нее, заложивъ палецъ за пуговицу, и, покручивая фабренные усы, въ услышаніе говорятъ свою обидную хулу, или еще обиднѣйшее одобреніе. Въ семьѣ очень мило подшучиваютъ надъ нею, прикладывая въ обожатели чуть ли не конюховъ—какого-нибудь лакейнаго шута съ обезьяничей рожей—и горе ей, если она вздумаетъ обидѣться — она? Это такъ забавно смотрѣть, какъ гувернантка обижается,—и шуточки удесятерятся. Секретныя записочки въ самыхъ пошлыхъ, глупѣйшихъ выраженіяхъ посыпятся на нее со всѣхъ сторонъ; она будетъ находить ихъ подъ своею подушкой, въ своемъ платьѣ—въ своихъ книгахъ, въ позабытой перчаткѣ; ей даже приладится свиданье наединѣ,—и, когда, потерянная, едва видящая свѣтъ въ глазахъ, она не будетъ знать: что дѣлать ей? въ то время изъ-за дверей, изъ-за плетней, отовсюду раздается громогласное хохотанье и раскраснѣлыя отъ удовольствія лица маменекъ и тятенекъ—и ея же собственныхъ учениковъ и учениць явятся передъ нею,—прости Господи!—не хочу сказать, чьимъ подобіемъ. Такъ, конечно, о чемъ же тутъ плакать матери и дочери, разставаясь?

Когда мы выѣхали на большую дорогу, крестъ Кунянской церкви, какъ бы прощально, на нѣсколько мгновеній поблестѣлъ мнѣ. Чего бы я ни дала, чтобы на свободѣ разстаться

съ нимъ! Не на этотъ ли путь,—думала я,—онъ, такъ часто и такъ всегда вдохновляя силой, благословлялъ меня?

Мы ночевали въ Изюмѣ; въ эту поѣздку я въ первый разъ была въ Святыхъ Горахъ; проѣхали Славянскъ — чистенькій, песчаный городокъ, похожій на военное поселеніе; о цѣлебномъ озерѣ его говорить нечего, кромѣ развѣ того, что оно цѣлебное, и спѣшили на ночлегъ къ сестрѣ генеральши, верстъ за сорокъ, на самую границу Харьковской губерніи съ Екатеринославской. Становилась мнѣ удивительна моя генеральша. Знаній никакихъ, ничего генеральскаго ни въ пріемахъ, ни въ обращеніи, переспоривается съ дѣвкой, кричитъ и указываетъ пальцемъ по городу; какъ видно, скупа, живится изъ чужого—отбираетъ у дѣвки яблоки, торгуется, слышать стыдно—какъ, за десятокъ грушъ. Проливной дождь встрѣтилъ насъ на полупути, и мы едва къ глубокой ночи, по страшной грязи и темнотѣ, по страшнымъ горамъ доползли до мѣста. Все уже спало; поднялся стукъ, крикъ; раздались отвѣтные голоса... Дорогою я разъ десять засыпала и просыпалась, и теперь, войдя въ комнату, сначала не могла различить: гдѣ я? У себя ли, въ низкомъ шалашикѣ, или въ высокихъ палатахъ Марьи Ивановны? — Но свѣча разгоралась; я сняла шляпку, перчатки, сдвинула съ глазъ напустившіеся во время дорожной дремоты волосы—и не вѣрила имъ, глазамъ своимъ! — Я находилась въ грязнѣйшей, загаженной комнаткѣ; удушливый воздухъ томилъ меня; изъ всѣхъ угловъ, кажется, десятками выглядывали зѣвающіе рты; женщина, настоящая судомойка, съ растрепанною косой, вырвавшеюся изъ-подъ растрепанной ночной повязки, едва въ однихъ башмакахъ, пришепётывала что-то вокругъ моего ученика; а въ двухъ шагахъ отъ меня стоялъ мужчина въ нагольномъ тулупѣ...

— Такъ вотъ, сестрица, значитъ, вы и пріѣхали, говорилъ онъ.

Я думала, что у меня кровь хлынетъ ртомъ и ушами. Я согласна была на Богъ знаетъ что: готова была бы принять все за одно безпокойное дорожное видѣніе; но послѣднее обстоятельство — оно было такъ возмутительно, такъ живо поражало меня всю до трепета, что отрицать эту дѣйствительность не было силъ. Господи мой, да куда же это я попала? спрашивала я самое себя,—и эта ночь не легко отозвалась мнѣ.

На другой день я еще не успѣла опомниться отъ гнетущей душу картины многочисленнаго семейства, имѣющаго только хлѣбъ чувственный, безъ силъ питанья умственнаго, или чего-нибудь нравственнаго. Мать—дура почти; отецъ—въ полосатой

чинаркѣ, прежде всего долженъ заботиться, чтобъ ѣсть было что̀, и эта забота поглощаетъ все время, всѣ силы его; а дѣти растутъ. Два мальчика уже умѣютъ приглаживаться — волосы ярко лоснятся подъ избыткомъ кваса, или маслица; а сами они сгорбились, неуклюжи, и молодые глаза тусклы, тусклы, не горятъ отвѣтомъ прекраснаго самосознанія—разумнымъ величіемъ души. Дѣвочка еще по настоящему ангелъ — ей семи лѣтъ нѣту; а она точно чертенокъ, брошенный на произволъ своихъ дѣтскихъ порывовъ. Въ часъ мѣста успѣла передраться съ четырьмя братьями, перекусаться съ ними—чуть не поскусала имъ носы; болтаетъ ногами, рветъ на себѣ волосенки, и уже теперь, какъ старый волкъ, глядитъ, щетинясь изъ подлобья. Говорю: я еще не успѣла опомниться — голова у меня шумѣла, болѣла грудь; я положила взять къ себѣ эту дрянную дѣвочку, но духъ мнѣ занималъ; мнѣ надобно было бы поплакать на свободѣ, освѣжиться, подышать чистымъ воздухомъ; а на дворѣ лилъ дождь; къ крыльцу подъѣхала старая коляска, и въ комнату вошли баринъ, барыня, барышня и еще барчукъ-гимназистъ, везомый въ Харьковъ послѣ вакацій. — Все мое встревоженное вниманіе привлекъ баринъ. Гадкій, нечесанный, незастегнутый, кажется, пять дней не умытый, весь измаранный въ грязь, въ глину, онъ удивительнымъ образомъ выступалъ. Его будто что-то метало изъ стороны въ сторону; подымалъ онъ ногу, словно пноходецъ какой, и нога у него, точно, не своя, падала, онъ откидывался на другую — та шаталась, онъ самъ весь шатался и хваталъ руками воздухъ.

— Ахъ! ему бы поскорѣе стулъ, сказала я шепотомъ генеральшѣ.—Что это? онъ боленъ?

— Нѣтъ, ничего: онъ пьянъ, преравнодушно отвѣчала она.

Я готова была повѣрить, что я сама опьянѣла, такъ вся комната у меня заходила кругомъ. Еще отъ роду я не видала пьянаго человѣка, и такъ близко. Я не знала, куда мнѣ дѣться, и жалась къ столу.

— А, ха-ха! заревѣлъ онъ къ моей генеральшѣ.—Что-жь дѣльце-то,—а? дѣльце сдѣлали?

— Да, слава Богу! отвѣчала она.

Это нѣкоторымъ образомъ касалось меня. Онъ, какъ сосѣдъ, зналъ, что генеральша поѣхала за гувернанткой, и вотъ теперь очень вѣжливо освѣдомлялся о концѣ ея дѣла.

— Ну, и хорошо, что сдѣлали; а вотъ въ Харьковѣ такъ ихъ до чертовой пропасти! сказалъ онъ, махнувъ рукой въ мою

сторону. Этого господина кто-то просилъ, когда онъ ѣздилъ за сыномъ въ Харьковъ, пріискать тамъ гувернантку.

— Ну, вотъ я и пошелъ; я говорю, что я пошелъ; ну, то-есть, я и пошелъ; а тамъ мѣсто такое—ха, ха, ха! такое называется мѣсто: дерни колокольчикъ—онѣ тебѣ и высыпали, любую выбирай. Я говорю: стой! шалишь, бабы! Дай-ка я на васъ поближе погляжу. Ну, ты, старая, поди! не нужно тебя; а ты, молоденькая, ну-ка сюда,—а?

— Что? продолжалъ онъ, обращаясь ко мнѣ и подбочениваясь.—Ну а вы... что? Гдѣ учились-то, а?

— Я молчала, не отвѣчала ни слова.

Вотъ вамъ мои путевыя впечатлѣнія и приключенія. Въ тотъ же день мы пріѣхали домой; только не прямо въ домъ, а заѣхали къ матери генеральши, которая жила въ собственномъ имѣньицѣ, въ свѣтленькомъ домикѣ, не далѣе полуверсты отъ дочери съ послѣднею своею, меньшою дочерью, только тогдашнею весною вышедшею замужъ за станового. Вотъ вамъ всѣ подробности.

И для непосвященнаго глаза какъ уже ощутителенъ переходъ изъ нашей Украйны въ предѣлы Новороссійскіе; хотя вся грань этихъ предѣловъ заключается въ одномъ столбѣ, съ золотымъ вензелемъ Екатерины II подъ короною, поставленномъ среди грязненькой, кажется, безыменной, пересыхающей рѣченки; но, какъ хотите, почти воздухъ уже не тотъ; онъ будто рѣже и съ жаркою остротой. Какъ только переѣдешь Изюмъ, сейчасъ начинаются горы, и все онѣ выше въ ту сторону; едва вступишь въ Бахмутскій уѣздъ, первый пограничный съ нами уѣздъ Екатеринославской губерніи, горы всѣ каменныя. Земля черноземъ; но онъ только оболочка — внутри камень; по дорогѣ лошадь ударитъ копытомъ — подкова пробьетъ землю и захватитъ искръ у камня; курганы огромные, и они—груда камней, едва на полъ-аршина прикрытыхъ землей.—Казалось бы, все одно степи,—но пусть мнѣ завяжутъ глаза и приведутъ незнаемо на какую степь, я отличу степь украинскую отъ степи новороссійской. Тѣ будто пустыннѣе, дичѣе, все полнѣй и полнѣй сливаются съ небомъ, и, для понявшаго тайную жизнь степей, онѣ будто безжизненны; по нимъ замѣтнѣе вѣетъ югъ: воронецъ,—царскіе кудри нашихъ садовъ,—цвѣтетъ тамъ на волѣ ярко-малиновый и даже розовый; встрѣчается пахучій тюльпанъ; но за то—въ изобиліи мелкихъ цвѣтовъ, въ густотѣ и яркихъ переливахъ травы степь новороссійская уступитъ красавицѣ

украинской. Ковыль по ней бѣлѣетъ, точно густая борода въ наросшемъ иней, и, что главнѣе всего и представляетъ любопытную странность—степи новороссійскія не разстилаются гладкимъ ковромъ, какъ милыя степи нашей Украины: онѣ всѣ въ бугоркахъ, точно какъ бы безчисленные кроты въ кои-то вѣки изрыли ихъ; но и то нѣтъ. Эти возвышенія слишкомъ велики для норы слѣпого крота; скорѣй они кажутся небольшими могилками, какъ и называютъ ихъ, и вы напрасно будете полагать, что эти могилки разбросаны какъ ни попало;—совсѣмъ напротивъ: въ ихъ размѣщеніи есть что-то правильное, даже стройное, какъ бы какой-то распорядокъ. И обиліе степей и обиліе горъ сейчасъ же обозначается ѣздой: тамъ почти никто не ѣздитъ на четверкѣ, всѣ—въ шесть лошадей. Приближеніе къ Таганрогу чувствуется по огромнымъ, сплошнымъ засѣвамъ пшеницы-арнаутки; весь другой хлѣбъ сѣется, только бы прокормиться, на одинъ текущій годъ. Вы уже нигдѣ не увидите ни плетней, ни сараевъ—ничего изъ хвороста: все сложено изъ камня; хаты строятся изъ земляного кирпича, *испеченнаго*, по точному выраженію Библіи, и даже не огнемъ, а прямо батюшкой-солнцемъ. Вмѣсто вереи въ воротахъ можете встрѣтить образчикъ домашней скульптуры: каменнаго дѣда, или русскую бабу въ кичкѣ; ручные жернова въ каждомъ домѣ; алебастровыя ямы на каждомъ шагу,—того и гляди, что попадешь въ какую-нибудь; обозы съ каменнымъ углемъ, съ пшеницей; жиды съ пейсиками; табуны лошадей; скотъ сѣрый, приземистый, широкобокій, съ перваго вида отличный отъ нашего; но за то вода — въ водѣ уже чувствуется недостатокъ. Рѣченки въ чрезвычайно крутыхъ берегахъ, совершенныхъ обрывахъ, и почти всѣ пересыхаютъ лѣтомъ, и по нимъ-то, словно кулики, сидятъ и тѣснятся помѣщики по два и по три, иногда и болѣе на одной верстѣ.

Рѣчка, на которой сидѣла моя генеральша Грекова съ цѣлымъ рядомъ Лукьянчиковыхъ, Соколовыхъ, Клемовыхъ и пр., носила наименованіе рыбы, а именно „Плотицы“, и совершенно по праву: потому что, кромѣ плотицы въ вершокъ, въ ней ничего не водилось, да и негдѣ было. Общность мѣстоположенія иной бы нашелъ превосходною. Затишье; по обѣимъ сторонамъ тянутся неперерываемыя окраины горъ—и пологіе скаты, разлужины—мѣста богатѣйшія для льна, для конопли; косогоры для бакчей, для самой арнаутки—все такъ; да не лежитъ моя душа къ этимъ замкнутымъ видамъ. Заслонили тебѣ Божій міръ съ цѣлыхъ двухъ сторонъ, и сидишь какъ въ тюрьмѣ, и вѣтра нѣтъ! Жди

его, пока прорвется въ оставленную расщелинку. И что это за горизонтъ?—тянется, какъ башмачная ленточка. Небо такое, что глазъ хочетъ смотрѣть и видитъ его *все*... Нѣтъ, мнѣ давай неба, чтобъ душа утонула! чтобы глаза смотрѣли, смотрѣли и, усталые, даже закрылись, а небо все раскрывалось бы передъ ними, все необозримо обнимало землю со всѣхъ четырехъ сторонъ ея. Я могу быть довольна всѣмъ—самымъ малымъ, и не попрошу больше, но если ужь мнѣ давать ширь и просторъ, такъ давать ихъ! Чтобы ширь была ширью, и просторъ просторомъ, и небо, какъ царь, владѣло надо мною, всю поглощая мысль и необъятно пробуждая чувства. Я, можетъ-быть, лучше согласилась бы совсѣмъ не видать неба, нежели смотрѣть на лохмотокъ его, приклеенный къ лысой макушкѣ приземистыхъ горбинъ.

Но частности были несомнѣнно прекрасны. Представьте себѣ настоящій островокъ и совсѣмъ не маленькій, а большой островъ; Плотица когда-то самовольно кружилась и обходила его со всѣхъ сторонъ; теперь она запружена и на передовой чертѣ длинно разлилась, наполнилась; на ней два мостка, шумитъ крошечная мельничка, и весь островокъ въ два ряда обсаженъ кругомъ вербами и вербами. Я не воображала себѣ такихъ исполинскихъ, такъ неизобразимо высокихъ вербъ! Безъ сомнѣнія, купаясь своими корнями въ Плотицѣ, онѣ до того выросли, что право, не лгу—ни на какой головѣ не удержится шляпа, если посмотрѣть на верхушки ихъ; я становилась на колѣни, чтобы хорошенько полюбоваться ихъ засеребренными кудрявыми маковками. И какъ это онѣ живописно расположились! Вотъ, что ни верба, то вновь созданная картинка.—Иное дерево, право, какъ усталое, до воды опустило всѣ свои вѣтви и будто отдыхаетъ и пьетъ каждымъ трепетнымъ листочкомъ; другое—мощное, какъ великанскую, жилистую руку, отбросило одну устарѣлую вѣтку—черпаетъ и черпаетъ ею текущую воду; вѣтерокъ чуть шелеститъ; еще верба, какъ красавица, стройна и легка; думается и кажется: „Что ей наша земля? Она уносится къ высокому небу“;—а прелестная вербочка изъ-подъ неба наклонила головку и какъ мило кокетничаетъ въ струйкахъ Плотицы! Да можно ли переговорить о всѣхъ? На иную посмотришь: вся въ вѣточкахъ, курчава — ну, точно хорошенькій мальчикъ—въ завиткахъ головка; та будто грустна, та словно игриво стоитъ, та чего-то наклонилась; другая совсѣмъ перегнулась и почти легла; на коренистомъ изгибѣ колотятъ бѣлье,—и звучный отголосокъ валька, прохлада и тѣнь, и

межь зелени и темныхъ стволовъ Плотина блеститъ и играетъ на солнышкѣ, какъ настоящая соимянница-рыбка.—Домъ безъ лишнихъ затѣй, красиво деревенской, прочной постройки, преудобно расположенный почти на два отдѣльныхъ дома.—Старикъ-отецъ строилъ его въ надеждѣ, что два его сына, двѣ семьи уживутся подъ одною кровлей,—и онъ сдѣлалъ посреди, мѣстомъ общаго, родного соединенія, длинную, просторную гостиную; по обѣимъ сторонамъ ея небольшія залы — каждая съ своимъ выходомъ, съ одинаковою прихожей и съ двумя одинаковыми кабинетами: одинъ окнами на Плотицу—во дворъ; а другой — въ садъ. Но сыновья померли; отъ одного только осталась вотъ эта вдова съ изувѣченнымъ ребенкомъ; отецъ, почти осьмидесятилѣтній старикъ, въ заклятой враждѣ съ невѣсткой, ведетъ дѣло съ внукомъ,—и домъ, такъ уютно распредѣлявшійся для патріархальной полноты семейной жизни, былъ пустъ: и всѣхъ-то насъ съ чужесемейными было въ немъ четверо, если считать и племянницу съ мужниной стороны, грустное существо, несущее всю жизнь клеймо позора за вины другихъ.

Генеральша моя, занимая съ сыномъ одну половину дома, отдала другую въ полное мое распоряженіе. Изъ залы я сдѣлала нашу классную; кабинетъ во дворъ уступила своей тёзкѣ, свѣже-бѣленькой, кроткой мученицѣ-ключницѣ — Надеждѣ Ивановнѣ; а комната въ садъ осталась за мной... О, моя милая комнатка! какъ живо она помнится!—Настоящая келейка: одно окно; крошечная лежаночка, чтобъ только поставить рукомойникъ и всплеснуть живой воды на сонное лицо; моя маленькая постелька вся въ бѣломъ; цѣлый уголъ иконъ, и лампада горитъ, теплится день и ночь,—и какъ здѣсь свѣтло чувствовалось, какъ глубоко молилось! Яблонь нагнулась и смотритъ въ окно; сама захочешь посмотрѣть въ него,—и темная, нависающая сѣнь деревъ встрѣчаетъ тебя неизобразимымъ взглядомъ тайны и сумрака; даль странно наполняется; вся грудь трепетно дышетъ подъ ощущеніемъ какого-то заманчиваго, суевѣрнаго страха. Возлѣ окна столикъ, лежитъ Библія съ розовою закладкой; нѣсколько грушъ и душистыхъ яблокъ и на закручинкахъ стариннаго зеркальца два вѣнка, двѣ прелестно-идиллическихъ коронки свитыя и перевитыя изъ чудно-длинноостистыхъ, золотыхъ колосьевъ пшеницы — и колосья нарядно поопустились, блестящія ости дрожатъ и вся коронка алѣетъ, унизана кругомъ красною ягодой шиповника. Это праздновался *отжинъ*— окончаніе жатвы, и женщины принесли на поклонъ барынѣ и

барину по вѣнку изъ колосьевъ; вѣнки поступили ко мнѣ, какъ къ сердечной цѣнительницѣ всего прелестно-милаго, то-есть, изящнаго. Я забыла сказать, что кругомъ всего дома шла каменная, изъ сѣрыхъ тесанныхъ плитъ, открытая галлерея, коегдѣ поросшая въ расщелинахъ мхомъ.

И сѣни расширялъ густыя
Огромный, запущенный садъ,
Пріютъ задумчивыхъ дріадъ. [1]

Послѣ двойнаго ряда вербъ онъ былъ обсаженъ, одинъ возлѣ одного, кустами калины: кусты удивительно разрослись; красныя ягоды горятъ, какъ жаръ; хмѣль раскидался по нимъ; задорно перемѣшалъ свои кисти съ чужою ягодой и повисъ кругомъ сѣтями и узорами.

Такова была небольшая рама, въ которую судилъ Господь вставить мою учительскую дѣятельность. Генеральша моя,—хорошенькая бѣдная дѣвушка, выданная за пзможденнаго пьянаго, полчище всѣхъ болѣзней, трехсотъ-душнаго сосѣда,—моя генеральша была вовсе не генеральша, а нѣсколько пониже—жена хорунжаго. Почему монашенка пожаловала ее въ генеральши—не могу понять; но это было причиной, что я дала себѣ обѣтъ: никогда и никого не величать громкими титулами, пока я точно не дознаю, что они вполнѣ принадлежатъ лицу. И вотъ почему вы вначалѣ получали мои письма съ адресомъ: *высокоблагородію*. Меня бросало въ жаръ и холодъ, волосы двигались на головѣ, когда я только вздумывала: за что должна была принять Грекова мое пышное величаніе?—Не за одно ли въ высшей степени смѣшное, гадко-низостное желаніе подольститься?—Нѣтъ, я лучше хотѣла дать вамъ право винить меня въ провинціальной глупости, но не въ низости!

И такъ, я была гувернантка! Не говорю, чтобы не дико въ первые разы отзывалось въ ушахъ это нарицанье,—уши румянились. Но я положила себѣ: изгнать эту глупую краску. И зачѣмъ она? Что мнѣ постыднаго, если отецъ или мать отдаетъ мнѣ на руки дитя свое?—мнѣ, чужой и молодой, передаетъ всѣ права свои надъ нимъ, и я дѣлаю для него то, чего не въ силахъ сдѣлать ему ни мать, ни отецъ его?—Это не стыдъ, а честь и уваженіе. Но—кто не уважаетъ самъ себя, тотъ не стóитъ, чтобы его уважали другіе! Кто изъ насъ захотѣлъ понять до-

[1] Изъ „Онѣгина“, гл. II строфа I (*С. П.*).

стоинство этого дѣла? Присвоивая себѣ права его, подумалъ ли кто вникнуть въ ихъ высокую силу? Ни мало. Мы и изъ этого, какъ сплошь изо всего, сдѣлали одинъ низкій торгъ и только прибавку къ милліоннымъ средствамъ понабрать денегъ. Такъ будемъ же и брать ихъ, не разглагольствуя жеманно о какой-то чести и будто бы обиженномъ достоинствѣ, когда и та, и то смиренно себѣ лежатъ въ нашемъ кошелькѣ.—Нѣтъ, имѣйте силу и даже свѣтлую горделивость показать, кто вы.—Не наемный рабъ, стыдящійся своего продажнаго рабства, а вы поймите, что вы благородный дѣлатель на духовной нивѣ—и идите смѣло, идите прямо, вынося на себѣ печать безукоризненнаго долга; не побойтесь только громко назвать себя, и увидимъ, кто возьмется тогда обидѣть васъ... Вотъ примѣръ самый пустой; но онъ можетъ указывать на многое.—Подъ Успенье поѣхали мы, какъ говорятъ мѣстами въ Курской губерніи, *братъ праздникъ* у родственницы по мужу—Депрерадовичъ, дамы хотя слѣпой, но важной, и застали тамъ другую, еще важнѣйшую особу: богачку, тонную такую — madame Хлопову. Хотя Пелагея Васильевна была вовсе не подъ-стать ей и знала-то ее только по этому дому, но что вы хотите съ деревенскою привычкой: дѣлать выставку изъ всѣхъ своихъ чадъ и домочадцевъ? Она подводитъ меня рекомендовать—и попала въ затруднительное положеніе. Назвать меня прямо своею гувернанткой, она понимала, что это довольно жестко, совѣстилась и перебирала всѣ имена: и наставница, учительница, и воспитательница—и не оканчиваетъ ни одного, замѣшалась въ нихъ. Я поспѣшила вывести ее изъ затрудненія—говорю: „Пелагея Васильевна, позвольте мнѣ самой рекомендоваться. Я—гувернантка вотъ ихъ сына,“ сказала я, поворотясь къ madame Хлоповой.—Она такъ посмотрѣла на меня, отклонила даже голову и потомъ взяла меня за обѣ руки. „Очень пріятно“, сказала она. „Cathérine“, подозвала она свою дочь,—„вотъ mademoiselle-гувернантка, какъ ей угодно было назвать себя. Надѣюсь, что ты постараешься сдѣлать короче это знакомство“

Я начала заниматься по-институтски: отъ 8 часовъ до 12 и отъ 2 до 6. Нѣтъ, право, это всякій испыталъ, что, въ какомъ хотите, дѣлѣ—работѣ, все равно, какъ въ добродѣтели, есть своя сокрытая награда,—что-то сладостное, наполняющее душу такимъ милымъ довольствомъ и даже веселостью среди самой грусти. Только я не долго тоскливо грустила. Мысль, что *„и моего здѣсь капля меду есть“*, была слишкомъ живительный лучъ,

чтобы не осушить слезъ и не придать свѣтлаго мира затуманившейся душѣ. Я находила все въ моихъ занятіяхъ: милый долгъ и отраду, даже будто ласки моей маменьки, — нѣжную, всегда сердечную ласку своей неоцѣненной тетеньки. Одного было жаль: зачѣмъ у меня былъ ученикъ, а не ученица? Что, если бы это была дѣвочка—о, съ Божьей помощью я сдѣлала бы изъ нея чудо - дѣвочку. Надобно сказать, что у меня есть способность, или, можетъ-быть, привычка къ ученію. Еще въ институтѣ, съ самаго перехода въ третій классъ, я уже занималась въ младшихъ классахъ на мѣсто заболѣвшихъ или отлучившихся куда-либо дамъ. Несмотря даже на мой нѣсколько жаркій характеръ, какъ принадлежность полной брюнетки, я обладаю бездоннымъ терпѣніемъ учить a, b, c, d. И теперь я хотѣла учить вполнѣ по словамъ Апостола: *„не предъ очами только работающе, какъ человѣкоугодницы; но, какъ раба Христова, творящая волю Божію отъ души“*. [1] Я была уже не первая; были здѣсь и мамзели, и мадамы и даже два учителя; а ребенокъ все оставался безъ всякаго ученія и безъ родной грамоты. Пелагея Васильевна, сама едва умѣя писать, всегда въ хлопотахъ по хозяйству; съ ранняго утра уѣдетъ въ поле и только вернется къ обѣду, и послѣ обѣда также почти до самаго вечера.—А вы что же дѣлаете?—спрашивала я у своего Вани.—„Да мамзель такая-то примѣриваетъ платья да перешиваетъ; мадамъ Жоржъ ляжетъ на постель и куритъ трубку; студентъ семинарскій лѣпитъ изъ бумаги харьковскія каланчи, а еще одинъ господинъ нацѣпитъ ружье и отправится въ садъ и по деревнѣ стрѣлять воробьевъ и непремѣнно хочетъ убить сороку, чтобы повѣсить въ конюшнѣ: а то домовой ѣздитъ ночью на лошадяхъ, а тогда уже онъ будетъ ѣздить на сорокѣ“ Нѣтъ, я положила себѣ ѣхать другимъ образомъ. Однажды и навсегда я сказала своему ученику, что скорѣй я ему позволю какую-нибудь шалость и не во-время разсѣянность при матери, но безъ нея, чтобы онъ это зналъ: ни онъ, ни я, мы не тронемся, не пошевельнемся съ нашихъ мѣстъ, пока установленное время не изойдетъ до послѣдней минуты, до одной секунды! У Пелагеи Васильевны была прекрасная привычка дочерней любви и замѣчательнаго почтенія къ матери. Куда бы она ни ѣхала:—въ гости ли, въ городъ по дѣламъ, по хозяйству ли,—дорога ея всегда лежала мимо матерняго крыльца. Она непремѣнно заѣдетъ

[1] Ефесеямъ VI, 6. (*С. П.*).

ѣхавши и непремѣнно возвращаясь. Это до того было всегдашнимъ, неперемѣняемымъ дѣломъ, что людямъ даже не говорилось: они уже сами знали, куда должно ѣхать. И старушка— (обвязанная, обкутанная, и въ августѣ мѣсяцѣ въ мѣховой шапкѣ; дай ей Богъ здоровье, если она жива) — сама старушка почти каждый день навѣщала насъ: обѣдывала и такъ пріѣзжала; а на вечерній чай мы уже отправлялись къ ней. Пелагея Васильевна уѣдетъ раньше и приглашаетъ меня поскорѣе окончить уроки; я не сдѣлаю этого. Я непремѣнно продлю ихъ четвертью, цѣлымъ получасомъ болѣе: мнѣ такъ хочется въ тетрадкѣ своего поведенія подъ графой объ исполненіи обязанностей поставить себѣ самый полный институтскій шаръ—*3* съ вездѣ благодатнымъ крестомъ.

Такимъ образомъ проходилъ мѣсяцъ. Ученикъ мой уже безошибочно умѣлъ отличить *т* отъ *м* на какой угодно страницѣ: училъ катихизисъ, священ. исторію, русскую исторію, географію, то-есть, географическій обзоръ; ариѳметику, грамматику; училъ нѣмецкую азбуку, рисовалъ носы, начиналъ почитывать по-французски и, чтобы привыкать къ разговору, сейчасъ же выучилъ необходимыя общепринятыя фразы во вседневномъ употребленіи, и, видѣвши, какъ онъ понимаетъ, что ни скажутъ ему, и отвѣчаетъ безостановочно, можно было подумать, что онъ успѣлъ неимовѣрно, и точно успѣхи были очень порядочные въ писаньи. Я спрятала первую страницу, написанную имъ, какъ только я пріѣхала, и едва черезъ три недѣли нельзя уже было найти ни тѣни малѣйшаго подобія. Онъ писалъ теперь чистымъ, ученическимъ почеркомъ; по крайней мѣрѣ, человѣческою рукой, вмѣсто какъ бы сорочьяго скаканья подъ упряжкой домового.

И сказать ли вамъ, какъ мнѣ хорошо было? Я всю жизнь свою не хотѣла бы быть болѣе любимою, болѣе обласканною, чтобы меня болѣе этого нѣжили и баловали. Мнѣ смотрѣли въ глаза, чтобы узнать: не хочу ли я чего? Ходили на цыпочкахъ, когда я спала. Войду ли я въ садъ—садовникъ за версту снимаетъ шапку, улыбается будто отъ удовольствія какого и тащитъ ко мнѣ цѣлую корзину. „Вотъ это яблочко, барышня, сладенькое, вотъ эту-съ грушку“ Ему будто жаль, что я не могу забрать всего. „Да что-жь такъ мало изволите? Вотъ пожалуйте-съ, я вамъ приготовилъ“ И ведетъ меня къ какому-нибудь затаенному кусту въ хмѣлевыхъ завиткахъ, достаетъ оттуда безподобнѣйшія дули, бергамоты, самыя отличныя сливы венгерскія, французскія. Каж-

дый день у меня букетъ чудеснѣйшей ежевики, крупнины необычайной—почти въ наперстокъ. Я предложу его Пелагеѣ Васильевнѣ. „Вѣдь, вотъ скажите!—восклицаетъ она. Для васъ такъ все есть; вы, право, счастливыя, и ежевика есть; а я сколько ни говорю этому дрянному Степану—все нѣту, да нѣту“ А мнѣ говорили, что я воспитываю не только сына, но и мать, что я совсѣмъ переучила Пелагею Васильевну. Не знаю, какимъ способомъ это могло случиться, тѣмъ болѣе, что я не употребляла никакого, но точно, судя по прежнимъ слухамъ, Пелагея Васильевна была неузнаваема.

Можно ли было повѣрить, что она морила голодомъ свой ученый факультетъ, держала его почти на однѣхъ щахъ и кашѣ, когда мнѣ на завтракъ готовились соусы? Я не пью кофе, а Пелагея Васильевна не завтракаетъ, и, когда ей въ десять часовъ подавался кофе, мнѣ одной готовился полный завтракъ съ икрой и съ балыкомъ. Ей какъ угодно: она ѣстъ съ яблоками молоко; а мнѣ подаютъ самыя густыя сливки; мнѣ пекутся къ чаю особеннаго рода на сметанѣ крендели, и даже ставится особый самоваръ. Началась молотьба пшеницы, Пелагея Васильевна подымалась рано, пила наскоро чай съ своею семьей и отправлялась до кофе и до обѣда на токъ. Я тоже хотѣла вставать поранѣе, чтобы пользоваться прощальными утрами лѣта; но моя добрая Пелагея Васильевна и раза не дала мнѣ исполнить. Едва только замѣтитъ, что дѣвушка моя собирается открывать окно—не позволитъ и строго-на-строго запретитъ. „Нѣтъ, нѣтъ, чтобы ты и не думала! Не буди Н. С., пусть ее почиваетъ, пока сама не проснется“ И, пока я сама проснусь, самоваръ давно потухъ, чай перекипѣлъ уже и простылъ—и мнѣ подается другой самоваръ и другой чай. Это хотя бы для кого составило счетъ: на четыре человѣка семьи два разныхъ чая; а тутъ еще надобно вспомнить, что Пелагея Васильевна была скупа.

Взятая изъ недостаточнаго домика, она не умѣла распорядиться пришедшимся довольствомъ; не знала, съ какой стороны приложить руки къ нему. Все ей казалось великимъ; она хваталась за все сама и, какъ обыкновенно водится съ такими хозяйками, гналась за полугнилымъ яблокомъ и теряла сотни ихъ свѣжихъ—сберегала рублемъ копѣйку.—Но мнѣ грустно говорить объ этомъ: на себѣ я не испытывала и тѣни чего-нибудь подобнаго. Пелагея Васильевна была такъ ласкова, внимательна ко мнѣ, что ни далѣе, тѣ болѣе; предупредительна до всякихъ мелочей, даже вѣжлива до комплиментовъ. Иногда, случится, она

уѣдетъ къ матери и забудетъ заказать ужинъ: поваръ, чтобы не ходить, отнесется ко мнѣ. Я ему прикажу и, пріѣхавши, говорю Пелагеѣ Васильевнѣ, что вотъ я заказала то и то, спрашиваю, не будетъ-ли она въ претензіи, что я немножко похозяйничала, вмѣсто ея? И надобно было видѣть, какъ она благодаритъ меня, береть мои руки: — „О, моя милая хозяечка! что вы ни сдѣлаете, все будетъ прекрасно.“ — Точно, какъ бы она уважала меня; боялась, чтобы я не подумала о ней что-нибудь нехорошо.—Черезъ ея деревню былъ проходъ войскамъ. и, значитъ, въ случаѣ нужды, требовались подводы. Пелагея Васильевна не могла покориться этой общественной необходимости. Что ни требованіе, то новые часы шуму и споровъ. Тогда возвращались съ компаментовъ безсрочные, и иногда бывали нужны подводы подъ больныхъ, Пелагея Васильевна моя выходила изъ себя. Обыкновенно этого рода состязанія совершались раннимъ утромъ; на крыльцѣ, при цѣлой аудиторіи дѣвокъ и лакеевъ, составляющихъ позади очень живописное полукружіе. Пелагея Васильевна кричитъ и переспаривается съ солдатами; а между тѣмъ безпрестанно спрашиваетъ: встала ли я? не проснулась-ли? Когда только ей скажутъ, что я встала, или хотя проснулась—позвала дѣвушку, она сейчасъ же бросаетъ все и, не доспоривши, уходитъ прочь.—Разъ какъ-то въ жару она просмотрѣла меня, такъ что я прошла мимо и, по обыкновенію, спустилась гулять въ садъ. Когда потомъ она спросила и ей сказали, что я уже въ саду—она покраснѣла до чрезвычайности и сейчасъ же ушла въ комнату, выславши черезъ дѣвку сказать: чтобы подавились ими! а брали подводы.

Но, кажется, избыткомъ всего этого я была много обязана матери Пелагеи Васильевны. Это была одна изъ тѣхъ добрыхъ, прекрасныхъ старушекъ, которыхъ свѣтлый, прямой умъ не туманится съ лѣтами, а все кротче и нѣжнѣе выясняетъ имъ предметы жизни и почти невольно ставитъ ихъ простой взглядъ на высоту самаго образованнаго пониманія и созерцанія въ дѣлѣ жизненныхъ встрѣчъ и случаевъ. Надобно было только видѣть, какъ эта простая неученая старушка была утонченно вѣжлива, въ высшей степени благородна въ обхожденіи со мной! Она полюбила меня съ тѣмъ милымъ пыломъ и маленькимъ ослѣпленіемъ, къ которымъ способно только сердце шестидесятилѣтнихъ старушекъ, балующихъ и иногда любящихъ равно своихъ кошекъ и своихъ внучковъ. Надежда Ивановна много разъ была свидѣтельницей, какъ она обнимала и упрашивала Пелагею Ва-

сильевну: „Поличка-жь ты моя! да береги-жь ты ее, другъ же ты мой! Да это-жь ангелъ, не дѣвушка [1]. Да такой же ни у Депрерадовича—предводителя, ни у кого-жь-то нѣту такой!“ — Старушка готова была вѣрить, что въ цѣломъ бѣломъ свѣтѣ другой нѣту такой. Когда я у ней, мало того, что она заботится и ухаживаетъ за мной, какъ за небывалою гостьей, она не спуститъ глазъ съ меня. Хожу-ли я, говорю-ли, куда я ни поворочусь—она туда же поворачиваетъ свою тяжело-окутанную голову, водитъ за мною глазами съ такою милою улыбкой, какъ бы она хотѣла поцѣловать меня за мое каждое слово, за движеніе. Пріѣдетъ она къ намъ—она не видастся съ-первою дочерью, или чтобы она поцѣловала перваго внука—нѣтъ; она прежде протягиваетъ обѣ руки ко мнѣ; идетъ въ мою комнатку; ей лучше тамъ и теплѣе; и пахнетъ тутъ, и голова у ней менѣе болитъ; да это маленькій раечекъ, въ которомъ бы она жила и жить бы ей все хотѣлось! И моя маленькая комнатка сдѣлалась главнымъ сборнымъ мѣстомъ дома. Сюда сходились всѣ; подавали сюда чай; тутъ сидѣли въ дождливый вечеръ, играли въ карты. Если я останусь послѣ обѣда въ гостиной—ну, и всѣ остаются; но только я уйду къ себѣ—мало-по-малу и всѣ соберутся ко мнѣ же. У меня не было получаса, что-бы можно было назвать свободой—не затаённымъ вздохомъ, бытьёмъ наединѣ; а я же такъ привыкла къ жизни сама съ собой: къ переливамъ мечты, къ лёгенькому раздумью; да и мои поэтическія работы... неужели, же бросить ихъ?—О, нѣтъ, нѣтъ!—говорила вся кровь во мнѣ, вся моя маленькая сила. Но, опять, неужели же дать почувствовать, что я тягощусь этими посѣщеніями, этою неотступностью расположенности?—И это: нѣтъ. Не стоитъ тотъ любви, кто не умѣетъ цѣнить ея мелочныхъ выраженій. Я придумывала, какъ бы согласить обѣ эти вещи,—и мнѣ ничего болѣе не оставалось, какъ отнять у сна и у ночей половину часовъ ихъ и обмѣнять сладость покоя на сладость задушевной работы. Такъ было и рѣшено; а между тѣмъ меня занимала порядочная странность. — Кругомъ столько сосѣдей, и такихъ близкихъ, а вотъ я живу почти мѣсяцъ и, кромѣ толстаго купца на арнаутку, да еще одной „незавязанной“ барыни, которая пріѣзжала въ церковь:—чепчикъ подъ шляпкой развя-

[1] Я повторяю чужія слова; но, замѣтьте, что не утверждаю ихъ. Не говоря уже о вовсе не лучезарной наружности—у меня есть свои вспышки, которыхъ, навѣрное, нѣтъ у ангеловъ.

занъ, сама шляпка не завязана, крючекъ у манто не застегнутъ, воротничекъ у манишки не застегнутъ, платокъ расколонъ виситъ, и даже пуговки у рукавовъ не закинуты на петельку—рукава мотаются,—кромѣ этой пары, я никого не видала, и сами мы, какъ *взяли Успенье* у Депрерадовичъ, нигдѣ больше не были; хотя Пелагея Васильевна, нѣжно заботясь обо мнѣ, чтобы я не соскучилась, и говоритъ безпрестанно о выѣздахъ, однако-жь, это нимало не создаетъ ихъ. Мы сидимъ и никого не видимъ, а у матери, которую бы, кажется, и лѣта и самое состояніе могли бы избавить отъ посѣщеній, у матери гости бываютъ, и даже довольно часто. Пройдетъ день, другой, тамъ пріѣдешь и вѣрно застанешь кого-нибудь.

На такой точкѣ находились дѣла у меня, когда въ сентябрѣ, въ первыхъ числахъ, маменька поѣхала въ Изюмъ и заѣхала къ нашему знакомому. Онъ встрѣчаетъ maman первыми словами: „А знаете-ли вы, Варвара Григорьевна, кому вы отдали свою Н. С.?“—Маменька обомлѣла.—„Ей Богу, ничего не знаю!“—говоритъ она. „Да развѣ вы что-нибудь знаете?“ и разсказала, какъ все случилось.—„Такъ вотъ же вамъ что̀,—отвѣчалъ нашъ знакомый.—Самъ я ничего вамъ не буду говорить, а ступайте вы прямо въ Бахмутъ,—я вамъ дамъ письмо. Отыщите тамъ письмоводителя предводительскаго и поѣзжайте къ нему на домъ; у него свой домъ. Это мой другъ и пріятель, мы и женились вмѣстѣ; онъ вамъ будетъ безъ души радъ,—и вотъ я пишу къ нему, а вы и сами попросите, чтобы онъ разсказалъ вамъ все объ этой женщинѣ. Ему не знать нельзя: онъ у предводителя за своего; а предводитель—Депрерадовичъ это по матери родной дядя ея мужа. Поѣзжайте съ Богомъ.“—Маменька въ ночь выѣхала изъ Изюма, а черезъ день уже ѣхала въ Бахмутъ. Тамъ она поступила, какъ ей сказывали, отыскала означеннаго письмоводителя, отдала письмо; ей, точно, до чрезвычайности были рады, не пустили изъ дому. Маменька, разумѣется, поставила на видимость, что это не какое-нибудь пустое любопытство, а самая крайняя необходимость,—и письмоводитель, послѣ нѣкоторыхъ уклонокъ, рѣшился высказать все: что „это женщина—безъ всякаго уваженія въ обществѣ, доказательствомъ чему можетъ уже служить то, что предводитель такой близкій родня ей, и она никогда у него не бываетъ, ни онъ у ней никогда“ Ахъ! Богъ проститъ и забудетъ, а люди никогда!

Рано утромъ, мы еще едва успѣли встать, какъ вдругъ вбѣгаетъ моя Ефросинья, вскрикивая: „маменька пріѣхала!“ Маменька

уже успѣла проѣхать отъ Бахмута двадцать верстъ по ужасной грязи. Въ первую минуту, какъ мы остались однѣ, maman объявила, что беретъ меня; но не сказать же Пелагеѣ Васильевнѣ настоящую причину? И маменька придумала, что будто за меня сватаются жѐнихи, и очень выгодные: такъ что она этою осенью непремѣнно думаетъ отдать меня.—Бѣдная Пелагея Васильевна была, что называется, поражена. Она сейчасъ же уѣхала къ матери; воротилась заплаканною; пріѣхала мать—и старушка плакала; упрашивали маменьку, меня,—и что мнѣ грустнѣе всего было: онѣ, видимо, догадывались о настоящей причинѣ. Но маменька и тѣни обиднаго вида не показывала; она стояла на одномъ: что нельзя же лишить меня моего счастья, и, кто знаетъ, представится-ли еще другой случай такой?—„Такъ лучше бы вы къ намъ не пріѣзжали! и мы бы васъ не знали! Мы не жалѣли бы теперь такъ!“ говорила старушка, плакала и крестила меня; я сама плакала,—и такимъ образомъ мы разстались.

Я была гувернанткой ровнёхонько мѣсяцъ: выѣхала изъ дома 8 августа, а уѣхала отъ Пелагеи Васильевны 8 сентября.—Марья Ивановна даже вскрикнула, когда увидѣла меня, и *поцѣловала* въ лобъ. — „Ахъ, душенька моя, воротилась!“ Но когда я возвращалась мыслію къ минувшему мѣсяцу, мнѣ, было жаль его. Онъ былъ тоже, что въ моей институтской жизни регенство Альмъ. Та же свѣтлая самостоятельность; еще большее сознанье себя и полная работа силъ, и я была такъ довольна собой, такъ глубоко довольна.

Теперь надобно было искать другое мѣсто, и оно, повидимому, сейчасъ нашлось. Пріѣзжаетъ къ Марьѣ Ивановнѣ поселенный полковникъ изъ г. Чугуева и, почти за первымъ словомъ, разсказываетъ, что онъ въ страшныхъ заботахъ и, можно сказать, въ горѣ: гувернантка его вышла замужъ, и онъ никакъ не отыщетъ другой. Вы легко повѣрите, что ни Зеленскій, ни Марья Ивановна не жалѣли словъ для похвалъ мнѣ, и полковникъ былъ до чрезвычайности радъ: ручательство Марьи Ивановны, какъ незыблемая печать, лежало на всѣхъ моихъ величайшихъ достоинствахъ и превосходствахъ. Окончательное рѣшеніе дѣла остановилось за тѣмъ, что жена полковника ѣздила въ это время въ Полтаву навѣстить сыновей, и онъ, очень естественно, хотѣлъ подождать ее, чтобы сказать уже послѣднее слово.—Развязка этой траги-комедіи происходила при Зеленскомъ. Пріѣзжаетъ жена; полковникъ бьетъ въ ладони и на порогѣ же восклицаетъ:—„Я тебѣ, душенька, радость скажу! Мы нашли гу-

вернатку, да еще какую!“—и начались описанія. Полковница всплеснула руками.—„А что же это я сдѣлала! разсказываетъ она. А я остановилась вчера въ Харьковѣ, ко мнѣ пришла нѣмка какая-то, француженка-ли, я и договорила ее и задатку двѣсти рублей дала“

Поѣхали мы съ Маріей Ивановной въ гости. У родныхъ ея застаемъ ихъ общую родственницу, милую, веселую, добрую такую—Татьяну Николаевну Гашинскую. По своей ласкающей внимательности ко всѣмъ, она занялась очень и мною. Мы прожили тутъ сутокъ двое. Марья Ивановна взяла обѣщаніе съ madame Гашинской, что она заѣдетъ къ ней, и Татьяна Николаевна заѣхала, осталась ночевать и упросила, чтобы я перебралась въ ея комнату. Мы долго сидѣли, шутили; она куритъ пахитосы и безпрестанно меня потчуетъ ими: и какіе душистые! и что за наслажденье!

— Вѣрю, Татьяна Николаевна, сказала я, — и запахъ слышу; да, вѣдь, я человѣкъ положительный. Что мнѣ ваши наслажденія лёгенькимъ дымкомъ? Вы бы лучше сдѣлали, если бы попотчивали мѣстомъ въ гувернантки.

Она сейчасъ же со всею своею любезною обязательностью взялась за это и указала мнѣ на мѣсто у своей двоюродной сестры, предводительши Кунянской. Хотя тамъ была гувернантка, но, по словамъ Татьяны Николаевны, такъ себѣ, дрянненькая, и сестра давно уже хотѣла развязаться съ нею; но вся остановка была за тѣмъ, что въ виду никого не имѣлось, а теперь Татьяна Николаевна бралась услужить сестрѣ и мнѣ, сама хлопотать и устроить все. И въ скорѣйшемъ времени я получила увѣдомленіе, что дѣло слажено; цѣна, помнится, полторы тысячи; предводительша сама писала, прося увѣдомить, если я буду согласна: прислать ли за мною экипажъ, или я сама пріѣду?

Кажется, дѣло было съ концомъ, какъ говорится, а очутилось оно вовсе безъ конца.

Предводитель во все это время былъ въ рекрутскомъ присутствіи и ничего не зналъ, что дѣлается дома; воротившись, онъ потребовалъ свою первую гувернантку назадъ и очень коротко отказалъ мнѣ. Отыскалось было еще мѣсто на Дону, но тамъ ребенокъ умеръ.

— Mais c'est une fatalité! говорила Марья Ивановна.

— Не хочу, maman, сказала я.—Не буду искать мѣста. Это ужь, видимо, Богу не угодно. Ну, какъ? бьешься—бьешься; вотъ,

кажется, совсѣмъ настигаешь—и ничего нѣтъ, и все отъ тебя улетаетъ, какъ дымъ.

И Зеленскій вскорѣ отошелъ. Я осталась безъ гувернантства и безъ книгъ—съ однѣми мечтами да роемъ вымысловъ, да съ „Западнымъ Шмелемъ“ Марьи Ивановны.

Что-жь мнѣ было теперь дѣлать?—Писать, что-жь болѣе? У меня было столько грустнаго простора дня и часовъ, что нужна была вся полнота души, чтобы покрыть это пустынное поле. Мнѣ было грустно; была зима, наступилъ Великій Постъ,—и я писала много и даже довольно скоро. „Графиню Д.“ я написала въ двѣ недѣли. Было написано еще пять повѣстей и еще начата повѣсть; да что было дѣлать съ ихъ разноцвѣтною гурьбой?

Мои сплошныя неудачи во всемъ—не говорю: чтобы возбуждали ропотъ,—нѣтъ, я не роптала, но мнѣ была тяжела мысль о всякой попыткѣ: она мнѣ казалась новымъ шагомъ къ безнадежности. Но неопредѣленность, невѣрность положенія,—это тоже не въ моемъ духѣ. Мнѣ—хорошо, худо ли—только дайте знать ясно, не томите душу. Я совершенно вѣрила и вѣрю, что судьба человѣка исходитъ отъ Бога, но это не даетъ намъ лѣниваго права не заботиться самимъ о ней. По-моему, нѣтъ: съ своей стороны мы должны употребить все для ея блага, и, если уже всѣ силы истощены и всѣ средства добра и правды испытаны, тогда только имѣетъ святой смыслъ и свое высокое значеніе смиренія и покорности божественный глаголъ человѣчества: *„Да будетъ воля Твоя!“*

Я хотѣла дождаться Свѣтлаго Праздника, чтобы послѣ него начать мнѣ свои дальнѣйшія исканія. Въ сердцѣ жила святая надежда: что столько проліяннаго свѣта и волнъ ѳиміама—не возможно, чтобы не уронило капли и на мой темный уголъ, не облагоухало бы радостью послѣднюю душу. — И я дождалась нашей общей радости. Праздникъ пришелъ, обновилъ и осіялъ землю; будто обновились и мои силы, и я принялась писать — переписывать на-бѣло. То я не могла рѣшиться послать къ одному Брамбеусу, или къ одному Краевскому; теперь я посылала къ нимъ обоимъ. Я положила уже все кончить, отдѣлаться однимъ разомъ—за однимъ напряженьемъ; развязаться съ самою собою, съ своею обязанностью къ своей судьбѣ, чтобы поскорѣе сказать утѣшительное: что Богъ дастъ. И я все кончила,— послала въ обѣ редакціи. Можетъ-быть, это и грѣхъ; но слишкомъ гордая для того, чтобы просить или униженно заискивать въ комъ бы то ни было, и еще у тѣхъ особъ, которыхъ я такъ

мало уважала, я не искала ничего — никакихъ домогательствъ, едва выставляла начальную половину имени и, если бы что и могло случиться, предоставляла это сдѣлать моимъ сочиненіямъ— имъ и ничему болѣе. Я не чувствовала много надежды; почти вовсе ея не было — я и не манила себя; но я была легка, совершенно безтягостна: я исполнила свою обязанность, я искала, старалась; въ отношеніи къ самой себѣ, къ дѣлу своего назначенія я сдѣлала все, что отъ меня зависѣло; теперь—воля Его святая! А тутъ зацвѣтали наши степи, запѣли перепела, — и я стала весела и довольна, что Божія птичка.

Вамъ, горожанамъ, ни во вѣки вѣковъ не знать всѣхъ ощущеній весны, всего знойнаго чарованья лѣта. Вы по преданьямъ восхищаетесь утромъ, любите нѣжащій васъ вечеръ; а въ самой серединѣ дня есть чудный мигъ и даже получасъ красоты торжественной, красоты высокой — полной жара и мира, какъ бы царственною стопой величія, остановившейся надъ землею.—Я разскажу вамъ, Петръ Александровичъ.—Это бываетъ не въ самый полдень, а около него - съ одиннадцати часовъ. Работа на поляхъ въ самомъ разгарѣ; вѣтеръ на волѣ. Небо, какъ пышащій шатеръ, поднялось и углубилось, и все непзмѣримо кругомъ; края не тонутъ въ дали, а темнѣющею синью вытянулись по надъ землею. Если съ утра было облачко, его нѣтъ; небо чисто, будто какой ангелъ вымелъ его серебрянымъ крыломъ,—и оно горитъ, все горитъ, небо словно пылаетъ; солнце съ самой середины льетъ лучи, льетъ жаръ; въ воздухѣ будто сыплятся золотые колосья, — и вдругъ все тихнетъ—тихнетъ, будто подается назадъ. Даль замолчала; вѣтерокъ со звукомъ струны прошелся по вишневымъ кустамъ и, какъ заяцъ, залегъ въ степи; въ его послѣднемъ дыханьи наклонился пшеничный колосъ,—и колосъ стоитъ, не шевелясь и не подымаясь, отяжеленный зноемъ идущаго полудня. Тишь распростерлась непзобразимая, кажется, малѣйшая четинка живущая устала и отдыхаетъ, и пчела не работаетъ; народъ пообѣдалъ и спитъ, волъ идиллически лежитъ у ярма и медленно жуетъ лѣнивую жвачку; ни птички,—одинъ кузнечикъ гдѣ-то трещитъ, и рѣетъ пара бѣлыхъ бабочекъ. Но вы и тѣхъ не видите; васъ охватила одна картина: одно безпредѣльное небо, палящее солнце, у ногъ вся отдыхающая земля, и жаркая тишина льется, льется, потокомъ вливается въ жаркую душу...

Наступила осень. Эта осень, какъ оратаю май, несла мнѣ надежды и, Боже! что пророчила радости! Маменька начала при-

стройку къ нашему домику, и мнѣ предстоялъ рай: особая комнатка, гдѣ я буду одна—одна, и никто ко мнѣ входить не будетъ, не станутъ таскаться въ шкафъ то за чашками, то за ложками, надоѣдая ежеминутно и не давая собраться съ мыслью. Я не помнила себя отъ завѣтовъ грядущаго блага! Пристройка доводилась уже до оконъ, росла, и съ нею горой вздымались мои надежды; я сама росла. Внутренность нашего домика равномѣрно преобразовывалась.—Моя съ тетенькой комната и наша столовая выровнялись, готовыя моститься; повѣшены были столярныя двери, вставлены новыя окна съ цѣльнымъ стекломъ вверху — чудо! и свѣта такъ много, цвѣтовъ бездна: два роскошныхъ олеандра стоятъ у меня на столѣ; на окнахъ жасмины, левкои, бальзамины; резеды дѣвать некуда; вся моя комнатка цвѣтетъ и благоухаетъ.—Такъ наступило Воздвиженье. Маменька еще на утреню уѣхала къ Марьѣ Ивановнѣ, а тетенька была немножко нездорова, и я осталась съ нею. Не помню, что за день былъ; но вечеръ — очарованіе: теплый, тихій, красное зарево солнца—благодать Божія! Я пришла къ тетенькѣ и говорю настоятельно: — Пойдемте гулять. Господь не станетъ давать намъ такого чуднаго времени, если мы не будемъ пользоваться имъ.—Мы долго гуляли; потомъ тетенька уже ушла, а я все ходила между своими смородинными кустами, поджидала маменьку и, какъ водится, думала-гадала, т. е. мечтала. Мнѣ представлялась моя особая комнатка — такая душенька: маленькая, свѣтленькая (она приходилась на темную сторону). Я думала, какъ я повѣшу въ ней бѣленькую гардинку съ красною бахромой, окно заставлю цвѣтами и буду писать, писать... А книгъ-то, книгъ сколько у меня будетъ! а ихъ ни одной не было... И еще говорятъ намъ: не мечтай! Да только и поздоровѣешь, какъ помечтаешь; а заживи-ка одною существенностью,—такъ оно, того и смотри, что выйдетъ:

„А горе ждетъ изъ-за угла“

Такъ оно и вышло.—Я не дождалась маменьки. Стало ужь такъ темно, что изъ-за кустовъ смотрѣли страшилища и все хотѣли схватить меня сзади за плечи; я ушла въ комнату. Маменька пріѣхала очень поздно; сидимъ мы да сидимъ въ своей столовой передъ столомъ; прислуга наша давно вся позаснула; мы никакъ не наговоримся. Это обыкновенное дѣло: мы какъ день не побудемъ всѣ вмѣстѣ, такъ это намъ годъ, и разсказовъ послѣ наберется тьма. И теперь время идетъ, а мы все не спимъ: наконецъ, maman предложила вистъ,—сыграть уже одинъ ро-

бертикъ, да и спать. Робертикъ нашъ тянется невыразимо. Вся глупость моего болвана ни къ чему не служитъ: то мы съ нимъ проиграемся до тла; вотъ-вотъ маменькѣ только леве взять—и робертъ ихъ; но колесо фортуны вдругъ переворачивается—у болвана всѣ онёры, тузы; онъ бодрится, козыряетъ; маменька, подзадоренная, проситъ не ложиться, пока не кончимъ. Потомъ уже и робертъ кончился, а мы все не спимъ. Съ нами было рѣшительно то, что говорятъ у насъ: „повалите меня“, т. е., что спать ужасно хочется, а встать да пойти лечь—лѣнь: что если бы нашелся такой добрый человѣкъ, чтобы хотя толкнулъ и повалилъ на подушку! Я очень разумѣю, что подобнаго вида лѣнь понятна только въ Малороссіи, и потому-то вамъ, великороссу, я такъ изъясняю выраженье ея. Да, мы всѣ жмуримся, зѣваемъ безо всякаго зазрѣнія, маменька безпрестанно твердитъ: „А вотъ же, господа, пора спать“ — „Да и я-жь говорю, что пора“,—отвѣчаетъ тетенька. „Пора, maman“, бормочу я, и, вмѣсто того, чтобы только переставить ногу черезъ порогъ и попасть на постель, я свертываю кольцомъ руки, кладу ихъ на столъ, на нихъ кладу голову и дремлю такъ, толкая носомъ въ доску. Не ложимся мы и эдакъ бдимъ уже заполночь; разговариваемъ по-немногу... Вдругъ на верху зашумѣли голуби, какъ бы ихъ сильно всполохнулъ кто, и они бьются, и гулъ пошелъ по всему дому.

— Видишь? сказала мнѣ maman.—Полюбуйтесь, что дѣлаютъ ваши кошечки. А вотъ же я говорю, что велю ихъ тебѣ перевѣшать — велю. И Брамбеуса повѣшу; да его бы ужь и давно пора.

Маменька шутила и болѣе мѣтила въ волка, а не въ волчью шкуру. — Но съ этимъ вмѣстѣ шумъ на верху повторился еще сильнѣе, что-то ужаснымъ образомъ загудѣло; голуби какъ бы вырывались всѣ изъ-подъ крыши, и за этимъ вслѣдъ мы явственно разслышали, какъ по углу въ нашей комнатѣ кто-то тяжело вспрыгнулъ на заваленку и, даже видно, полушубокъ на немъ былъ корявый—онъ зашуршалъ по стѣнѣ.

— Э, нѣтъ! сказала maman, такъ это ужь не сѣрые коты, а видно, рукатые! Поди-ка, велѣла она мнѣ, разбуди Катерину. Кто это изволитъ къ намъ жаловать за голубями? Вотъ это хорошо! на что-жь лучше? Скажите, пожалуйста—(провожала меня maman хозяйскимъ ворчаньемъ, когда я уходила, взявши свѣчу), эдакая дерзость: на домъ къ господамъ приходить голубей красть!

Между тѣмъ Катерина еще при первомъ шумѣ проснулась и вышла посмотрѣть наверхъ: что такое? Я только-что вошла въ кухню—и она входитъ изъ сѣней.

— Не пугайтесь, матушка-барышня, не пугайтесь! протянула она руки ко мнѣ.

Мнѣ сейчасъ будто что сказало. Я говорю: „Что? пожаръ?“

— Пожаръ! И съ этимъ вмѣстѣ испуганная женщина — внѣ себя, сама не помня, что дѣлаетъ, загасила у меня свѣчу. Я осталась въ темнотѣ; силюсь отворить наружную дверь, но желѣзная щеколда такъ захлопнулась, что я дергаю ее, рву и ничего не могу сдѣлать!

Послѣ непередаваемыхъ минутъ томленья, я отдернула дверь, выбѣгаю на дворъ—горитъ уголъ нашей комнаты, тотъ самый, по которому мы слышали, что спрыгнулъ кто-то; голуби бьются, взлетаютъ высоко и, кружась, падаютъ въ огонь.

Мы живемъ на выселкѣ; хуторъ за полверсты; глухая полночь; весь народъ спитъ; съ нами однѣ женщины; собаки подняли страшный лай: мечутся, какъ остервенѣлыя, во всѣ стороны... „Дѣтей, дѣтей“! кричала тетенька, чтобы выносили двухъ маленькихъ мальчиковъ и дѣвочекъ изъ кухни.

Какъ бѣденъ нашъ языкъ въ минуты осиливающихъ насъ потрясеній! да онъ и вовсе не нуженъ. Мы или молчимъ, или у человѣка является какой-то непередаваемый вопль взамѣнъ всѣхъ словъ. И что̀ такое этотъ вопль, сто̀итъ только прислушаться къ Св. Писанію, гдѣ Господь не говоритъ, что слезы или воздыханія народовъ дошли къ Нему—нѣтъ: вопль народа; вопль Содомскій и Гоморрскій. И этимъ далекодостижнымъ воплемъ владѣютъ не одни люди; даже „голосъ *крови* твоего брата съ земли вопіетъ ко Мнѣ“,—сказалъ Богъ. — Ахъ! все, что живетъ и умираетъ, — у него есть минуты, когда оно страшно вопитъ къ своему Создателю. Это глубокія минуты скорби, внезапнаго ужаса,—такова должна быть великая минута смерти.

Я потому заговорила объ этомъ, что я слышала подобный, страшный, безсловесный вопль, вырванный у сотни людей полуночнымъ ужасомъ и обезумливающею смутой внезапнаго, страшнаго пробужденія. Народъ бѣдный только разоспался, уснулъ тѣмъ крѣпкимъ, трудовымъ сномъ, который незнакомъ намъ съ вами,—и вдругъ его будятъ, будятъ пронзительные, необъяснимые крики, лай собакъ съ ужаснымъ завываньемъ, — и онъ, еще не проснувшійся до конца, не успѣлъ еще совсѣмъ полуоткрыть глазъ, и пламя пожара засвѣтилось ему въ лицо!

Я съ тоской смотрѣла на этихъ бѣдныхъ людей—бѣгущихъ, полуодѣтыхъ, босыхъ; головы не покрыты; у женщинъ волосы распустились; лица всѣ искривлены ужасомъ, и раздается вопль, вопль... Они—ни одинъ не помнитъ, не знаетъ, что онъ дѣлаетъ; почти не видитъ предметовъ передъ собой, и только ужасъ и все осиливающая смута души исторгаются страшнымъ, безпамятнымъ, безсмысленнымъ воплемъ. Онъ, какъ вой, ходитъ посреди ночи, и я понимаю, почему этотъ нечеловѣческій вопль такъ доступенъ Богу ангеловъ и человѣковъ. Это полное, громогласное сознаніе нашей слабости, безсмыслія нашего передъ Его высокою, всемощною десницей?

Я все совершенно помню. Первый, нашъ дворовый человѣкъ, Денисъ разбѣжался и, не переставая страшно кричать, со всего размаха ударилъ кулакомъ въ окно—стекло, рама, всѣ переплетины въ рамѣ выскочили и разлетѣлись въ мелкіе дребезги; а кулакъ, замѣтьте, остался невредимымъ. Это было началомъ. Вслѣдъ зазвѣнели другія стекла; съ крикомъ и воплемъ смѣшался трескъ отъ выламываемыхъ оконъ, трескъ горящаго дерева, гулъ и порыванье пламени, женскіе задыхающіеся, истерическіе вздохи; стекло прыгало, блестѣло и разбивалось съ своимъ пронзительнымъ, заунывнымъ звономъ. Менѣе чѣмъ въ двѣ минуты нашъ домикъ стоялъ съ сорванными дверями, безъ одного окна; верхъ его крутился въ пламени, и люди, какъ волки, метались въ него со всѣхъ сторонъ.

— Образа! сказала я громко, входя въ середину. Человѣкъ до пяти бросилось снимать образа; я вынесла Библію, вынесла свою шкатулку, потому что тамъ лежалъ мой вензель; взяла еще шкатулочку, подаренную мнѣ отъ всего нашего класса, и спросила: можно ли вынести мой шкафъ съ платьями? Говорятъ: нельзя; черезъ четверо дверей надо проносить. И я успокоилась. „Такія тряпки“! думала я. Какъ же намъ удивляться послѣ этого, что, передъ смертью, теряютъ для человѣка всю прелесть и цѣнность наши блага земныя, когда вотъ въ какую минуту и то узнаёшь все тряпочное ничтожество предмета женскихъ величайшихъ заботъ и помышленій.

— „Воды! воды!“ кричали голоса; а у насъ гдѣ взять воды? Она въ глубокихъ колодезяхъ; надобно выносить на прекрутую гору; здѣсь свѣтло, а туда пойдутъ, тамъ страшная темень; мраки бѣжали отъ пожара и словно залегли тамъ. Несчастные люди падаютъ, зашибаются, бьютъ свою посуду; гора вся слита,

скользитъ; наберутъ полныя ведра воды а къ пожарищу не донесутъ и половины—и вдругъ.

Я и теперь невольно закрываю глаза, и голова моя припадаетъ къ сжатымъ рукамъ.—У насъ былъ недавно взятый изъ ученья кузнецъ и слесарь—молодой, прекрасный малый; онъ работалъ надъ нашимъ домикомъ. Когда уже все вынесли, и мой шкафъ даже вынесли—нѣтъ! ему захотѣлось еще спасти свою работу—сорвать съ петель двери, которыя самъ онъ такъ недавно навѣшивалъ и придѣлывалъ. Ничего нѣтъ мудренаго, что, когда онъ рванулъ двери—въ подобныя минуты у человѣка удесятеряется сила—онъ двинулъ всю небольшую стѣну; стѣна потряслась, пошатнула утвержденную на ней трубу, и труба, уже вся обгорѣлая, качнулась и повалилась на матицу; матица затрещала, подломилась, и весь потолокъ рухнулъ... На нѣсколько минутъ пламя исчезло, заваленное грудой кирпича, глины и цѣлымъ мостомъ досокъ; изо всѣхъ оконъ повалилъ тяжелый, удушающій дымъ, и вмѣстѣ съ сѣрыми клубами его, въ густотѣ ихъ, поднялся пронзительный, раздирающій душу вопль: „Ай, ай! спасите!“ Я упала на колѣна; я молилась. Боже мой! Я отдавала собственное спасеніе души за счастливый исходъ несчастнаго страдальца... Народъ съ минуту, остолбенѣлый, не двигался, потомъ бросился ко всѣмъ окнамъ, къ дверямъ, но страшный дымъ валилъ отовсюду, захватывалъ дыханье, не давалъ видѣть ничего. Крики почти сейчасъ-же утихли, слышался, или думалось еще слышать, какъ бы стонъ; но пламя съ трескомъ прорвалось наружу, искры полетѣли вверхъ, и все стало тихо-тихо и засвѣтилось кругомъ. Я долго еще стояла на колѣняхъ; далеко подъ темными небесами вилась бѣлая, распуганная стайка голубковъ; собаки не переставали лаять; подымался мѣсяцъ; къ утру поднялся вѣтеръ и потянулъ искры прямо на токъ. Хлѣбъ туда весь былъ свезёнъ—вся наша жизнь и надежда. Маменька сложила руки и сказала: „Что Богу угодно!“

Въ обоихъ колодезяхъ вода была выбрана до грязи; люди истомились, гдѣ шли, тамъ и падали...

Наконецъ-то прошла эта ужасная ночь. Когда засвѣтился день, у насъ не было пріюта: не было нашего маленькаго, тепленькаго домика, гдѣ съ десятокъ лѣтъ мы поочередно всею семьей жили и такъ хорошо любили другъ друга. Остались только обгорѣлыя, закоптѣлыя стѣнки нашей гостиной безъ оконъ, безъ дверей, безъ верха. Котъ мой вошелъ, походилъ кругомъ, замяукалъ и убѣжалъ въ степь. Вмѣсто всѣхъ моихъ надеждъ

и разрисованныхъ мечтаній, мнѣ предлежали дѣйствительныя груды недогорѣлыхъ кирпичей и дымящійся пепелъ родного жилища, и, Боже мой! какою мечтой замѣните вы страшную увѣренность, что тамъ, подъ этою безобразною развалиной, лежитъ задавленный человѣкъ съ обгорѣлою головою!...

Именно, что у Бога чудесъ изо всего могутъ выйти чудеса. Не ожидала ли и всѣхъ насъ подобная участь, только засни мы, и не чудо ли это своего рода, что мы сидѣли сидѣли, сами не зная, чего сидимъ? Всѣ хотѣли спать; всѣ твердили: пора спать!—и никто не ложился. Одна чудесная, всемощная рука Господа могла такъ просто, такъ, повидимому, совершенно естественно спасти насъ.

Причина пожара и доселѣ осталась неизвѣстною. Марья Ивановна, пожалуй, раскачивала головой. „Да нѣтъ, нѣтъ! Это кухня, кухня, какъ можно кухоньку имѣть возлѣ дома? У меня отдѣльно, всегда отдѣльно. (Какое близкое сравненіе!) И голуби-таки зачѣмъ, зачѣмъ? Вотъ вамъ ваши и голубки!“ А голуби-то, какъ гуси Римъ, и спасли насъ. Не подыми они шума, не стань биться на огонь,—мы бы хотя и сидѣли, но за свѣтомъ въ комнатѣ не могли бы скоро замѣтить пожарнаго блеска. Кухня же никакимъ образомъ не могла участвовать въ этомъ. Во-первыхъ, что это было Воздвиженье—день большаго поста, въ который у насъ ничего не готовятъ. Если и топилась печь, такъ очень рано, для какого-нибудь кувшина воды; да и какое наше степное топливо? Мѣшокъ кострики — вымявковъ изъ конопли, въ которой только и огня, пока она горитъ; а послѣ его хоть и не ищи, и не спрашивай. Да и на что-жь лучшаго доказательства? Когда уже всѣ комнатки пылали и потолокъ уже обрушился, кухня, защищаемая своею глиной, стояла нетронутою со всѣмъ своимъ припасомъ и съ печью, и съ трубой, и она не сгорѣла, а ее больше разломали, чтобы глиняными стѣнами ея заваливать огонь и не давать разноситься искрамъ. Въ самыхъ-же комнатахъ у насъ еще не топилось, и голубей красть некому; что это поджогъ—дѣло видимое; но кѣмъ и для чего—вотъ вопросъ. Надобно сказать, что все то лѣто были частые пожары. Ужасно горѣлъ Чугуевъ, горѣлъ нашъ Изюмъ; у иныхъ помѣщиковъ токи были подожжены. Носился слухъ, что это шайка бѣглыхъ солдатъ, и онъ подтверждался мѣрами правительства. Чугуевъ весь былъ оцѣпленъ, безъ билета ни пройти, ни проѣхать никому нельзя было; села караулились. Не мудрено, что, вытѣсненные изъ городовъ и большихъ селеній, него-

дни разбрелись по нашимъ маленькимъ хуторочкамъ, въ надеждѣ поживиться чѣмъ-нибудь во время пожарныхъ суматохъ. И это оправдывалось даже нѣкоторымъ образомъ обстоятельствами. Одна женщина съ пожарища пошла навѣстить ребенка и отогнала четырехъ человѣкъ, которые лѣзли къ ней въ хату; овчаръ тоже замѣтилъ крадущихся людей; кучеръ, когда выскочилъ на пожаръ, говорилъ, что видѣлъ, какъ собаки гнали кого-то садомъ въ яръ. Это все такъ, но непзвѣстное только Богу извѣстно.

Я ужасно боялась за маменьку. Съ годъ передъ этимъ, даже это самое лѣто, она была больна почти непрерываемою лихорадкой, которая уже два раза обращалась въ горячку. Теперь этакая тревога, огорченіе; мы отъ пожара разогрѣлись, а тутъ къ утру сдѣлался сильный морозъ, вѣтеръ; я всего опасалась; но, слава Богу, обошлось безъ дальнѣйшихъ послѣдствій. На утро маменька ѣхала посмотрѣть и поторговать за Савинцами у одного помѣщика новый флигелекъ и завезла меня къ нашей старушкѣ-воевидчѣ.

Изъ Куньяго былъ видѣнъ нашъ пожаръ; къ полудню Марья Ивановна узнала о немъ; прислала за мною; экипажъ проѣхалъ ко мнѣ въ Савинцы. Я будто чувствовала: мнѣ ужасно не хотѣлось ѣхать: душѣ мѣста не находишь, а тутъ одѣвайся да принаряжайся по-гостиному. Поѣхала я; застаю у ней порядочно гостей. Одни, ея родственники, ѣхали на зиму къ вамъ въ Петербургъ, другіе провожали ихъ. Грустно такъ, тяжело. Разсказывай пустому любопытству о своемъ горѣ; у тебя слезы на глазахъ, а тутъ улыбайся, да поддерживай вздорные разговоры. Я не знаю, какъ этотъ день прошелъ; онъ мнѣ былъ не легче минувшей ночи. На утро мы остались однѣ съ Марьей Ивановною. Я иду сѣсть на свое обычное мѣсто — низенькое кресло съ боку ея дивана; вдругъ она мнѣ рукой показываетъ на дальній стулъ. Я была такъ занята внутренно, что сначала вовсе не замѣтила, даже почти не почувствовала этого наружнаго толчка, (это не ошибка и не простая разстановка словъ, что я сказала,—напротивъ, это едва ли не принадлежность всякой женской натуры. Еще не поймешь, иногда вовсе не умѣешь охватить мыслью сказаннаго, а внутри уже чувствуешь силу и значенье слова. Сердце прежде ума, кажется, обыкло понимать у женщины). Да, я была внутренно занята; меня глубоко огорчала мысль: какая я должна быть нечувствительная, каменная, что на меня ничто не дѣйствуетъ! Этакій слу-

чай! Поставилъ бы другую на моемъ мѣстѣ; да чего бы съ ней не было! Ее бы на рукахъ вынесли, была бы безъ чувствъ, безъ памяти; а я чиннёхонько все помню. И маменька, и тетенька потерялись нѣсколько, сперва не знали, за что хватиться. Я себѣ такъ спокойно распоряжалась; сама выносила, что хотѣла; я, кажется, даже не испугалась вовсе, была бодра и какъ бы весела. „Вотъ натурка! говорила я самой себѣ:—воловья; хоть обухомъ бей, такъ не разобьешь!“ Иная получила бы горячку—Богъ знаетъ, что; я и маленькой лихорадки не чувствовала; только руки горѣли и внутри все какъ будто шевелилось; да еще голова моя... Думается, если бы меня заставили работать ею, я не много бы сдѣлала. А тутъ я должна была вязать косынку съ самымъ углубленнымъ вниманіемъ, съ безотвязчивымъ разсчетомъ: то одну петлю сбавить, то другую прибавить, тамъ просто связать; на просто связанной — прибавочная, на прибавочной петлѣ сбавочная, и пошла такая рябь. Я безпрестанно мѣшалась. То разомъ двѣ петли сбавлю, то не у мѣста прибавлю; что навяжу, то опять распущу; работа моя не идетъ Во все время на пожарѣ я была, какъ сидѣла, въ одной кисейной пелеринкѣ, и теперь я чувствовала, что у меня горло начинало болѣть; я будто немножко устала и вышла къ себѣ въ кабинетъ. Прошло ли съ полчаса, какъ я прилегла тамъ; возвращаюсь—и Марья Ивановна нѣсколько приподымаетъ голову, отклоняетъ ее въ бокъ и такъ повелительно спрашиваетъ меня: гдѣ я была и зачѣмъ? Точно какъ бы она относилась къ шестилѣтнему ребенку, который безъ позволенія няньки выбѣжалъ куда-то, и вотъ его выспрашиваютъ, чтобы наказать потомъ. Озадаченная и голосомъ и самымъ видомъ Марьи Ивановны, я съ минуту не могла отвѣчать. Марья Ивановна захотѣла взглянуть на мою работу.—„Ну, эдакъ вы не скоро кончите“, едва проговорила она. „Дѣвушкѣ бѣдной надобно работать, очень работать—хм!—ей нечего все глядѣть въ книги“ Я не вѣрила своимъ ушамъ. Не говорю, чтобы огорченная (сначала я не могла даже огорчиться), я только изумленная смотрѣла на Марью Ивановну. Она сидѣла, протянувъ обѣ руки на столъ; кажется, еще больше нахлобучила свои оборки и перебирала свои бусинки; я будто не была у ней въ комнатѣ, и она меня не видѣла... О, вы не знаете, какою горячею кровью подобныя обиды приливаютъ къ лицу! какъ глубоко онѣ забираютъ остріемъ сердце! Такъ что-жь это такое? За кого-жь меня принимаетъ Марья Ивановна. За нищую, что ли? За одну изъ тѣхъ прижи-

валокъ безъ пристанища, безъ куска хлѣба, которыхъ милостивая щедрота, удѣляя имъ заброшенный кусокъ и свои вчерашніе недоѣдки, думаетъ счастливить такимъ благодѣяніемъ, за которое смѣло беретъ себѣ не то что свободу человѣческой жизни—свободу каждаго движенія; любитъ выжимать слезы, высасывать кровь тяжелымъ изнываньемъ; она, эта великая щедрота, протянула-бы руки на самую душу, если-бы Господь милосердый не сказалъ намъ: *„Душа Моя и ничья болѣе!“* [1] Такъ вотъ наконецъ что! Но вы ошиблись, Марья Ивановна: я не нищая. Благодареніе моему Богу, я сама прокормлю десятки нищихъ, и они будутъ сыты у меня бо̀льшимъ довольствомъ и привѣтомъ, чѣмъ у самихъ васъ. На сю пору точно судилъ Господь лишить меня моего пріюта; но просила ли я у васъ его? Я не просила; вы сами назвались, чтобы дать мнѣ возможность сказать, что я лучше соглашусь жить въ одной избѣ съ овцами и съ поросятами—и буду жить, нежели стану толкаться изъ угла въ уголъ и отдамъ себя на униженье въ каменныхъ палатахъ! Пусть я задохнусь отъ дыма и смрада, но не вижу презрѣнной гордости богача, величающейся надъ моимъ несчастьемъ.

На другой день были мои именины и Марья Ивановна не поздравила меня, не сказала даже самаго пустаго: je vous félicite. Это бы еще не было такъ больно, если бы я могла хотя предполагать, что она забыла, не знаетъ; я, ужь навѣрное, не стану напоминать ей; но въ этотъ же день были именинницы всѣ ея поповны—Вѣра, Надежда и Любовь. Онѣ являлись съ пирогомъ, Марья Ивановна поздравляла ихъ, называла каждую по имени—и мнѣ ни слова!

Только жизнь даетъ вѣроятіе такимъ характерамъ. Въ книгѣ я первая ни за что бы не повѣрила, чтобы, какъ таки можно было: ласкать, ласкать человѣка,—по всему казалось такъ любитъ его, почти сроднить съ собой и вдругъ, чтобы ни съ того и ни съ сего, потому только, что у этого человѣка сгорѣлъ его домикъ—вдругъ такъ перемѣниться къ нему, почти не смотрѣть на него и не говорить съ нимъ? Не можетъ быть; тутъ должна скрываться причина—и она удивительно оттѣняетъ характеръ Марьи Ивановны. Этотъ характеръ крѣпкою основой сложенъ изъ гордости и властолюбія, какого-то алчнаго угнетенія всего, что соприкасается съ ней, подъ свое иго. Отъ этого ига бѣжала единственная дочь, спасались настоящимъ бѣгствомъ воспитан-

[1] Нѣчто подобное въ книгѣ Іова II, 6 (С. П.).

ницы; вслѣдствіе его никто почти не могъ быть коротко знакомъ съ Марьей Ивановною. Марья Ивановна пыталась нѣсколько разъ и меня нагнуть подъ свое ярмо; но ничѣмъ ей не обязанная, не домогаясь у нея ничего,—слава Богу, ничѣмъ не завися отъ нея, я отдавала ей полную дань почтенія и уваженія, но рѣшительно не находила нужнымъ протягивать шею въ воловью упряжь. Спокойно, безо всякихъ порывовъ, но съ запасомъ твердости я отстраняла, какъ умѣла, эти нападенія и держалась крѣпко своихъ правъ желанной гостьи, вовсе не думая объ ошейникѣ рабыни. Маленькая моя тактика была до того успѣшна, что Марья Ивановна скоро оставила свои попытки и въ минуты чрезвычайной откровенности даже говаривала: „Вѣдь, молода, смотрите, пожалуйста, совсѣмъ молода, а заставляетъ уважать себя—заставляетъ; я, право, ее уважаю“ Гордый человѣкъ уважаетъ только свои права и ничьи болѣе. Марья Ивановна все-таки не могла простить мнѣ моей вольной самостоятельности; она ласкала меня потому, что ей ничего болѣе не оставалось дѣлать. И вдругъ такая неожиданность: мы погорѣли, у меня нѣтъ пристанища; Марья Ивановна присылаетъ за мной; я ѣду, но уже роль моя совсѣмъ не та. Не я теперь нѣкоторымъ образомъ обязываю Марью Ивановну, а я сама ей глубоко обязана. Она мнѣ благодѣтельствуетъ, даетъ какъ бы въ несчастьи жизнь; меня, бездомовную, беретъ въ свои палаты, хотя и прежде я жила въ нихъ; но то было прежде, а теперь совсѣмъ иное дѣло...

И Марья Ивановна даже не позаботилась, чтобы, хотя немного, исподволь, пріучить меня къ этой разницѣ,—нѣтъ: гордость ея, какъ захлопнутый въ капканѣ волкъ, сейчасъ же обрадовалась волѣ и спѣшила еще наверстать свое [1].

Не знаю, всѣмъ ли это такъ. Но мнѣ наши большіе праздники и сюда же свой день рожденія - именинъ даютъ всегда какую-то праздничную силу чувствамъ. Въ эти дни я все необыкновенно живѣе чувствую; все меня можетъ растрогать; я такъ близка и къ слезамъ, и къ радости. Самый пустякъ—какой-нибудь крошка-цвѣтокъ веселитъ меня какъ ребенка; но зато и малѣйшее, на что бы въ будни я и не посмотрѣла, то въ праздникъ заставитъ меня плакать, и много плакать. Судите же, сколько борьбы мнѣ было теперь! Душа и безъ того глубоко

---

[1] М. И. Шидловская умерла въ 1855 году, 84 лѣтъ, на чужихъ рукахъ. (*С. П.*).

поражена недавно случившимся несчастьемъ; она еще вся трепещетъ при малѣйшемъ вскрикѣ, потому-что это сейчасъ напоминаетъ ей другіе страшные предсмертные крики; душа въ умиленіи растрогана праздникомъ своего ангела,—и этотъ праздникъ такъ грустенъ: безъ родныхъ, въ чужомъ домѣ, и вдругъ еще къ нему такое добавленіе! Оскорбленія самыя неожиданныя, самыя неотразимыя, что ни самыя ѣдкія и въ самое сердце, когда тамъ и безъ того такъ больно, что будто одною болью живетъ душа! Я задыхалась; слезы у меня были не только на глазахъ,—я чувствовала ихъ соль и горечь на губахъ; но я не плакала, ни слезинкѣ не дала упасть. Разумѣется, мнѣ было бы легче, у меня такъ жестоко больно не щемило бы грудь, поплачь я, но нѣтъ! Чтобы грубо-надменная, мстительная гордость богача заставила меня плакать, чтобы Марья Ивановна могла замѣтить мои слезы—да я и малѣваннымъ стѣнамъ ея не покажу ихъ! Умру, но не заплачу! И я задыхалась, захлебывалась отъ слезъ, но не плакала, я безошибочно вязала свою косынку.

Господь милосердъ; Онъ, многосемейный Отецъ нашъ, попечителенъ, не даетъ выносить человѣку выше силъ его и сейчасъ же, какъ Самъ знаетъ, шлётъ ему избавленіе. На другой день за мной прислали изъ дому. Надобно было писать или переписывать какую-то бумагу въ судъ, по случаю этого несчастнаго пожара; а вѣдь я не даромъ ношу титулъ маменькинаго секретаря: это дѣла моего вѣдѣнія. И вотъ ужь когда я наплакалась: ничто не могло мѣшать мнѣ: экипажъ свой, дорога мірская, а широкое небо Божье,—плачь подъ нимъ, пока душа наплачется, оно не выдастъ тебя.

Когда я пріѣхала, свои вздумали разспрашивать.—Что это у тебя глаза будто заплаканные? Ты, вѣрно, плакала, дитя мое?—О, нѣтъ, отъ вѣтра, maman.

Если вамъ никогда не случалось ѣхать и напрасно устремлять глаза въ знакомую сторону, ища тамъ другаго и встрѣчая одну чернѣющую точку; если вы, Петръ Александровичъ, не знавали, что эта черная точка—обгорѣлая труба вашего родного жилища—то благодарите Бога! Онъ избавилъ вашу душу, пощадилъ вашу грудь и не далъ имъ невыразимо-тягостныхъ томленій.

Я пріѣхала уже подъ вечеръ; наши это время жили пока въ кладовой, спѣша какъ-нибудь оправить стѣнки бывшей гостиной, придѣлать къ нимъ кое-какія сѣни, чтобы хотя перезимовать было въ чемъ. Но разскажу ли я вамъ мой ночлегъ?—Между сборомъ всякой всячины въ кладовой; ночь уже длинная и, какъ

нарочно, выбралась, или уже такъ ей Господь велѣлъ—что ни самая осенняя, темная, хоть глазъ коли; вѣтеръ; ни одной звѣздочки. Мы побоялись оставить огонь у себя: кругомъ все такъ тѣсно наложено, наставлено,—и вдругъ я слышу, что меня запираютъ чуть ли не на замокъ снаружи. Я не могу, кричу. Мнѣ сейчасъ представляется: Боже сохрани, какой случай, и выскочить нельзя! Темнота въ кладовой могильная, гробовая; ни малѣйшей отдушинки. Дверь отворили, подставили ее снутри, вѣтеръ дуетъ, подставка падаетъ, двери со всего размаха хлопаютъ; собаки заливаются—лаемъ. Кошки спятъ съ нами—и вдругъ фыркаютъ, бросаются; искры изъ нихъ летятъ, кошки разбѣгутся по угламъ и глаза ихъ высвѣчиваются, какъ волчьи. А слыхали ли вы, какъ поетъ ужасъ?—Сторожъ не знаетъ, что дѣлать съ ночью: темнота ужасная, онъ самого себя не видитъ, — и онъ начинаетъ свистать для куража. Но страхъ его пробираетъ до костей; лучше бы совсѣмъ не смотрѣть въ ту сторону, но онъ безпрестанно поглядываетъ къ пожарищу и, нѣтъ сомнѣнія, что тѣнь бѣднаго Илька мало-по-малу показывается изъ-за трубы. Сторожъ бы бѣжалъ, бросилъ бы и свою палку и косу, припасенную на случай храбрости, но ноги у него не двигаются; онъ не видитъ ни въ чемъ спасенья и вдругъ затягиваетъ пѣсню. Пѣсня разливается въ глухой полуночи; вѣтеръ воетъ; сторожъ поетъ такими звуками, какъ бы кожу съ него живого драли: что ему ни страшнѣе, то онъ подымаетъ выше. Это не пѣніе, а напряженный крикъ изо всѣхъ силъ, крикъ ужаса, какъ бы въ сумасшествіи, смѣшавшійся съ веселыми напѣвами,—и это-то обдаетъ васъ въ полупросоньи. Вы вскакиваете, вы едва помните самихъ себя; опять падаете на подушку и, захвативъ руки, каждую минуту ждете, что эти неистовые возгласы сейчасъ прервутся крикамп: „Ай, ай! жгутъ, рѣжутъ — помогите!“... Мои длинные волосы поднимаются на головѣ.

Худо, Петръ Александровичъ; но представьте же себѣ, что у Марьи Ивановны и того еще хуже! По крайней мѣрѣ, здѣсь мнѣ страшно, такъ я пугаюсь, я могу кричать; а тамъ я плакать хочу, я хочу плакать, у меня вся грудь затоплена въ слезахъ, а я куда какъ довольна, улыбаюсь. Вы легко можете судить, что теперь я и не думала возвращаться къ Марьѣ Ивановнѣ; — но жить дома, въ кладовой, на такомъ юру!— что мнѣ дѣлать? Я изныла бы, да этого и думать нельзя было при моемъ плохенькомъ здоровьѣ. Рано утромъ я поѣхала къ нашей воевидчѣ.

Рѣдкая старуха—ее нельзя назвать старушкой: высокаго роста, пряма, она, вотъ только на моей памяти, нѣсколько сгорбилась. Такой открытый, веселый нравъ, и, при самой свѣжей памяти, еще и теперь часто жива; по-малороссійски немного насмѣшливо-умна, о сю пору любознательно-умна. Здоровый, прямой ея умъ, какъ самородный слитокъ; я не налюбуюсь ея широкою, простою натурой. Сколько ей лѣтъ, она не знаетъ.

— Стара уже, душка! шутитъ она часто со мной.—А колысь я была... Вотъ такихъ жушмарокъ [1], да я-бъ васъ десятерыхъ... и пикнуть вамъ не дала-бъ! И это еще люди! и мы, каже, яблока!

И, когда, при этомъ, она такъ мило дѣлаетъ головой, и тутъ же, какъ бы горячась, подсучиваетъ рукавчики своего чернаго халатика, я никогда не утерплю, чтобы не расцѣловать ея крошечной, въ жилкахъ, морщиноватой ручки.

Чистая сербка по отцу и по матери, послѣдняя изъ очень хорошаго рода Витковичей, звала она дѣдомъ генерала Зорича, которому принадлежалъ весь Шкловъ. Отецъ и мать ея родились еще въ Сербіи, и она въ новой отчизнѣ сохранила въ чистотѣ весь типъ покинутой родины: горячій и нѣсколько гордый, но добрый, твердый духъ сердца, прямой, благородный станъ, ростъ высокій—все, и окладъ лица, и даже этотъ длинный носъ, который, впрочемъ, ни мало не портитъ ихъ мужественную породу, а даже какъ бы отвѣчаетъ ей. При всемъ ея горѣ, при такой болѣзненной, незапамятной старости, глаза ослѣпые, подернутые чѣмъ-то сѣро-темнымъ, даже ротъ искривленъ ударомъ, все же видно, что въ былое *колысь* она была хорошая женщина. Мать ея и года не была за ея отцомъ, лѣтъ черезъ пять она вышла за другаго, тоже серба—Калиновича. Этотъ былъ воеводой и, по закрытіи воеводствъ, коммиссаромъ; билъ туфлями государскихъ курьеровъ и не приказывалъ имъ давать лошадей; обрѣтался воеводой въ полной силѣ и своемъ вѣдѣніи. Когда онъ шелъ къ церкви, то за версту все отступало отъ него, и пятилѣтній мальчишка хватался за шапку. Если онъ ѣдетъ, то два казака съ ногайками всюду за нимъ,—и случись, что какой-нибудь дуракъ-хохолъ своротитъ съ дороги и не возьметъ въ свою безмозглую голову того, съ какой стороны вѣтеръ, и пыль потянетъ не отъ коляски, а на коляску его высокомощнаго воеводства, „стой!“ раздается. „Хлопцы!“ Казаки соскаки-

[1] Заморышковъ.

ваютъ съ лошадей, кучеръ прыгаетъ съ козелъ,—и тутъ же, не сходя съ пути, совершается судъ и расправа съ наказомъ, чтобы зналъ, куда держать, и не пылилъ воеводѣ въ свѣтлыя очи!

Но и воевода прожилъ едва ли съ десятокъ лѣтъ, и Анна Константиновна вторично осталась сиротой со своею кроткою, какъ голубица, матерью, съ сестрой и братомъ. Видно, хороша была молодая Галя, когда она, хоть умирать, понравилась Черноглазу—молодцу, удальцу, на казацкій ладъ: гулякѣ, забіякѣ,—сказано ужь—запорожцу!—какъ сказывали мнѣ. Богатый человѣкъ; большія мельницы были по Донцу; вотъ гдѣ теперь наше имѣньице, тутъ было болѣе тысячи десятинъ земли, и за Савинцами кругомъ все были его лѣса и имѣнія. У него была своя ватага человѣкъ съ двадцать хлопцевъ—всегда при немъ—на запорожскую стать: съ саблями, съ ногайками; *пистоли* за кушаками. Весь околотокъ трепеталъ его, боялся пуще огня; пировалъ и бушевалъ онъ не въ свою голову. Какія онъ выдѣлывалъ штуки, такъ ужь это именно:

„Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ“

Я вамъ разскажу одну для образчика.—Былъ онъ какъ-то боленъ, такъ что очень и даже опасно боленъ. Всѣмъ какъ солнце проглянуло. Недѣль съ пять, или того болѣе, тишина такая, что рая не надо. Черноглаза и слухомъ не слыхать. Вдругъ въ одно воскресенье онъ является къ обѣднѣ—смирный такой, какъ овечка; ни на кого не взглянетъ. Сталъ себѣ у праваго клироса и все крестится да поклоны кладетъ, кладетъ поклоны да крестится—и цѣлую обѣдню такъ. Дивуется народъ; священники—то одинъ выглянетъ изъ алтаря, то другой; дьяконъ даже сбился на эктеньи, все засматривая, какъ прилежно Богу Черноглазъ молится.—„Подлинно-то Господь милосердый!“ разсуждало священство между собой: „и наказуя милуетъ. Наказалъ вотъ болѣзнью Черноглаза; а онъ, спасибо Богу, и опамятовался.“—А Черноглазъ все поклоны кладетъ. Кончилась обѣдня;—онъ такъ чинно приложился къ иконѣ, принялъ антидоръ и чуть не до земли кланяется одному батюшкѣ, и другому, и отцу діакону. Вотъ-то Господь его наказалъ и помиловалъ грѣшнаго, такъ онъ, сдѣлайте вашу ласку! хочетъ уже молебенъ отслужить у себя на дому. Священники такъ его ублажаютъ: „Се тамъ и добрѣ и похвально, да вы бы, Дмитро Григорьевичъ, здѣсь—въ церкви Божьей; оно бы лучше.“—„Ни, уже будьте ласковы, панове отцы! пожалуйте-таки на домъ: и помолимся и хлѣба-соли откушать.“—А наролъ—

вся церковь кругомъ столпилась. Черноглазъ и къ народу: „И вы, панове міряне, все честное господство! пожалуйте, ваше добродѣйство, чѣмъ уже Богъ святой послалъ...“ то-есть, онъ угощать будетъ; а самъ все кланяется, на всѣ четыре стороны кланяется. И повыбралъ что ни самыхъ почетныхъ да важныхъ стариковъ; знаете, такихъ все, что пока онъ ступню ступитъ, на другой трава выростетъ; бороды такія, что чуть не до пояса; пособралъ цѣлую громаду и ведетъ къ себѣ; а надобно идти черезъ всѣ Савинцы. Кто ни встрѣтится, крестъ на себя кладетъ: и Черноглазъ какъ человѣкъ сталъ! Господство честное постукиваетъ своими палочками и, то и дѣло, потягиваетъ бороды: „мы то-то, то-то мы, на обѣдъ-то къ кому идемъ!“... А Черноглазъ идетъ впереди; но вмѣсто того, чтобы поворотиться къ дому, онъ поворотился къ Донцу. „Вотъ, что значитъ,—думаютъ всѣ: онъ хочетъ прежде водосвятіе сдѣлать. Покаялся, собачій сынъ, какъ лихо пришло. Видно, смерть-то не свой братъ“ Идутъ; ничего себѣ идутъ; подходятъ къ самому Донцу—что за врагъ?—По берегу, вдоль сколько видно, все, одна возлѣ одной, ложки положены. — Черноглазъ остановился и снимаетъ шапку.—„Спасибо уже вамъ, панове-отцы, и вамъ, честное господство“, кланяется онъ,—„дай же Богъ вамъ здоровьица и много лѣтъ здравствовать, що се вы до мене на обѣдъ пожаловали. Отъ се-жъ вамъ—хлебайте юшечка, а рыбка на днѣ“ —Тѣ, чтобы туда, сюда, отговариваться; кто, чтобы бѣжать; Черноглазъ свистнулъ—изъ-за кустовъ выскочили хлопцы верхами, схватились за ногайки,—и честное господство, не въ поминъ уже и бороды, и панове-отцы, подобравши свои рясы, усѣлись на берегу хлебать юшечку изъ Донца.

Вотъ этому-то Черноглазу, на свою бѣду да въ лихую годину, понравилась молодая Галя. „Сватайте за меня Галю“, сталъ онъ говорить сосѣдямъ,—„чтобы высватали! а то сожгу, всѣхъ васъ сожгу!“—Всѣ хорошо знали, что Черноглазъ не шутитъ, и что это ему вовсе не диковинка.—Собрались сосѣди къ Галѣ; молятъ на колѣнахъ Галю; плачетъ Галя; приказываетъ мать—и высватали Галю. И что уже терпѣла бѣдная эта Галя!... Только печью не была бита,—а объ печь была. Пьянъ всегда; травилъ онъ ее цѣпными собаками, медвѣдями, возилъ на козлахъ. Самъ ѣдетъ, а Галя бѣжитъ возлѣ санокъ, какъ собачка.“—„А, ну, садись, Галя.“—Галя только-что подниметъ ногу въ сани, онъ ударитъ по лошади—и Галя осталась лежать на дорогѣ. Онъ проѣдетъ—да опять остановитъ лошадь.—„Да что же ты, Галя?“—

еще усмѣхается. „Не наскучило-жь тебѣ бѣжать дорогой? Вотъ жинка какая: не хочетъ съ человѣкомъ [1] сѣсть! Да ну бо садись, Галя!“—И Галя опять валяется въ снѣгу насмѣхъ прохожимъ. Соберетъ всякую дрянь, мерзость, а Галя стой да потчуй! Такая-то страшная участь выпадаетъ иногда женщинѣ.

Черноглазъ спился съ кругу до того, что ему стали представляться рогатые—тащатъ его за собой; онъ кричитъ, упирается ногами, ни на волосъ не можетъ уснуть. Только ему и отдыха, когда Галя сидитъ возлѣ него, и онъ еще держится за Галю; при Галѣ черти только издали дразнятъ его языками, а подойти не смѣютъ.—И эдакой жизни семь лѣтъ! семь цѣлыхъ лѣтъ не знать, свѣтитъ-ли свѣтъ Божій людямъ, а самой не видать его за туманомъ слезъ, да за подбитыми глазами!—Наконецъ Господь умилосердился и освободилъ Галю. Стала она опять жить съ матерью и съ сестрой; похоронила старушку; братецъ вышелъ не лучше муженька, промоталъ все воеводское имѣніе; похоронила и того, и долго жила она и кохала свою Катю-сестру, во всей силѣ этого слова красавицу: стройна и бѣла, какъ лебединая шея; глаза большіе, черные; рѣсницы бахромой лежатъ; *брови на снурочку*—любимое выраженіе малороссійскихъ пѣсенъ—какъ тонкій, черный, бархатный снурочекъ; высока, величественна—взглянуть, такъ это царица! Она, кажется, и считала себя мало чѣмъ ниже этого. Не пошла замужъ; обѣ сестры жили глубоко уважаемыя всѣмъ сосѣдствомъ; народъ не зналъ и не давалъ имъ другаго названія, какъ *воевидивны*, то-есть, воеводскія дочки. Таковъ былъ памятенъ этотъ воевода, что и воеводство умерло, и самъ онъ умеръ, а жена его была все воевидчею; жена умерла—дѣти стали воевидивны; наконецъ и дочь умерла, осталась одна падчерица—и та и до-днесь величается воевидчею, и вы бы напрасно стали искать по всѣмъ Савинцамъ Анны Константиновны Черноглазовой; вы бы бились съ утра до поздней ночи—и не нашли ея: ни самъ голова не сказалъ бы вамъ; а вспросите только *воевидчу*—и всякая семилѣтняя дѣвочка доведетъ васъ до воевидчи.

Право, такъ: нехорошо черезъ-чуръ долго жить на свѣтѣ. Кого ты любишь, того нѣтъ; кто тебя любитъ — его не найдешь... Умереть, умереть—прилечь на питательницу землю, руки крестомъ, лицо къ роднымъ ждущимъ небесамъ—что тяжелаго? Не во сто ли кратъ тяжелѣ эта жизнь, вотъ хоть бы и моей милой

[1] По-малороссійски: человѣкъ—мужъ. *К—ая.*

Анны Константиновны? Други ея и пріятели давно всѣ померли; дѣтямъ ихъ она не подъ-стать; да они и знать ее не просятся; своихъ дѣтей у ней не было; родныхъ же никого нѣтъ ни одной души здѣсь. Есть въ Россіи, недалеко тамъ отъ насъ, двѣ беззубыхъ сестры двоюродныхъ, да и то вотъ одна умерла; да еще, какъ сама она говорила, пьянюшка Павелъ, братъ ихъ— и весь задушевный міръ тутъ, и живи имъ, какъ лягушка болотомъ! Анна Константиновна сдѣлала лучше. Она привязалась къ одной семьѣ изъ своихъ людей — Дуняшка да Терешко, да Грицко, жена Грицкова, да тамъ Вани да Евдокимки,—и старухѣ живется: жить есть любить. Она надѣляетъ ихъ; дала имъ по смерти своей свободу; да они и теперь свободны, счастливы ею; а осчастливить хоть одного—не счастье ли это жизни? И я не улыбаюсь, когда старуха съ большимъ удивленьемъ говоритъ: „Вѣдь, вотъ стара, душко, и что, кажется: слѣпа—живой мертвецъ, а умирать все не хочется“.—Разумѣется, не хочется, когда смерть идетъ, какъ разлучница съ чѣмъ-нибудь милымъ; но чтобы любить жизнь потому только, что она жизнь, а не смерть— я не понимаю безсмысленной привязанности ни къ чему.

Анна Константиновна, какъ настоящая малороссійская пани, живетъ въ слободѣ; а хуторъ ея отдѣльно, близехонько возлѣ насъ— воду приходятъ брать къ намъ, и состояніе ея почти одинаково съ нашимъ. Старуха сыта, тепла; кушаетъ, что ей угодно; любитъ лакомиться; пьетъ послѣ обѣда, заснувши, кофе; какъ водится, нюхаетъ табачекъ. Повязана по буднямъ бѣлой густой кисеи косынкой, а въ иныя воскресенья — черною коленкоровой; а еще въ большіе праздники вынимается изъ комода и надѣвается на голову чепецъ. Прошу, не извольте худо думать о немъ. Чепецъ онъ черный шелковый, обшитъ чернымъ кружевомъ; лопасти его не умѣщаются подъ подбородкомъ, а кругодонный верхъ взобранъ и отъ этой гордости вздулся и стоитъ; сколько ему лѣтъ, неизвѣстно. Для полноты остается сказать, что Анна Константиновна шьетъ себѣ въ пять-шесть лѣтъ одинъ черный коленкоровый халатъ, домашней архитектуры: полотнище да два клина, да къ нимъ два рукава—„и кафтанецъ сшитъ изряднехонько“ [1] Въ вспомоществованіе къ услугамъ Дуняшки, почти беззубой, но проворной, намѣтанной и хитрой бабы, хоть куда— въ помощь ей и въ отличіе отъ нея есть Дунька, въ аршина два съ вершкомъ, съ сѣдою пущенною косой и въ длинномъ

[1] Выраженіе Фонвизина въ „Недорослѣ“.

платьѣ; Макринка, Матренка, Устька-рябая, Ганна и двѣ Лукирки. большая и маленькая. Анна Константиновна лѣтъ уже не десять и не двадцать никуда не выѣзжаетъ и почти ногой не ступаетъ на сырую землю; лошадей у нея нѣтъ, а дрожки есть — стоятъ въ сараѣ для такого-же точно употребленія, какъ висѣло ружье у Ивана Ивановича или у Ивана Никифоровича. Но это неправда; я шучу. Каждый годъ въ Великую Субботу, когда только погода тепла и высохло, а это почти всегда,—дрожки съ раннею зарей выдвигаются. Грицько, Терешко, атаманъ изъ хутора, Профиръ (вы догадываетесь, что это: Порфиръ), дроворубъ Анны Константиновны, и онъ тутъ, и всякій, кто ни случится, всѣ сходятся къ дрожкамъ, задумываются надъ ними, разсуждаютъ, становятся въ такомъ положеніи, какъ Гекторъ, разбивающій ворота камнемъ, чтобы ударъ не былъ маломоченъ. Въ домѣ очень суетно; Анна Константиновна въ примѣтномъ волненіи. Она встала ранѣе обыкновеннаго, но не кушаетъ чая. „Спрячь ее!“ говоритъ Дуняшкѣ, отдавая табакерку,—и табаку не нюхаетъ; на ней замшевые башмаки; горитъ свѣча предъ образомъ; курятъ смирною. Анна Константиновна по локти умываетъ свои старенькія ручки; надѣваетъ до ниточки все чистое—новый халатъ; вынимаетъ чепецъ. Грицько береть узду и идетъ, куда ему заблагоразсудится, просить лошади: у кого только лошадь есть, она есть и для воевидчи. Это Анна Константиновна ѣдетъ въ церковь приложиться къ плащаницѣ. Я ее ужасно люблю въ эти минуты. Въ старческихъ трогательныхъ чертахъ какое-то умилительное безпокойство; она молится на путь ко всѣмъ иконамъ; въ гостиной передъ Божіей Матерью зажигается лампада; мы не забываемъ присѣсть на дальнюю дорогу—на двадцать саженей къ церкви, чтобы такъ у насъ и куры садились, и сваты садились и роп. „Боже-жь благослови!“ восклицаетъ Дуняшка и отворяетъ двери на крыльцо. Старуху выводимъ; она крестится; у всѣхъ насъ невольно рука подымается на то же самое,—и Дунька тутъ, и Устюшка-рябая, Лукирка-большая; Терешко—Грицко сидитъ кучеромъ, въ картузѣ и въ новомъ полушубкѣ; хозяинъ лошади находится тутъ-же, возлѣ своего хозяйства, кланяется и, въ увѣреніе того, что лошадь смирна, какъ овца, дергаетъ ее за уши, за хвостъ.—„Глядите, пани; вотъ-вотъ!“...

Анна Константиновна, болѣе всѣхъ своихъ знакомыхъ, совершенно по родственному, расположена къ нашему семейству. Не видать ей недѣлю кого-нибудь изъ насъ—это для нея тоска и прямое наказаніе. Почти уже каждое воскресенье мы ѣдемъ къ обѣднѣ и

остаемся у ней на цѣлый день; большіе праздники даже не разгавливаемся дома,—всегда у нея. Она, какъ бы бабушка наша, называетъ насъ прямо по имени, говоритъ всѣмъ *ты*; куда бы и за какимъ дѣломъ ни ѣхали мы черезъ Савинцы, а къ ней уже непремѣнно заѣдемъ. Когда наши только переѣхали сюда и зимовали въ Савинцахъ, Анна Константиновна (тогда еще и сестра ея была жива) такъ обласкала ихъ, не выпускала почти изъ своего дома; а это, дай Богъ всякому узнать, какъ дорогъ и сладокъ привѣтъ на чужбинѣ! Но, какъ вездѣ почти и во всемъ есть маленькіе оттѣнки и исключенія, то и простая, милая любовь къ намъ Анны Константиновна ясно обозначила свои,—и въ пользу Нади... Даже почти не вѣрится, чтобы въ ея лѣта можно было такъ полюбить не внучку и не родную ей, а совершенно постороннюю; такъ не находить словъ для своей ласкающей нѣжности. Я уже не знаю, какихъ именъ она мнѣ ни надаетъ? Что ужь я ея, это неотъемлемая принадлежность,—моя Надя, и птичушка моя, сердце мое, золото мое .. „Э! милая Анна Константиновна“, говорю я, „золото ваше слишкомъ сбиваетъ на мѣдь“...

Пріѣхала я послѣ пожара къ ней.

— Кто это? Это моя Надя?... Дѣточка, ты, моя милая!...

И старуха обнимала и цѣловала мою голову, тихо, безъ словъ, лаская, какъ бы боясь болѣе громкою лаской не уважить грусть моего несчастья.

— Тебѣ-бъ, можетъ, самоваръ, душка?—Ты проѣхалась. Ну, Дуняшка, самоваръ,—швыдче, Дуняшка!

— Не безпокойтесь, милая Анна Константиновна, я, хоть не пила чаю, да не хочу. Я, вѣдь, къ вамъ, Анна Константиновна, пріѣхала не такъ.

— А какъ же, душка?

— Я пріѣхала: возьмете ли вы меня къ себѣ жить, или нѣтъ?

— Какъ се, душка? чтобъ ты стала жить у меня?

— У васъ эту зиму.

— Чтобъ у меня-таки, у меня? въ домѣ чтобъ у меня,—со мною?

— Да, съ вами, когда вы не прогоните.

— Дуняшка, Дуняшка! коменъ зи геръ—поди сюда, Дуняшка!

Это двуязычное, нѣмецко-русское призыванье, памятникъ долгаго пребыванія въ Савинцахъ нѣмца-лѣсничаго, съ своею переводною частью и безъ оной, бываетъ только употребляемо въ наиважнѣйшихъ случаяхъ; равно какъ въ мѣстахъ, требую-

щихъ бо̀льшей силы и выразительности, являются чисто-малороссійскія сказанья...

— Чи ты чула, Дуняшка—что я тебѣ скажу?—Надя къ намъ жить пріѣхала!... Поди-жь ты ко мнѣ, моя Надя! Вотъ моя умница! вотъ мое золото свѣтлое! Да какъ же это тебя Господь надоумилъ?... Вѣдь ты-жь, душка, поѣхала къ Марьѣ Ивановнѣ, вспомнила старуха —Она-жь за тобой присылала.

— Поѣхала, да къ вамъ пріѣхала.

— И гораздъ, [1] мое сердце! Они люди богатые, гордые—Богъ съ ними; мы сами себѣ. Хата тепла, хозяева добры:—живи, мой ангелъ. Ты да я, да насъ двое, да мы съ тобой, да Богъ между нами, Матерь Божія, святые ангелы,—и хорошо намъ будетъ и безъ тѣхъ богачей!... Дуняшка, эй, братецъ, Дуняшка! коменъ зи геръ, стань передо мной, какъ листъ передъ травой.

— Уже стала, барыня, говоритъ Дуняшка.

— Стала? слушать же ушами. Чтобъ утка съ рыжиками была—чула? да живо! Пирожки съ вареньемъ, что тамъ, знаешь?—ну, да баба съ изюмомъ изъ сарачинскаго пшена молочная—да такъ, чтобъ въ рыночкѣ, да не пригорѣла и, Боже храни! чтобъ та у меня Ганна глядѣла въ оба!—Вотъ тожь тебѣ и два...

— Да уже три, барыня.

— Ну, и гораздъ, коли три. Да борщу я не хочу; чтобъ супъ былъ; да *штрудло* на соусъ; цыпля съ подливой на холодное; да, тамъ, колбасу сжарить; да, можетъ, еще вареничкѝвъ... Или чего тебѣ, Надя? говори, душка.

— Ничего, моя добрая Анна Константиновна, я ничего не хочу. Дайте мнѣ вашу ручку.—Дуняша, не надо ничего.

— Да что-жь ты тутъ за воевода проявился? Я сама воевидча? Ничего! А коли я хочу, чтобъ было *чего*?

— Когда вы хотите, Анна Константиновна, для себя, то я не смѣю мѣшать вамъ; но если тутъ есть и моя доля, такъ я ничего не хочу.

— Да что-жь ты такъ, душка?

— Позвольте мнѣ лечь: мнѣ что-то нездоровится; я будто спать хочу

— Такъ постой же, моя душенька. Обѣдъ, чай, что я себѣ заказывала, совсѣмъ готовъ; тамъ ужь и обѣдъ такой—на одну душу: борщъ да каша; можетъ, сырниковъ хочешь?—жаркое

---

[1] Хорошо, очень дѣльно.

есть; да тамъ еще Дуняшка что-то стряпала. Пообѣдаемъ уже да и ляжешь, и я *ляжу* равно. Что-же! такъ, душка?

— Извольте, я съ большимъ удовольствіемъ поспжу возлѣ васъ, какъ вы будете кушать; но мнѣ не хочется; у меня будто все болитъ.

— Э, нѣтъ же, мое дитя! ступай себѣ ложись; бери свои комнаты.—И старуха сама поплелась ввести меня въ мои новыя владѣнія

— Вотъ же тебѣ и гостиная, и зала,—живи и располагайся себѣ, какъ хочь; у меня моя спаленка. Я тебѣ велю окна закрыть. Макринка!—Спи, мой другъ милый, да вставай здорова, а я прикажу супцу свѣженькаго сварить, самоваръ поставимъ. Дай же я тебя перекрещу; усни, мой ангелъ.

Я, кажется, сейчасъ заснула. Просыпаюсь; надо мной стоятъ Анна Константиновна, дѣвушка моя, Дуняшка... Я хотѣла приподняться, оперлась на локоть—и упала.

— Что съ тобой, душка? заговорила Анна Константиновна,—какъ не живая лежишь и духу не слыхать? Вставай, мой дружочекъ: уже совсѣмъ вечеръ и чай готовъ.

Я хотѣла привстать; едва приподняла голову отъ подушки и опять упала.

— Что съ вами, барышня? бросились ко мнѣ и Дуняшка и моя дѣвушка.

— Что такое?—засуетилась моя милая слѣпая.

Я не знаю, чего я заплакала.

— Я, Анна Константиновна, встать не могу

— Да чего-жь ты, душка, не можешь?

— Да не могу; у меня силъ нѣтъ; я не могу приподняться.— Болѣе уже я и говорить не могла.

Странное что-то со мной сдѣлалось. Я не была больна: ни голова у меня не болѣла, ни такъ, чтобы внутри чувствовалось какое нездоровье, даже горло мое прошло, но слабость—это непзобразимо! Вдругъ потерять такъ всякую силу; пріѣхать по утру здоровой, и еще солнце не зашло совсѣмъ, какъ не имѣть силъ—не то приподняться, протянуть руку, чтобы тебя подняли, и это безъ всякой болѣзни! Видно, что душевная болѣзнь и душевное напряженіе также обезсиливаютъ, какъ и тѣлесныя.

О, какъ я была несправедлива къ своей бѣдной натурѣ, называя ее воловьей!... Да, она точно волъ въ томъ смыслѣ, что гдѣ ретивый конь заноровится и упадетъ, сберегая свою силу, тамъ бѣдный волъ тянетъ, наклоня рога, мозолитъ шею и ляжетъ надорванный, но только на горѣ, а не подъ горой.

Я думала, что я не чувствую, не принимаю ощущеній; а я вывозила ихъ на крутую гору. Душа отдала всѣ свои силы. Какъ честный поставщикъ, она выставляла ихъ въ самое время, безъ спроса, безъ понужденія; давала взаймы изъ послѣднихъ суммъ; но пора прошла, сроку конецъ—молодыя силы избились на крутой дорогѣ; онѣ порвались, какъ туго натянутыя струны,—и я легла, едва сохраняя примѣты жизненной силы. Это было удивительное разслабленіе. Безъ всякой боли, безъ всякихъ ощутительныхъ потрясеній, жизнь какъ бы остановилась и только дышала. Шесть, или семь дней—я не говорю, что я не ѣла — я не пила; двухъ столовыхъ ложекъ воды я не выпила; лежитъ моя рука, я хочу переложить ее на другое мѣсто—и не могу; хочу позвать къ себѣ—у меня голоса нѣтъ; открою глаза—и они сами собой закрываются; вѣки не держатся и опускаются внизъ. Дыханіе до того слабо-незамѣтное, что надо мной соберутся и пожимаютъ плечами, не знаютъ: что сплю ли это я, или ужь не умерла ли?

— Что ты жива, душка? спроситъ меня тихонько старушка.

— Жива, Анна Константиновна, отвѣчу я, и болѣе уже, хотя спрашиваютъ, хотя не спрашиваютъ меня, я молчу: я и это едва проговорила.

И вотъ только когда испугъ мой началъ выходить.

Я трепетала, мнѣ страшно было днемъ быть одной въ комнатѣ. На ночь зажгутъ лампаду; большой, почти болѣе аршина, образъ Богоматери, въ блестящей, золоченной ризѣ, такъ ярко принимаетъ свѣтъ и еще ярче съ сіяніемъ отражаетъ его; дверь въ корридоръ отворена, и тамъ еще горитъ огонь; а я все боюсь, сама не знаю, чего боюсь. Я сплю, и таково сотрясеніе у сонной, что я вдругъ встрепенусь,—просыпаюсь и вижу, что я сижу—я, при моей слабости, когда такъ я не могу шевельнуться, не то, чтобы мнѣ подыматься и садиться. Думала-то я, что я не испугалась, а у меня всѣ нервы были поражены; голова разстроена до послѣдней степени. Еслибъ я не знала о болѣзненной силѣ потрясеннаго воображенія создавать живые образы, я бы готова была плакать и завѣрять всѣхъ, что это именно такъ было, въ дѣйствительности было. Какая же тутъ мечта, когда я смотрѣла на это собственными, не закрытыми, не спящими глазами?—Днемъ; видно; два окна отворено; я лежу—не сплю, только глаза у меня закрыты; вдругъ въ комнату мою вбѣгаютъ люди растрепанные, лица длинныя; они толпятся ко мнѣ, орутъ: „а, а, а! вотъ ее-то намъ и надо!“ машутъ надо мною;

вся комната полна. Я открываю глаза и вижу, какъ они отступаютъ передъ моимъ взоромъ; одинъ—довольно ли?—даже держался за шишечку моей кровати, поворотился,—и они не спѣшатъ, а идутъ плавно и какъ бы процѣживаются сквозь зальныя двери. Но глаза не могутъ долго смотрѣть — закрываются, — и опять явленія, и все разнообразныя, ни одно не повторилось — все лица новыя, страшныя: женщины отчаянныя, съ всклокоченными волосами, вопятъ, рвутъ на себѣ и безъ того порванные лохмотья, протягиваютъ руки ко мнѣ... Я хочу поднять руку, чтобы перекреститься — она у меня лежитъ на груди; я наклоняю голову—и все-таки не могу донести руки до лба; а черезъ нѣсколько минутъ я забудусь сномъ, вздрогнула внезапно, очнусь—и я уже стою на колѣнахъ.

Такъ наступилъ седьмой или осьмой день.

— Да что же это, душа моя? пришла ко мнѣ Анна Константиновна. Вѣдь, это безъ смерти—смерть. Вотъ ужь что ты у меня, а еще и роспнки маковой во рту не было! Да и говоришь, что силъ нѣтъ. Откуда же онѣ на свѣтѣ возьмутся? Выпей же ты хоть чашку чаю. Вотъ же, ей Богу, буду сердиться. Всего, мой ангелъ, не перегорюешь. Ужь коли Господь милосердный послалъ—воля Его святая! Выпей же чашечку!

Я выпила, т. е., меня напоили, и я крѣпко уснула.

Вотъ, право: худо бы пришлось у насъ вашимъ докторамъ; посидѣть бы имъ и голодомъ и холодомъ. Неизбалованная наша природа—Господь съ нею!—сама себя лѣчитъ.

Заболитъ она—дадутъ ей постель да теплое одѣяло,—и расправляйся сама, какъ знаешь. Она полежитъ-полежитъ, да какъ видитъ, что вокругъ нея не слишкомъ ухаживаютъ, а пожить-то ей еще хочется,—то, смотришь, и подымется—на здоровье ей!—Но моя еще болѣе недѣли упрямилась; потомъ ее, какъ водится, напоили ромашкой, шалфейкой, бузиной,—липовымъ цвѣтомъ туда-жь; дали ей мятки и—въ добрый часъ молвить, а въ худой помолчать—встала она себѣ и за дѣло взялась.

А главное-то дѣло у насъ съ нею, кажется, слезы.—Вы, безъ сомнѣнія, слыхали поговорку, что бѣда не приходитъ одна; какъ комета, она волочетъ за собою хвостъ. Это и надъ нами сбылось. У насъ начали мереть люди: едва выйдетъ девять дней одному, какъ умираетъ другой.—Похоронили бѣднаго Илька—въ девять дней умерла молодая, любимая мною изо всѣхъ, женщина, и двухъ лѣтъ еще не была замужемъ. Разумѣется, пока я лежала съ закрытыми глазами, мнѣ не говорили объ этомъ, а

только я стала подыматься, то, для подкрѣпленія силъ, вотъ и извѣстіе сейчасъ готово.

Я еще не успѣла переварить его (какъ говорятъ французы), иду въ церковь—воскресеніе—въ первый разъ послѣ своей болѣзни: думаю отдохнуть душой;—навстрѣчу человѣкъ изъ хутора.

— Что-жь маменька?

— Да онѣ-съ будутъ.

— Отчего же онѣ не пріѣхали вчера? Онѣ-жь обѣщали.

— Да кучеръ... того-съ... на похоронахъ-съ...

— На какихъ похоронахъ?

— Θекла-съ померла.

И, какъ нарочно, что ни самое лучшее и любимое, и все изъ моихъ людей, что маменька назначила мнѣ! И потомъ еще и еще... Когда я, бывало, завижу человѣка изъ хутора, такъ со мною дѣлается трясеніе. Я долго не могу выйти къ нему; разспрашиваю его, на чемъ онъ пріѣхалъ: на волахъ или на лошади? суха-ли дорога? (когда всякій день дождь идетъ), и едва рѣшаюсь спросить: что, какъ дома? что маменька? тетенька?

Грустно мнѣ было, тяжело; Богъ знаетъ, какъ грустно. Душа болитъ, и бѣдная оболочка ея и та больна. Я сильно простудилась на пожарѣ. Сгоряча я этого не чувствовала, думала отдѣлаться однимъ горломъ; но, нѣтъ: теперь простуда настойчиво отзывалась въ груди и въ головѣ; я себѣ ужасно простудила руки (въ то время было не до перчатокъ), — и самые кончики пальцевъ болѣли до того, что хоть плачь, какъ иголками начиненные. И еще слава Богу, что два медвѣдя въ одной берлогѣ не уживаются—что, когда не въ мѣру заболитъ душа, перестаешь какъ-то чувствовать болѣзнь рукъ; когда же и руки возмутъ свое, то, за заботой о нихъ, позабудешь на половину о другомъ прочемъ. Одно мое счастье было, что ноги меня носили. Я и всегда не люблю сидѣть; я живу болѣе на ногахъ; сижу только, когда пишу; но теперь, едва я садилась, какъ на меня, словно вдвое, наваливался весь грузъ; пригнеталъ онъ меня къ самой землѣ, душилъ меня. Только и отрады, когда хожу: мнѣ легче, будто веселѣе; иногда, на поворотѣ, сильнѣе разсѣченный воздухъ вѣтерочкомъ пахнетъ на влажные глаза и мимолетно обвѣстъ тоской разогрѣтыя щеки. И къ тому же еще эта осень, которая одна заморила бы.—Что ни каждый день—дождь; земля растворилась—слякоть ужаснѣйшая; мокрые пѣтухи едва поютъ; измокшія собаки жмутся подъ плетнями; небо сѣрое, какъ мужицкая свитка, повисло охлопьями... Никогда еще

осень не являлась мнѣ такою грязною, запачканною бабой. Въ Макаровкѣ у насъ степь,— твердо; деревенька вдали—разбивать грязи некому; а тутъ въ самой серединѣ слободы, на главной улицѣ—проѣздъ, что по вашему Невскому Проспекту: то и дѣло, по шею испачканные волы, по колѣна измазанные хохлы, прогонъ всему скоту на водопой—мычаніе ужасное; улица вся разбита. Она и безъ того идетъ рвомъ; а теперь еще изрыта дождями; рытвины позалиты грязью; на нихъ спотыкаются волы, падаютъ люди, ломаются колеса; слышны побудительные всѣхъ родовъ, начиная отъ *гай, гай!* до всеусильныхъ позываній черта. И, въ довершеніе всего, я еще видѣть не могу, какъ бѣдное животное тянетъ, выбивается изъ послѣднихъ силъ, а тутъ его хлещутъ ударами и благодарятъ въ бока палкой!

Нѣтъ, пусть, кто гдѣ хочетъ, тамъ утверждаетъ высокое сидѣнье души; а я говорю, что моя тогда сидѣла въ пяткахъ. Не ходи я, я бы умерла. Вся моя жизнь, и сила, и разсѣянье—все было въ ногахъ. Я встаю—хожу; до обѣда хожу; послѣ обѣда хожу; станетъ смеркаться, я опять хожу и до глубокой полночи я хожу. Наконецъ, уже ноги, какъ онѣ ни сильны, обезсилѣютъ; я ихъ не чувствую подъ собой; упаду на какое-нибудь кресло; голова прислонится къ спинкѣ—она такъ не держится, и я сижу минутъ пять и шесть; но не могу долѣе. Мнѣ становится тяжко, душно, тошно, словно грудь кто ломомъ ломитъ—и я вскакиваю; я опять хожу; всѣ спятъ, а я хожу; едва хожу, а все хожу; только во всемъ домѣ точитъ червякъ да я хожу; пока послѣдняя, неодолимая усталость—я не говорю: сонъ,—наконецъ, она уложитъ меня насильственною мочью. Я жила слезами, какъ пищей и воздухомъ; не только ходила—я стояла на колѣнахъ болѣе, нежели сидѣла и спала.

— И что-жъ вы пріобрѣли изо всего этого?—можетъ быть, вы скажете, качая головой.

Пріобрѣла я сокровище, котораго не купишь ни за какія деньги; я пріобрѣла тотъ драгоцѣнный камень; о которомъ въ притчѣ говоритъ Господь, что купецъ дорогихъ каменьевъ, нашедъ его, продаетъ всѣ другіе безцѣнные бисеры и покупаетъ его, одинъ; — я пріобрѣла *терпѣніе*. Не то стоическое, наглое равнодушіе, безчувствіе къ бѣдѣ и горю, которое ставитъ себѣ въ стыдъ малѣйшій вздохъ сердца, всякую замирающую жалобу боли,—нѣтъ; терпѣніе чисто-христіанское: ощущать болѣзнь всѣмъ болѣзненнымъ сердцемъ, чувствовать ее какъ камень на зашибленной груди и плакать, умываться слезами—и

благословлять Высокую Руку, подающую тебѣ этотъ нерастворенный фіалъ любви, или своего прогнѣванія—жизненный сосудъ болѣзненностей и скорби; да, плакать, сквозь слезы улыбаясь Вседержителю Богу, куря ему фиміамъ благодарственной мольбы за тотъ даръ, о которомъ сердце не вспомнитъ, не вздрогнувъ все и не защемя томительно.—Вотъ вамъ нѣсколько переливовъ изъ этого чувства—изъ тѣхъ минутъ, когда душа невольно слагаетъ звуки и говоритъ пѣніемъ о болѣзняхъ сердца. Я не хочу подравнивать этихъ стопъ; онѣ идутъ, какъ онѣ вышли—передавая волнующуюся неровность чувствъ и переходы мысли. Онѣ безъ именъ; имя ихъ боль; а созданье—молитва.

Державный Богъ, въ любовь повитый,
Одѣтый въ ризу доброты,
Въ лучахъ всеблагости открытой,
Въ зарѣ надеждъ и красоты,
Онъ говоритъ: „Тоскуешь ты:
„Взглядъ, часто полный грусти тёмной,
„Тревогъ и думъ души смятённой,
„Стремится скорбно въ высоты.
„Молчишь; укора нѣтъ во взорѣ;
„Смиренная къ груди склонилась голова...
„Я создалъ твердь, тебя;—Я вижу бездны въ морѣ,—
„И Мнѣ-ли не понять, безъ словъ, твои слова?—
„Тебя томитъ, гнететъ житейская плева:—
„Тѣмъ счастье день и счастье ночь,
„И радость не отходитъ прочь—
„Отецъ! я тоже дочь, а я не такова“

—О, мой Отецъ! цѣлую прахъ!..
Пусть цѣлый міръ, одѣтый багряницей,
Залитый въ золото, ликуетъ на пирахъ;
Ты льёшь имъ радости богатою десницей
И пишешь счастіе на свѣтлыхъ ихъ челахъ—
Прибавь еще!.. Подъ скудной власяницей,
Пусть только-что прикрывъ безчестье наготы,
Молю: Ты—я, я—Ты!—
И въ сердцѣ жаръ, и слезы на глазахъ,
И пѣснь святой любви на пламенныхъ устахъ!..

„Не говори: что далъ тебѣ въ замѣну
„Я этихъ сновъ и тѣней суеты?—
„Узнай вещамъ ты истинную цѣну;
„Не принимай шипы за райскіе цвѣты.
„Я далъ тебѣ—внимай и слушай ты—
„Я далъ тебѣ Мой міръ возвышенной мечты—
„Молиться сладко, сладко слёзы лить,
„И сладко чувствовать, и сладостно любить“

Отецъ мой, Богъ! душа уныла;
Нѣтъ силы въ ней
И день, и ночь;—мнѣ жизнь постыла;
Зачѣмъ я ей?

Мнѣ міръ Твой пустъ...

Безъ обновленья течеть слеза—
Все тяжко мнѣ;
Безъ умиленья глядятъ глаза—
И все къ землѣ!...

Я безъ болѣзни вся больна—
Ты оживи!
Господь мой, Богъ! сладка она,
Струя любви.

Струею слезы изъ глазъ бѣгутъ—
Какъ имя имъ?—
Отецъ мой, Богъ! пусть ихъ текутъ
Къ стопамъ Твоимъ.

Эдема гость эфирный!
Зачѣмъ, склонясь на бѣлое крыло,
Ко мнѣ глядишь, такъ свѣтло-мирный,
И такъ горитъ небесное чело?
Я персти—дочь. Земное тяготѣнье
Сдавило грудь и въ душу залегло;
Мнѣ нужны слезы и смиренье,
И чувствъ небесное тепло...

Именно, мнѣ такъ думается, что тепло чувствъ, даже наше земное, есть самый благодатный даръ Божій. Передъ нимъ, какъ нашъ міръ передъ лучемъ солнца, живится міръ души, и унылое сердце, что лучъ весною, зацвѣтаетъ отрадой. Моя томливая тоска, какъ она ни силилась, не могла упорно стоять противъ трогательныхъ, простыхъ выраженій привязанности и любви ко мнѣ моей безподобной старухи. Можно ли было холоднымъ, необвеселённымъ лицомъ, несогрѣтою душой встрѣчать эти нѣмые, полупотухнувшіе взгляды слѣпыхъ глазъ, которые,

едва различая день съ ночью, все силятся отличить, въ нерасходимомъ туманѣ, „свое сердце—Надю“, ищутъ ее, стремятся на ея голосъ, какъ будто на лучъ свѣта и радости? Я уходилась ночью; дѣвичья уже встаетъ *въ досвѣтки*, а я только ложусь. Не успѣю задремать, какъ старуха моя подымается; не умылась еще, а бредетъ ко мнѣ. Она уже не ходитъ, а едва двигается по полу. Башмаки ея, или *мечеты*, какъ она называетъ ихъ, дѣлаютъ выразительное шамъ—шамъ—шамъ,—шмурыгъ—и старуха останавливается передо мною. Я хотя какъ крѣпко буду спать—шумъ мнѣ ничего; но заговоритъ возлѣ меня шепотомъ, или остановиться надо мною и смотрѣть на меня,—я сейчасъ проснусь. Это какая-то странность; но она много разъ была испытана и осталась за мною. Анна Константиновна наклонится ко мнѣ, будто приглядывается; перекреститъ меня и начинаетъ качать головой и шептать: „Спитъ, душка, спитъ; пока молода, такъ и спитъ,—вишь, какъ тихо спитъ. Богъ съ нею и Ангелъ Хранитель въ головахъ! Спи, мое дитя. А какъ состарѣешься, душка; такъ что? куда и сонъ твой дѣнется? То кашель душитъ; то заплечью болитъ... Спитъ, моя душка, спитъ. Коли-бъ мнѣ Господь Милосердый хоть бы одно око открылъ—хоть бы я такъ поглядѣла, какъ она спитъ?“ Я уже не вытерплю больше. „Вотъ какъ, моя милая Анна Константиновна!“ закину я ей руки кругомъ шеи и весело цѣлую ея слѣпые глаза и морщинистыя щечки...

Домъ Анны Константиновны изъ самыхъ нелюбимыхъ мною построекъ домовъ: стоитъ онъ будто на горкѣ настоящимъ торчкомъ—безъ всякихъ уступовъ или выдающихся частей: гробъ гробомъ, если не пожаловать его въ кирпичные сараи. Крыльцо о пяти изломанныхъ ступеняхъ. Миновавъ эту маленькую оплошность, вы входите въ маленькія сѣни; изъ сѣней прямо въ залу—такъ-называемую, хотя тамъ стоитъ кровать и Лукирка Большая разматываетъ тальки. По непремѣнному условію, рядкомъ съ залой—гостиная; въ ней тоже есть кровать, но есть и красныя тибетовыя кресла, зеленый ситцевый диванъ и два зеркала съ вырѣзами и съ раскрашенною картинкой вверху. Стоятъ эти зеркала такъ близко отъ потолка, что тому самому надобно быть подъ потолокъ, кто желаетъ посмотрѣться въ нихъ. Но, достигнувъ желаемаго, онъ будетъ вознагражденъ пріятнымъ удивленіемъ увидѣть себя кособокимъ, съ передернутымъ ртомъ, и одно ухо ниже, а другое, какъ бы для слушанія чего любопытнаго, приподнялось. Изъ залы и гости-

ной—по двери въ корридоръ; въ корридорѣ могла бы быть маленькая комнатка, но она обращена въ кладовую; тамъ слѣдуетъ дѣвичья; изъ дѣвичьей въ бокъ спаленка Анны Константиновны: другой выходъ—и дому конецъ. Вы не думайте, чтобы это былъ такой домъ воеводскій; нѣтъ: тотъ сгорѣлъ; а это уже строился Анной Константиновною вдовій, сиротскій домокъ. Главнымъ мѣстомъ моего пребыванія была гостиная; но при мнѣ и въ залѣ не сновалось и не разматывалось талекъ. Я растворю эти комнаты, и онѣ-то служили ареной для моихъ всеночныхъ и дневныхъ ристаній. Кто бы могъ подумать, что Анна Константиновна пристрастна къ генераламъ? Едва вы переступите къ ней въ залу, какъ два генерала несутся во весь опоръ. Одинъ—сдѣлайте милость, берегитесь!—позади, у васъ надъ головой; другой, прямо передъ лицомъ, такъ и врывается въ гостиныя двери. Да что за кони! Что тамъ, что говорится въ нашихъ сказкахъ о чудо-конѣ, что онъ „ступитъ—верста, а спотыкнется—двѣ“. Вотъ диво какое! Вотъ конь: такъ онъ ступилъ на домъ, спотыкнулся на колокольню; позади въ уровень съ нимъ цвѣты цвѣтутъ и такіе, что ни въ садахъ не видать, ни въ поляхъ не сыскать,—такъ вотъ это и конь, и картина вмѣстѣ! Но шутки въ сторону! Какая странность въ домѣ Анны Константиновны: его ѣстъ червь. Никто никогда не видалъ его; а всѣ двери, столы, красныя кресла, всѣ ножки у кроватей, самый диванъ, все источено, сдѣлано настоящимъ ломтикомъ голландскаго сыра. Ни къ чему нельзя прикоснуться, чуть кто немного потяжеле: все рыпитъ и падаетъ, и изъ него, какъ изъ мѣшка, сыпится червоточина. На креслахъ уже я только одна могла сидѣть, болѣе никто не садился — всѣ достаточно вразумленные опытомъ. И что удивительно: днемъ, за шумомъ что ли? не слыхать этой работы; но вотъ, когда я хожу ночью—мало-по-малу все стихаетъ, и начинается точенье — крохотное, непереставаемое, однообразное, мѣрное какъ маятника ходъ. Ту-ту и ту-ту, и все ту-ту! Кажется, невозможно, чтобы что-нибудь живое могло такъ безжизненно точить и точить—безъ ослабленія, безъ устали. О! видно, тотъ хорошо зналъ, кто первый угрызеньямъ совѣсти придалъ выраженія: „точитъ, какъ червь; какъ червь грызётъ“. Если къ этому вы прибавите, что на ставнѣ въ спаленкѣ Анны Константиновны прорѣзано сердце, и что это сердце, когда солнце на заходѣ ударяетъ въ него, является, въ затворенной комнатѣ, пылающимъ сердцемъ,—если вы готовы пріобщить это къ своимъ свѣдѣніямъ, то я кладу

перо и, заимствуя важнѣйшее слово изъ языка родного панянства, говорю вамъ, Петръ Александровичъ: что вся *„финазомія“* дома Анны Константиновны вамъ достаточно извѣстна.

Но физіономія жизни нашей была такъ проста, такъ всеобыкновенно цѣплялась день за день нынче, какъ вчера, что я не знаю, что и сказать вамъ. Анна Константиновна, по привычкѣ, вставала рано – до свѣта; я, внѣ всякой привычки, зимой не люблю вставать рано; но, какъ вы видѣли, Анна Константиновна придвигается ко мнѣ, и я, волею или неволею, а пуще того охотою, подымаюсь.

— Холодно, Анна Константиновна,—говорю я, зѣвая и корчась.

— Вотъ, сердце, дотопятъ печи, закроютъ, и гораздъ будетъ. Макринка,—чуешь? гляди у меня, чтобы у барышни тепло было.

— Да холодно, Анна Константиновна!

— Э! да какая жъ ты клеенная! Тебя бъ еще кровь молодая должна грѣть.

— Не грѣетъ, Анна Константиновна.

— Такъ мой халатъ. Эй, Дунька! барышнѣ халатъ...

— Нѣтъ, нѣтъ, Анна Константиновна! мнѣ тепло, право, тепло! Дунька, ай, ай! поди себѣ прочь съ своимъ халатомъ. Я уже согрѣлась, Анна Константиновна.

— Да какъ же скоро? Ну идемъ же, душка, чай пить въ мою хату.

На лежаночкѣ разостлана салфетка; шипитъ маленькій толстенькій самоварчикъ; Дуняшка готовитъ чай. Анна Константиновна садится на кровать; какъ слѣдуетъ, ноги на скамеечкѣ; передъ ней развертывается ломберный столъ, отъ вѣка не видавшій сукна; я занимаю мѣсто по правую руку; является кошка съ котятами,—и семейная картина въ полномъ цвѣтѣ.

Дуняшка несетъ ко мнѣ подносъ; на немъ обѣ чашки. Я кладу Аннѣ Константиновнѣ узаконенное число—три ложечки сливокъ въ чай; ставлю къ ней чашку, приноравливая ставить такимъ образомъ, чтобы ручка чашки непремѣнно пришлась къ правой рукѣ Анны Константиновны.

— Спасибо, мое золото,—говоритъ она. А что сегодня, душка, во снѣ видѣла?

— Да ничего, Анна Константиновна. Вообразите, что я видѣла: что у меня выросли бакенбарды; да вѣдь какія!—Черныя. Я будто стою передъ зеркаломъ и посматриваю. Только одна бакенбарда большая—во всю щеку, а другая маленькая—такая жалость!—чуть на половинку. Или это, можетъ быть, отъ того, что я стояла передъ вашимъ зеркаломъ?

— Э!—не дослушиваетъ Анна Константиновна, — вѣдь, это славно, душка!

— Что у меня бакенбарды-то выросли?

— Да нѣтъ, дурочка. Это тебѣ прибыль значитъ.

— Да вотъ же, барыня, совсѣмъ и не прибыль!—подступаетъ къ столу Дуняшка. Оно, коли хотите, и прибыль: да только—гм!—трясетъ головой Дуняшка—значитъ оно, барыня, что насъ съ вами скоро на свадьбу позовутъ. Это барышнѣ два жениха. Большая букенбарта—вотъ то и хорошій и богатый одинъ; а маленькая—такъ то другой—такъ себѣ, жушмарка.

— И спасибо, Дуняша. Вотъ же я тебѣ и вѣрю. Что жъ тутъ мудренаго, что видѣть во снѣ большую и маленькую бакенбарду сказываетъ жениховъ, когда ко мнѣ на яву пріѣзжалъ женихъ: одна бакенбарда большая, а другая маленькая; одну, видно, подстригъ, а про другую позабылъ, что она у него есть—что ли?

Старуха моя хохочетъ... Но въ среду и въ пятницу эти разговоры были несравненно занимательнѣе. По этимъ днямъ Дуняшка отправляется на базаръ покупать рыбу и за чаемъ сообщаетъ намъ всѣ новости и происшествія Савинскія.

Дуняшку съ самоваромъ смѣняетъ Терешко подъ потолокъ; является атаманъ изъ хутора, и я ухожу къ себѣ. Утро идетъ незамѣтно, пока одѣнешься, Богу помолишься; я растворяю двери и начинаю ходить.

— А что ты тутъ, моя птичушка, дѣлаешь? тащится ко мнѣ Анна Константиновна

— Хожу.

— Только-то?

— Только.

— Ну, и я-жъ къ тебѣ пришла. Что, вы позволите, Надежда Степановна,—вдругъ выпрямляется и раскланивается на всѣ стороны Анна Константиновна,—побыть здѣсь у васъ? Не помѣшаю-ли я вамъ?

— О, сдѣлайте ваше одолженіе! восклицаю суетливо я.—Ни мало! Премного обяжете. Милости просимъ,—пожалуйте!

Я усаживаю ее на диванъ, обкладываю подушками; бѣту за ея скамеечкой, платкомъ, табакеркой; ставлю ей подъ ноги, подаю въ руки.

— Кто это?.. Это все ты, Надя? О, ужъ какая ты мнѣ, право! дѣлаетъ рукой Анна Константиновна. — Не грѣхъ ли тебѣ, душка? Мало ихъ тамъ, въ дѣвичьей,—только, чтобъ хлѣбъ даромъ ѣли!.. Подожди-жъ, мое сердце!—обнимаетъ она меня.—

какъ ты будешь стара, а я буду молода, тогда и я тебѣ стану такъ услуживать.

— И прекрасно: долгъ платежемъ красенъ.

— А что, душка: не пора ли бы намъ водку пить?

Часовъ у насъ нѣтъ, и со времени воеводской луковицы, кажется, другихъ и не имѣлось.

— Да вамъ, Анна Константиновна, какъ?—спрашиваю я: пора, или не пора?

— Да мнѣ будто и пора.

— А когда вамъ пора, такъ и дожидаться некого.—Мы идемъ въ спаленку.—Демидовна! водку.

— Сейчасъ, сейчасъ! бѣжитъ наша Дуняшка Демидовна, подвѣвая своею приспаленною кофтой.

Подается на коммодъ ломтикъ булки (въ Малороссіи черный хлѣбъ бываетъ только у знатныхъ пановъ, да у насъ полу-русскихъ); ставится масло, или икра. Я разрѣзываю ломтикъ на нѣсколько частей; спѣшу намазать частички масломъ, или снабдить ихъ кусочками икры, пока Дуняшка тутъ же, изъ шкафика, съ большимъ парадомъ, вынимаетъ водку. Достается сперва водка чисто-бѣлая, какъ вода,—это сладкая; за нею ярко-зеленая—мятная; потомъ коричневая—чайная; наконецъ, если Анна Константиновна чувствуетъ себя немножко нездоровою, то вынимается коренная горькая, или еще горчайшая трилистниковая, зеленая, какъ дубъ по осени. Достается незапамятная рюмка съ напёрстокъ величины, внизу будто листики, а посрединѣ обводочка. Я беру рюмку—по листики наливаю слалкой водки, впускаю капель съ десять зеленой, добавляю чайной, никакъ не переступая границы перваго рубчика въ обводочкѣ; ставлю это смѣшеніе къ себѣ на ладонь, придерживаю великую рюмку другою рукой и подаю такъ въ самыя руки Анны Константиновны. Анна Константиновна крестится и выпиваетъ разомъ; отдаетъ рюмку Дуняшкѣ и беретъ у меня салфетку и на тарелкѣ кусочекъ приготовленнаго хлѣба: это старуха завтракаетъ. Я возвращаюсь въ свои аппартаменты, а она въ слѣдъ мнѣ приказываетъ: „Скажите той Ганнѣ, чтобъ она не нянчилась съ обѣдомъ: бо я борщу хочу“

Не пройдетъ и получаса, какъ Анна Константиновна является ко мнѣ.

— Что ты скажешь, душка? Пора обѣдать; я хочу борщу!

— Анна Константиновна моя! Будто же такъ никто не обѣдаетъ. Вѣдь, еще скотъ не гоняли на водопой: это значитъ и

одиннадцати часовъ нѣту. Какъ же мы такъ съ вами обѣдать будемъ?

— А вотъ какъ: слушай сюда, сердце. Какъ мы колись были *люди* (а теперь ужъ мы *мыслети*), такъ, когда-то то было, и въ книжки заглядывали: оно и было въ одной — чуешь меня, Надя? что къ умному человѣку, видно уже, что разумному — пришли да и говорятъ: „ты, умный человѣкъ, скажи: когда должно обѣдать?“ А онъ и сказалъ: „богатые обѣдаютъ, когда хотятъ; а бѣдные — когда случится“ Такъ-то оно, душка!

— Слышу и разумѣю. На столъ, Дуняша... Да нашъ-то съ вами, Анна Константиновна, бѣдный обѣдъ—изъ чего онъ, эдакъ, слагается сегодня?

— Да что, душка, обѣдъ? И говорить стыдно. Быть тебѣ, моей птичкѣ, голодной. Борщъ да каша—и ничего больше.

— Ну, на нѣтъ и суда нѣтъ.

Садимся мы за столъ въ спаленкѣ... Вотъ какъ вамъ, Петръ Александровичъ, говорить о борщѣ да кашѣ?

Я не ѣмъ и не люблю никакихъ кашъ, и Анна Константиновна это хорошо знаетъ; а въ Малороссіи безъ каши — и обѣда нѣтъ. Пшенная, или по вашему просяная, каша подается непремѣнно въ слѣдъ за борщемъ и кушается съ нимъ вмѣстѣ. Я всегда избавляю себя отъ этой обязанности. Но теперь, какъ мнѣ объявили, что обѣдъ всего будто бы борщъ и каша, то я, „похлебавъ борщу“, какъ говоритъ въ иную пору Анна Константиновна, подымаю голосъ и зову: „А ну, Демидовна! Давай же кашу; будемъ ѣсть и кашу“.

Анна Константиновна моя вся засуетится и ловитъ руками мою тарелку.

— Да ну бо, душка! Ну ее къ собакамъ, ту кашу! Вотъ еще что выдумала—кашу! Я пошутила, а ты ужъ, такая! Сейчасъ и за правду приняла.

— Да что-жъ тутъ такого, Анна Константиновна? Я хочу ѣсть кашу.

— И батько твой не ѣлъ, и тебѣ не велѣлъ!

Анна Константиновна даже крестится.

— И, Господи помилуй! Таки, чтобъ я стала да мою птичушку кашей кормить... Да еще Господь Милосердый не до конца таки прогнѣвался на насъ грѣшныхъ! И соусъ, таки, есть, и индюкъ такой—жареный, и вареники лѣнивые, и блиночки. Дуняшка! не говори того, что въ печуркѣ.

— Да какъ вы думаете, Анна Константиновна: еслибы всѣмъ

бѣднымъ да почаще случались такіе обѣды, хлопотали бы они, или нѣтъ, о столѣ богатыхъ?

— Эге, душка!

Это чудное, непередаваемое междометіе малороссійскаго языка! Однимъ имъ хорошій малороссъ перескажетъ вамъ все: и свое удивленіе медленное, свою насмѣшку, согласіе и несогласіе,—недоразумѣніе, одобреніе; наконецъ, все то, чего онъ вамъ прямо сказать не хочетъ.

Послѣ обѣда Анна Константиновна ложится отдыхать; я, и говорить нечего, хожу и хожу, пока не упаду на диванъ.

— Вставай, мой другъ сердечный! У Дуняшки уже кофей поспѣлъ.

Анна Константиновна кушаетъ кофей, а я сижу возлѣ нея: кладу ей пѣночки, подготовляю грѣночки.

— А что ты думаешь, душка? спрашиваетъ она меня.

— Что? спрашиваю я.

— А коли мы тебя будемъ замужъ отдавать?

— Коли придется.

Анна Константиновна сидитъ и думаетъ.

— А ну, Надя, скажи по правдѣ: когда бы у меня былъ сынъ,—пошла бы ты за моего сына?

— Отчего же? Съ удовольствіемъ.

— Какъ бы я тебя, душка, любила!.. Или нѣтъ: лучше, Надя, когда-бъ ты была моя внучка, Надя!

— И то хорошо. Какъ бы я васъ любила!

Время еще куда далеко и до нашего чая, хотя онъ пьется зимой и лѣтомъ до захожденія солнца; но старуха милая боится: что вотъ она пила кофей, такъ ей чая и не хочется, а для меня, можетъ-быть, и пора? И она бредетъ ко мнѣ.

— А что, моя маленькая: можетъ бы и самоваръ?

— Какъ вамъ угодно, Анна Константиновна.

— Да что мнѣ угодно? Я кофей пила. Тутъ о тебѣ дѣло; ты какъ хочешь?

— Я хочу такъ, какъ вы хотите.

— Вотъ ужь, дурочка глупенькая! съ ней никогда не столкуешь. Дуняшка!

— А что вамъ, барыня?

— Что пора, братецъ, самоваръ ставить?

— Да гдѣ вамъ таки пора, барыня? Еще солнце совсѣмъ высоко.

— А какъ высоко?

— Да еще и, батюшки! Кочергой не достанешь, хоть на амбарчикъ стань.

— Гляди-жъ у меня: какъ станешь доставать съ погреба—и грѣй сейчасъ, Дуняшка! безъ приказу грѣй.

Занимательны бывали наши вечера—ставни закрываются и огонь подается еще на дворѣ свѣтло—вечера наши вдвоемъ: „старый да малый“, по выраженію стараго.

Тихо, спаленка затворена; свѣча отъ Анны Константиновны заставлена бумажнымъ на рогулькѣ самодѣльнымъ подобіемъ транспоранта; ненарокомъ какая-нибудь звѣздочка западетъ въ прорѣзанное сердце и блеститъ игривая. Развернутъ столъ, Анна Констаитиновна сидитъ, положа руки на колѣна, сгорбилась; профиль ея чудно рисуется на тѣни. Такъ можно было бы представить Время, ветхое Время, будто оно сидитъ надъ могилой міра и ждетъ послѣдняго разрушенія. Я громко читаю Четьи Минеи. Я болѣе люблю житія преподобныхъ, великихъ пустынножителей... Пустыня, какая-нибудь палящая, пламенная Нубійская, или за-Іорданская пустыня—и святой старецъ плететъ корзину: у ногъ его усмиренный левъ; финикъ, возращенный благодатью; бьетъ ключъ живой воды—живая молитва—вѣетъ чѣмъ-то первозданнымъ, и Ангелъ, какъ равный и другъ, бесѣдуетъ съ человѣкомъ... И такъ тихо, и мирно,—грустно становится на душѣ ..

— О чемъ ты это, сердце, такъ задумалась? спрашиваютъ меня.

— Ни о чемъ, Анна Константиновна, отвѣчаю я.

— Какъ, душка, ни о чемъ? Я таки разглядѣла помаленьку. И головочку свою склонила.

— Я и подыму, если хотите.

— Да что, душка, хотѣть?.. Эхъ, Надя, моя Надя! Что еслибъ какой добрый человѣкъ да такъ бы и положилъ намъ десять тысячъ сюда? а? Чтобъ ты, душка, дѣлала?

— Ничего, Анна Константиновна. Во-первыхъ, этотъ добрый человѣкъ не имѣетъ права давать мнѣ; а во-вторыхъ, я не имѣю никакого права брать.

— Такъ ты бы не взяла? выпрямляется Анна Константиновна.

— Не взяла бы.

— Дуракъ же ты дуракомъ, Надя! прости меня, душка. Чи се можно-жъ таки грѣшей не брать? Добрый человѣкъ даетъ, да не брать—почему не брать? Вотъ ужь я возьму; коли-жъ ты такая модная, такъ я себѣ возьму.

— Берите, Анна Константиновна.

— Да ты думаешь, что не возьму? Ей-же, ей возьму! Дура я буду старая, когда не возьму!..

Анна Константиновна горячится и подсучиваетъ рукавчики своего чернаго халатика.

— Возьму! Да еще и тебѣ, дурочкѣ маленькой, дамъ: три тысячи такъ тебѣ и дамъ, и пятьсотъ еще.

— Покорно благодарю.

— И матери твоей тысячу дамъ—пусть скорѣйше домъ достраиваетъ...

Анна Константиновна задумывается.

— И Аленѣ своей беззубой надо дать и Марьѣ тоже—будетъ съ нихъ и по тысячѣ: пусть умѣютъ беречь; а вотъ пьянюшкѣ Павлу, хардыбакѣ тому, что свое промоталъ да теперь послѣднее у сестеръ обираетъ—ничего не дамъ, и не ждетъ пусть, и не надѣется—не дамъ!..

Анна Константиновна вспоминаетъ, что у сестеръ ея взята бѣдная дѣвушка сирота—Акулина Ивановна.

— А что, душка? Дадимъ ужь и Кулѣ пятьсотъ?

— Анна Константиновна, да что-жъ Кулѣ-то такъ мало?

— Э, сердце! мнѣ-жъ самой что-жъ тамъ?

— Да вы возьмите у меня.

— Ты человѣкъ молодой, разсказываетъ Анна Константиновна и плавно качаетъ головой,—нарекаешься только на свѣтѣ жить, тебѣ еще много надо...

Я взгляну, а лукавая звѣздочка будто смѣется въ глаза намъ!

— Анна Константиновна, можетъ-быть, мы еще почитали бы?

— И гораздъ оно, душка.

Старуха привязалась ко мнѣ удивительно. Ѣла, пила, можно сказать, жила мною. Это ея обыкновенная рѣчь была: „Какъ у меня моя Надя, какъ у меня мое золото, то мнѣ никого не надо, никого на бѣломъ свѣтѣ не надо!“

Ахъ, да Надѣ-то еще многаго надо было! Восемь длинныхъ осеннихъ, зимнихъ мѣсяцевъ прожить, болѣе нежели съ восьмидесятилѣтнею старухой, слѣпою,—безъ книги, безъ одного человѣка, которому могъ бы сказать слово отъ молодой души! Знать одну дорогу къ церкви; одно общество—по воскресеньямъ старую попадью, страстную охотницу до картъ, которая, какъ явится, сейчасъ начинаетъ мнѣ подмаргивать (а впрочемъ она умная, славная старуха) и покивывать на засаленную колоду,—и мы садимся вдвоемъ въ вистъ. Арина Дмитріевна и сама за-

писывала бы свои выигрыши, да она умѣетъ писать только *2*, да по своему *6*, да еще *10*, не занимаясь этимъ пустякомъ: гдѣ ставить кружечекъ — передъ палочкой, или послѣ палочки? Арина Дмитріевна ставитъ его, гдѣ прійдется, и чаще всего глазокъ напереди.—Я думала, что я отупѣю, остолбенѣю; но, по счастью, кора дубовая не могла нарости потому, что она безпрестанно смывалась слезами.—И, скажите, можно-ли было ожидать, что изъ этой тьмы заблеститъ мнѣ лучъ сладостнаго солнца,—лучъ высокаго привѣта, моя путеводная звѣзда въ міръ чистой красоты и благоуханной истины,—въ тотъ міръ, куда, порываясь, стремилась молодая душа; но гдѣ вожатый? гдѣ ангелъ-человѣкъ, который захотѣлъ бы наклониться къ самой землѣ—взять слабую руку и сказать голосомъ нѣжнаго братства: „пойдемъ, я поведу тебя“.—Вы, Петръ Александровичъ! вы явились мнѣ этимъ ангеломъ, не человѣкомъ! Мнѣ бы хотѣлось тысячу разъ написать, тысячи разъ твердить всѣмъ, что это вы-вы! Ни ваше высокое превосходительство, ни многообразная ученость ваша, ни степень вами занимаемаго мѣста,—наконецъ, ни самый титулъ наставника Государя Цесаревича и Великихъ Княженъ—ничто не помѣшало вамъ стать этимъ же самымъ наставникомъ и еще другомъ, Богъ знаетъ, какой дѣвочки—откуда она и что?—Какъ чистый ангелъ, душа ваша шла только навстрѣчу нуждающейся душѣ. Я пишу это, и у меня слезы падаютъ на столъ,—пусть падаютъ! Возмите ихъ себѣ, мой добрый другъ: это все, что я могу дать вамъ.

Послушайте же, какъ Богу угодно было свести насъ.—Было воскресенье, или такъ какой праздничекъ—не помню хорошенько; приходитъ почтительно навѣстить Анну Константиновну Александра Михайловна, жена Савинскаго дворника.—Надобно вамъ сказать, что это не обыкновенный дворникъ; не такой, какъ вы привыкли понимать.—Молодой, отпущенный на волю мальчикъ очень небогатаго помѣщика, онъ былъ градскимъ головой въ Изюмѣ, содержалъ имѣнія на арендѣ; Климъ Титычъ—безъ бороды, съ своею честно-умною, бѣлою, какъ молоко, головой—былъ принятъ у всѣхъ помѣщиковъ; ѣзживалъ на охоту съ мужемъ Марьи Ивановны. Вслѣдствіе разныхъ, непредвидѣнныхъ обстоятельствъ: аренды, которую онъ какъ-то долженъ былъ сдать до срока, и пр. и пр., онъ упалъ до того, что выписался изъ купеческаго званія и поселился въ Савинцахъ, гдѣ у него былъ довольно большой домъ, на углу, прямо противъ церкви, на главной улицѣ. Но какъ Климъ Титыча всѣ знали и всѣ лю-

били, Александра Михайловна такая говоруха и хлѣбосолка, дочери начали подрастать у Климъ Титыча—семь ихъ, и бѣленькія, розовенькія, играютъ на гитарахъ, подпѣваютъ, читаютъ, подъ случай попадающіяся, книжки, даже учатся по-французски по русскому самоучителю, сумма этихъ причинъ произвела то, что кто бы ни ѣхалъ черезъ Савинцы (а дорога проѣзжая на Зміевъ, и на Харьковъ, и кругомъ военныя поселенія),—говорю, кто бы ни ѣхалъ, и если ему только нужно было ночевать здѣсь, или кормить лошадей, иногда даже и нужды этой не было,—а онъ все заѣзжалъ къ Климу Титычу и останавливался у него. Климъ Титычъ, хотя и косился—находило на старика – и позадѣлалъ въ залѣ окна на улицу, но это не мѣшало ему держать, кромѣ овса и сѣна, ромъ и вино, и даже каллетовыя свѣчи; даже билліардъ, на время Савинскихъ ярмарокъ, являлся въ залѣ у Клима Титыча! Дочери его произвели чудеса: одна вышла за становаго, полковничьяго сына; другая была за казначеемъ въ Балаклеѣ; третья теперь раздаетъ шить батистовыя рубашки мужу; только это все хорошо дочерямъ, а вовсе не матери, которую за это пожаловали въ колдовки—что она *что-съ знаетъ* и, тѣмъ еще болѣе, что она Московка—Чугуевка: ночью приговариваетъ звѣзды и мѣсяцъ причитываетъ.

Эта-то страшная колдовка пришла навѣстить Анну Константиновну и, какъ увидѣла меня, всплеснула руками.

— Вотъ память-то, прости Господи!—помнила—помнила, а пошла,—забыла!

— Что такое, Александра Михайловна?—Садитесь... да не садитесь туда, тамъ подломитесь, сюда.

Александра Михайловна сѣла.

— Да что, Н. С., и садиться не хочется—дай Богъ вамъ здоровьица! Какъ же? хотѣлось мнѣ вамъ прислужить. Ѣхалъ у насъ кто-то да и позабылъ книжку, и давно ужь валяется. Все думаю снести да снести, да все некогда; вотъ на силу собралась—и то забудь!—плюнуть бы на старую голову.

— Будто она у васъ старая, Александра Михайловна?—Ничего.—Вы-таки у насъ посидите и чаю напьетесь; а тамъ моя Ефросинья пойдетъ съ вами, и вы пришлете книжку. Да какая-жъ она книжка?

— Она не пуще, чтобы большая,—махонькая; такъ, невеличка книжка.

При огнѣ принесли мнѣ эту „махонькую книжку“

Я взяла ее въ обѣ руки; куда ни поверну—безъ начала, безъ конца; тамъ оторвано, тамъ отодрано. Что это журналъ, я уви-

дала сейчасъ; но какой бы это былъ?—Я хорошо знакома съ формами бо́льшей части нашихъ журналовъ;—это что-то новое, непохожее. Только *Современникъ* (я уже знала, что онъ есть и что издается онъ Плетневымъ Петромъ Александровичемъ: это мнѣ какъ-то мелькомъ попалось въ *Библіотекѣ* и осталось, какъ заколдованнымъ, въ памяти), да: вотъ только *Современникъ* да *Финскій Вѣстникъ* мнѣ неизвѣстны,—который же бы это былъ изъ двухъ?—И кусочекъ оставшейся статьи „Островъ на рѣкѣ Улео въ сѣверной Финляндіи“ убѣдилъ меня, что это *Финскій Вѣстникъ*. Какъ онъ мнѣ понравился, прежде всего, своимъ благородствомъ! Я не вѣрила, что это я читаю нашъ журналъ. Потомъ я люблю, чтобы книга прекрасно учила, и на что-жъ лучшаго урока?—„Искуство во всѣхъ своихъ отрасляхъ должно быть возвышенно и священно, и чистота мысли восхищаетъ болѣе, нежели чистота формъ. Духовная чистота должна преобладать во всемъ—и въ живописи столько же, какъ и въ поэзіи“ [1] Я порывалась; здѣсь во всемъ была какая-то полная достоинства, увлекательная, спокойно важная особенность. Вмѣсто „Критики“—„Новыя книги“. Нетерпѣливая, я перекидывала съ начала на конецъ; хотѣлось все вдругъ схватить, извѣдать со всѣхъ сторонъ,—и я съ неиспытаннымъ еще наслажденіемъ пила этотъ голосъ благороднаго, основательнаго ума, выражающаго себя такъ просто, съ такимъ разборчивымъ уваженіемъ къ самому себѣ, къ своимъ словамъ и къ произведеніямъ ума чужаго! Становясь совершенною институткой, я готова была бы расцѣловать листки милаго, душеньки *Вѣстника*, если-бы только листки эти не были такъ грязны! Вдругъ я переворачиваю самую послѣднюю, грязнѣйшую страницу, и первое, что́ кидается мнѣ въ глаза: „Въ XXXIII томѣ *Современника* мы показали нашимъ читателямъ“...

— Ахъ, Боже мой! такъ это *Современникъ!* и руки у меня опустились отъ неожиданности открытія.

Это былъ *Современникъ* № 6, 1844 года. Я, какъ вы видѣли, знала васъ немножко по воспоминаньямъ вашихъ ученицъ; о! я сама васъ помнила по вашимъ четыремъ стихамъ:

„Съ любовію моей
Къ поэзіи, въ душѣ съ тоской глубокой“...

Можетъ быть, я часто повторяла ихъ, и теперь какъ я была

[1] Строки изъ романа Андерсена „Импровизаторъ“, *Современникъ*, 1844. № 6, стр. 268. (*С. П.*).

рада какимъ-то кроткимъ чувствомъ радости внезапному знакомству! Съ любопытствомъ, съ замираніемъ внутри, я увидѣла „Стихотворенія Улыбышевой“.—Пишетъ женщина,—онъ будетъ говорить: что? какъ онъ скажетъ? Я будто читала приговоръ самой себѣ; останавливалась на каждомъ словѣ, разбирала его мертвыя черточки, какъ словно черты живого лица... Черезъ три дня я писала къ вамъ. Я себѣ сказала, что это послѣдняя попытка. Если и здѣсь мнѣ ничего не будетъ, не хочу болѣе искать! — Душа изливалась къ вамъ въ словахъ и въ слезахъ. Я не знаю, что со мной сдѣлалось. Строки ложились подъ перо, какъ будто давно приготовленныя. Я говорила прямо, открыто—я вырывала изъ сердца; я просила васъ, Петръ Александровичъ, когда я никогда и ничего не прошу; я говорю о томъ, что глубоко чувствую, только Богу и на колѣняхъ! Душа пророчествовала, „что въ васъ я найду тотъ именно прекрасный образецъ участья, о которомъ отрадно мечтать молодому сердцу“.— Я не знаю, гдѣ взять словъ,—чувства у меня есть,—чтобы благодарить васъ, Петръ Александровичъ, за эту сбывшуюся надежду, за радость души, за то, что вы дали моему сердцу безцѣнное, неотъемлемое право такъ глубоко и такъ преданно чтить васъ; что женской колеблемости чувства вы подарили такое возвышенное направленіе,—благодарю васъ!

Почти сейчасъ послѣ Свѣтлаго Праздника я переѣхала домой. Это былъ нашъ кроткій, сладостный апрѣль. Степь зеленѣла, звала къ себѣ посвѣжѣть сердцемъ, поободриться унылою душой; но, какъ бы ни звала она, я бы еще долго не покинула своей дорогой слѣпой; но пріѣхала одна изъ двоюродныхъ сестеръ ея жить къ ней... Очень естественно, что Алёнѣ Петровнѣ — хоть она мнѣ и четвероюродная тетка—не слишкомъ пріятно показалось видѣть, что старуха только и занята, что мною—„Надя“, да „моя Надя“ Если она хочетъ чѣмъ услужить ей—налить-ли водки, или подготовить чай, — Анна Константиновна даже сердится: „Да не берись, Алёна!—Надя лучше. Ты и не умѣешь; да мнѣ слаще, какъ Надя!“—Я не люблю никому мѣшать; оно и не должно.—Алёна Петровна имѣетъ свои права родства, а у меня какія—на любовь Анны Константиновны?—Я стала понемножку отставать, уѣзжать домой — на день и на два, чтобы попріучить старуху къ ощутительной разлукѣ; наконецъ, переѣхала совсѣмъ. [1]

[1] Нѣсколько прекрасныхъ страницъ объ Аннѣ Константиновнѣ Кохановская написала еще въ своей „Старинѣ“, въ 4 главѣ, стр. 91 — 96 (изд. А. С. Суворина, 1885 г.) *С. П.*

Ждала ли я отъ васъ письма, или нѣтъ?—Столько было минутъ увлекательной надежды и потомъ, сейчасъ же вслѣдъ, самой грустной безнадежности! Но въ минуту, когда я получила его, я рѣшительно не ждала и въ умѣ своемъ не предполагала такого скораго отвѣта.

Пріѣзжаетъ маменька изъ города, и одною рукой подаетъ мнѣ апельсинъ, а другою письмо... Я уже апельсина не взяла;—ушла къ себѣ за садъ, гдѣ побольше тиши—въ яръ, усѣлась въ траву на косогорѣ и читала-читала, забыла даже про кузнечиковъ.—Но я не понимала васъ — вашего раздѣленія писателей на двѣ школы. Я знала только одну школу, журнальную; правда, я читала „Повѣсти Бѣлкина“ и „Капитанскую дочку“: хороши онѣ; да такъ; а вотъ „Амалатъ Бекъ!“ Мнѣ было такъ странно, что вы нападаете на Марлинскаго; я тогда еще не любила Гоголя: онъ мнѣ казался такой запачканный.—Какъ-же? думала я. Люди пишутъ изъ головы; а тутъ „вникнуть глубже въ природу и жизнь, изучить ихъ явленія въ дѣйствительности; увѣриться въ ихъ трогательной, разнообразной простотѣ и чудной безыскусственности?“

Видите, Петръ Александровичъ, какого глупенькаго, несмыслящаго ребенка вы взяли на свои руки? О, я теперь гонюсь за своимъ ростомъ, я дорожу имъ, потому что онъ весь вашъ!—Но явилась страшная забота: гдѣ я возьму упоминаемую вами „Безропотность“, [1] этотъ № 5 *Современника?* — Въ окружности, я знаю, никто не получаетъ, и духа *Современника* не слыхать; я положила, что найду его въ Харьковѣ въ справочной конторѣ, или въ книжныхъ лавкахъ. Поѣхали мы въ Харьковъ,—братъ ходилъ въ справочную контору, я сама была въ книжныхъ лавкахъ — нѣту, нѣту *Современника!*—Я не пила, не ѣла.— Постой!—сказалъ мнѣ братъ. Университетъ, кажется, долженъ получать.—Встрѣчается онъ съ знакомымъ профессоромъ.

— Получаете вы *Современникъ?*

— Получаемъ.

— Дайте мнѣ его.

— Да, вѣдь, это ученый журналъ. Что вы хотите дѣлать?

— Пуститься въ ученые.

— Подождите-же, какъ библіотекарь смѣнится; а теперь онъ готовится къ сдачѣ—и понюхать книгъ не даетъ.

---

[1] Повѣсть герцогини Арбувиль, помѣщенная въ *Современникѣ* 1846, № 5. (*С. П.*).

Поѣхала я изъ Харькова съ убогимъ обѣщаніемъ: сейчасъ, какъ только достанется *Современникъ*, „Безропотность“ спишется и перешлется ко мнѣ.

Жду я весь май—ничего нѣту; проходитъ половина іюня—поѣхали мы опять въ Харьковъ, и, по выраженію маменьки, только промяли хвосты лошадямъ: библіотекарь не смѣнился еще.—Уже и Петровъ день прошелъ; іюль давно идетъ.

— Maman, пошлемъ человѣка въ Харьковъ, проговариваюсь я.

— Посылай! Ты ужь мнѣ съ своимъ Харьковомъ надоѣла, какъ горькая рѣдька!

Поѣхалъ человѣкъ.—Я пишу, сержусь, пеняю брату; жду того человѣка, какъ больной въ томительной лихорадкѣ ждетъ выздоровленія. Пріѣзжаетъ человѣкъ. Хорошо помню, что маменька была на пасѣкѣ, а тетенька, кажется, у Марьи Ивановны; я одна въ своей хаткѣ. Схватила письмо отъ брата; разорвала, а не распечатала его; читаю, что библіотекарь смѣнился, это да; но еще до смѣны его—попечитель Университета, столѣтній графъ Головкинъ, заболѣлъ, ждутъ его смерти,—значитъ, ждутъ новаго попечителя, ревизора: все на ногахъ и на стóрожѣ, и князь Долгорукій, военный губернаторъ, взялъ къ себѣ ящикъ съ университетскими суммами и ключи отъ библіотеки. Есть же такія минуты у человѣка, когда ему ничто не удается! Я повыслала изъ комнаты поскорѣй всѣхъ обѣдать, чтобы остаться на свободѣ и, разумѣется, поплакать; что-жъ больше дѣлать?

„Не поправятъ слезы счастья, [1]
Сердцу легче будетъ“

Хожу я—плачу, и долго ужъ плачу; остановилась такъ, возлѣ комода, оперлась на него—лежитъ братнино письмо; я смотрю, и слезы падаютъ на конвертъ. Вдругъ, совершенно неожиданно, мнѣ бросается въ глаза печать и, представьте себѣ, на ней надпись: *терпѣніе*, и когда-бъ еще мягкое *ѣ*, а то твердое—*терпеніе*. Я разсмѣялась. Невозможно было ничему явиться болѣе кстати, такъ въ свое время; такъ неожиданно преподать урокъ и указать мнѣ, что̀ мнѣ дѣлать. Терпѣть.—Ну, когда терпѣть, такъ терпѣть! — сказала я, махнувъ рукой. И точно: я сдѣлала все, что могла,—стало, Богу не угодно; а когда Ему не угодно, когда не Господь созиждетъ домъ, то напрасно трудятся зиждущіе.

---

[1] Стихи изъ оперы И. П. Котляровскаго „Наталка Полтавка“ (*С. П.*).

Я перестала ожидать „Безропотность“, перестала думать о радости сношеній съ вами; но я не переставала читать вашего письма. Уйду къ яру; присяду, или прилягу въ траву, нарву цвѣтовъ и все читаю—и каждый разъ все будто оно не даромъ проходило передъ глазами: какъ бы по четинкѣ свѣта роняло въ душу; я будто понемногу, какъ бы въ темнотѣ ощупью, стала понимать васъ, когда одинъ разъ, возвращаясь съ утреннихъ лекцій, я встрѣчаю посланнаго отъ матери теперешней Черновой (она Бершова, родная сестра генерала Котляревскаго:

„*О, Котляревскій! бичъ Кавказа!*“)

Мы живемъ въ очень короткихъ отношеніяхъ, почти совершенно по родственному. Она увѣдомляетъ насъ, что сынъ ея, какъ мы знали, недавно женившійся въ Ярославлѣ, пріѣхалъ къ ней, привезъ молодую невѣстку, и Катерина Степановна проситъ къ себѣ раздѣлить съ ней семейную радость и пообѣдать вмѣстѣ. Это значило, что она даетъ большой званый обѣдъ. Тетенька не захотѣла; поѣхали мы вдвоемъ съ маменькой; для такого парада я надѣла вензель. Вся наша знать была цѣликомъ; все знакомое; только въ семействѣ генерала Лонгинова, родного брата статсъ-секретаря Государыни, явился молодой человѣкъ съ такими благородными пріемами, такъ, съ перваго взгляда, хорошо располагающій въ свою пользу. — Онъ подошелъ, разговариваетъ со мной и проситъ меня сказать: не въ Харьковскомъ ли институтѣ я воспитывалась?—Я отвѣчаю.

— Такъ вы, вѣрно, помните Михайла Ивановича Ильенко?

— Онъ умеръ.

— Онъ живъ.

— Михайло Ивановичъ?!... Не угодно ли сѣсть?

Такъ я усадила этого господина и заставила его разсказать себѣ все, что онъ о Михайлѣ Ивановичѣ знаетъ, помнитъ, слышалъ. И, точно, „примѣрный случай вышелъ“: [1] Михайло Ивановичъ никогда и не думалъ умирать, а удалился онъ въ отставку съ великою честью, оплакиваемый навзрыдъ всѣмъ институтомъ; дѣвицы носили по немъ трауръ—черныя ленточки на шеяхъ, и теперь его явленіе въ институтѣ есть день торжества съ обѣихъ сторонъ. Къ нему бѣгутъ, его зовутъ; начальница вводитъ Михайла Ивановича въ третій классъ и проситъ: „побудьте съ ними! поговорите!“—Михайло Ивановичъ, вмѣсто дамы, ведетъ дѣвицъ за столъ, гуляетъ съ ними; читаетъ „Бурю“ Шекспира...

[1] Стихи изъ „Горя отъ ума“.

Отправляясь у себя смотрѣть на токъ, чтобы лучше молотили, онъ летитъ черезъ голову съ лошади въ знаменіе того, что четырехъ вещей разомъ не годится дѣлать: держать книгу и держать поводья, читать и наблюдать, какъ косари косятъ. Я узнала, въ какой сторонѣ эта деревня, поприще велико хозяйственныхъ дѣлъ Михайла Ивановича, и гдѣ квартира, на которой онъ останавливается въ Харьковѣ. Наконецъ, уже само приличіе и невольное чувство благодарности за столько и съ такою готовностью сообщенныхъ свѣдѣній повелѣвали вставить косвенно-легенькій вопросъ: кто-же такой самъ мой собесѣдникъ и по какому случаю ему извѣстны, въ такой подробности, дѣла Михайла Ивановича?

Объяснилось, что онъ учитель, и учитель словесности въ нашемъ институтѣ; приглашенъ на вакацію къ сыну генерала; Михаилъ Ивановичъ его очень знаетъ и любитъ; самъ разсказывалъ ему свои подвиги; самъ выбралъ его на свое мѣсто изъ только что окончившихъ курсъ студентовъ, привезъ въ институтъ и представилъ ученицамъ. Я неожиданно пріятно провела время; мы поговорили немножко о литературѣ, но голова моя опять зароилась мечтами и надеждами.

Что, если (очень легко) — Михайло Ивановичъ получаетъ... Подобныя, трепетныя ожиданія не высказываются, а только съ трепетною надеждой замыкаются въ груди. Я положила отыскать Михайла Ивановича, послать къ нему ваше письмо, мою „*Графиню*“; объяснить, на чемъ я остановилась, и, если у него есть *Современникъ*, то онъ навѣрное уже самъ предложитъ; а, если нѣту, то и просить не для чего. Это уже былъ конецъ августа. Отыскался Михайло Ивановичъ въ степяхъ, въ раздольѣ къ Константинограду; пишетъ, зоветъ убѣдительно къ себѣ,—„и *Современникъ* вамъ будетъ! пріѣзжайте; вспомнимъ наше институтское, потолкуемъ вмѣстѣ“ Я помнила, что Михайло Ивановичъ имянинникъ 6 сентября, и мы поѣхали. Намъ надобно бы было выѣхать подъ имянины; мы такъ и хотѣли; но цѣлый день шелъ дождь, и къ тому же мы положились на слова Михайла Ивановича. У него покупался подъ Савинцами лѣсъ, и онъ писалъ ко мнѣ, что Савинцы отъ него такая близость— всего верстъ 50; потомъ эти 50 онъ переправилъ на 40; а наконецъ еще на 35. Мы такъ и положили, что, выѣхавши пораньше, можно легко поспѣть къ имянинному обѣду, и выѣхали. Только этихъ 35 верстъ и въ 60 не вберешь; дорога незнакомая; одинъ говоритъ: туда! а другой: сюда! Наконецъ и гово-

рить некому стало: небеса да земля! степь, чудная степь — на всѣ стороны степь;—ни галки—одинъ орелъ сидитъ на копнѣ и чиститъ могучій клювъ, и когда посмотришь вокругъ и потомъ взглянешь на него, онъ будто говоритъ: „я—царь, живу одинъ“ Мы опоздали, совершенно смерклось,—ночь. Явились русскіе проселки: ѣхать надъ рѣчкой—косогоръ, бродъ, рытвины, водомоины, перемоины; мосточки въ безлѣсныхъ мѣстахъ, плотинки; ямочки, кочечки,—ахъ, мой Господи! и, того гляди, за шею польется дождь; ночь сентябрьская во всей силѣ — ни звѣздочки. Маменька хотѣла было верстъ за шесть остаться ночевать; я упросила: да нѣтъ, maman, доѣдемъ!—и теперь маменька бранитъ меня; экипажъ идетъ бокомъ; лошади пугливыя; темень такая, что развѣ волкъ видитъ; мы уже взяли проводника,—и наконецъ-то благословенные огни дома Михайла Ивановича блеснули передъ нами. Это ужъ былъ часъ 10-й ночи; я перетревожилась; думала, что я заболѣю—долго не могла уснуть; со мной сталась лихорадка, не лихорадка,—а какое-то трепетанье внутри и во всей мнѣ; но розовыя книжечки исцѣлили все. Михайло Ивановичъ самъ не получалъ *Современника*: у нихъ недальнее сосѣдство, и подѣлено, что̀ кто долженъ выписывать, чтобы имѣть всѣ журналы въ своемъ кругу. Но на другой день, едва я выхожу въ гостиную, а Михайло Ивановичъ уже встрѣчаетъ меня съ *Современникомъ* въ обѣихъ рукахъ. Мы сейчасъ же сѣли, и онъ мнѣ прочиталъ „Безропотность“; я взяла ее на ночь, и еще сама прочитала; и, возвратясь домой, въ тотъ же день писала къ вамъ. Я думала: что̀ сказать? чѣмъ извинить свое молчаніе? не написать ли, что больна была? была въ далекой отлучкѣ? Лгать? Не хочу! И я написала вамъ чистѣйшую, простодушнѣйшую истину: „обстоятельства, въ которыхъ я была рѣшительно невластна, не позволили мнѣ отвѣчать вамъ“

А съ какимъ нетерпѣніемъ я ждала вашего отвѣта! Но его нѣтъ, его нѣтъ. И мѣсяцъ идетъ, и другой прошелъ,—пріѣзжаемъ мы къ Марьѣ Ивановнѣ; я беру листокъ *Шмеля* (*Спв. Пчелы*),—и каково это было извѣстіе! что вы передаете редакцію въ другія руки... Я еще писала къ вамъ. Я не пеняла даже внутренно, что вы не отвѣчаете: во-первыхъ, я становилась уже хорошая ученица *терпѣнія*; а во-вторыхъ, хотя вовсе противъ своей воли, но не я ли сама была виновата?

Выпалъ первый легенькій снѣжокъ; Михайло Ивановичъ присылаетъ мнѣ книги и пишетъ—спрашиваетъ: „Что вашъ Плет-

невъ, Н. С.“?—Ничего, Михайло Ивановичъ: куй желѣзо, пока горячо. Я уже ничего не надѣялась, ничего не ждала; я читала Шекспира—поняла ваше письмо и спрятала его, какъ безцѣнную память прекраснаго, завѣтною радугой мелькнувшаго мнѣ и скрывшагося въ туманахъ сумрачнаго неба жизни моей. Такъ Богу угодно. И я получаю ваше второе письмо.—Зачѣмъ оно?—говорила я съ грустью. Что это, Господи? — не успѣешь успокоиться, убить въ себѣ все, чѣмъ живутъ люди—вѣдь оно не дано мнѣ; зачѣмъ же опять тревожить—опять манить? Чтобы посмотрѣть на новую грусть, да на старыя слезы? Это былъ вашъ окончательный разсчетъ со мною; лучше бы его не было! Весь исполненный благородства,—вы такъ высоко хороши въ немъ, что узнать для того, чтобы сейчасъ же терять прекрасноузнанное, это болѣе нежели грустно и тяжело,--это мучительно. Не знаю, что я писала вамъ. Какъ это былъ послѣдній конецъ моихъ сношеній съ вами, то я не оставила даже чернового списка—на что! а первыя четыре письма это единственныя, которыя храню у себя, и смотрю на нихъ теперь съ любопытствомъ и любовью.

Но какъ меня томилъ мой отвѣтъ! какъ я боялась, что онъ не дойдетъ къ вамъ, что вы можете подумать, что благородное движеніе вашей благородной души осталось непонятымъ, неоцѣненнымъ; заброшено оно въ глушь и, можетъ быть, завалялось въ грязи! У меня кровь приливала къ лицу, и блестѣли глаза; я вскакивала ходить, когда мнѣ воображалось, что вы можете почесть, что я лѣзла къ вамъ единственно потому только, чтобы втиснуть статейку въ вашемъ журналѣ... Такъ нѣтъ же!—сказала я, сгоряча топая ногой. Я докажу, что нѣтъ! Первая повѣсть, которую я постараюсь написать, какъ я могу лучше—я посвящу ему ее! пусть же онъ знаетъ! посвящу съ чувствомъ глубочайшей признательности,—ахъ, Господи! только бы напечатать.

Я принялась писать.

А между тѣмъ сношенія наши съ Марьей Ивановной были очень курьезны. Сирахъ, откуда я уже вамъ послала маленькую выписку и на которую вы, кажется, не обратили большаго вниманія,—выписку объ опасности отношеній слабаго къ богатымъ и сильнымъ, Сирахъ еще, между прочимъ, говоритъ, что *„богатый обиду сотвори, и самъ приразнѣвася“* [1] Марья Ивановна

[1] Сирахъ, глава XIII, ст. 4.

совершенно поступила по Сираху. Она же еще вздумала гнѣваться на меня; только это и гнѣвъ-то былъ Марьи Ивановны.

Вы думаете, что она не смотрѣла на меня, не говорила со мной, отсылала на дальній стулъ,—вы ошибетесь чрезвычайно. Марья Ивановна была до крайности внимательна: отвѣчала на поклонъ болѣе замѣтнымъ повѣваньемъ своего чепца; даже лѣвою рукой касалась кресла, показывая видъ, что хочетъ подвинуть его, чтобы я сѣла: „вы... Надежда Степановна“, было у ней такъ часто на языкѣ; она даже сама подкладывала мнѣ кушанья на тарелку; но что̀ передастъ вамъ эту холодность, чопорность, важность! Марья Ивановна, усиливая къ другимъ будто бы короткость дружелюбнаго обхожденія, въ то же время обращалась со мною, какъ съ владѣтельною принцессой. Я и не думала обижаться. У насъ съ нею случилось то, что выражается русскою пословицей: нашла коса на камень. Надобно вамъ сказать, что Марья Ивановна злилась на меня не потому только, что я ускользнула отъ ея властительныхъ лапокъ и осталась безъяремною болѣе прежняго—этого мало: я еще нанесла ударъ ея добротѣ. Вотъ послушайте,—какъ это. Всѣ мы, если не совсѣмъ отъ сердца хотимъ *быть*, то ото всей души желаемъ *казаться* добрыми; а Марья Ивановна еще имѣетъ притязанія на титулъ *добрѣйшей Марьи Ивановны*. И каково же теперь этой добротѣ? Дѣвушка, которая жила у Марьи Ивановны почти безвыѣздною гостьей, принята была, какъ своя, всѣ ее знали и привыкли видѣть у ней,—эта дѣвушка теперь погорѣла, нѣтъ ей пристанища—и ея нѣтъ у Марьи Ивановны!!! Кто ни пріѣдетъ, посмотритъ кругомъ: „А Надежда Степановна?“ „Хм. да“!—глядитъ въ окно Марья Ивановна. „Изъ дому вы сегодня?“ И, чтобы отомстить мнѣ, уколоть меня, и полагая меня этимъ жестоко подзадорить, Марья Ивановна, которая до сего дня не любила теперешней Ал. П. Черновой, а не любила потому, что Александра Павловна имѣла маленькую неосторожность, стоя въ писанной залѣ, сказать почти шепотомъ: „У Лонгиновой зала мнѣ лучше нравится“ Какъ это услышала Марья Ивановна, сидя въ гостиной на диванѣ и занятая разговоромъ—не можно знать: кажется, она слышитъ, какъ за тремя каменными стѣнами мышь скребетъ; только, когда уѣхали гости, Марья Ивановна отставила презрительно губку и сказала: „А ужъ Александра все съ своей Лонгиновой носится!“—и съ тѣхъ поръ она не замѣчала Александры; но теперь Марья Ивановна вдругъ пролила всю свою благодать на нее. Я хоть мелкая плотица, но меня

на такія маленькія удочки не поймаешь. Я знаю Марью Ивановну лучше своей маменьки; знаю, въ какое время что она подумаетъ и что скажетъ, и какъ чепецъ у ней будетъ стоять. Я сію жъ минуту приняла свои мѣры. Марья Ивановна хвалитъ Александру Павловну; а я вдвое болѣе.

— Ахъ, какая душенька! какая милая! Какъ я ее люблю,— несетъ руку къ сердцу Марья Ивановна,—какъ *никого* такъ не люблю—какъ люблю!

— Да ее, Марья Ивановна, и не любить нельзя. Она—такая привлекательная, любезная! Я не знаю: кто ее не любитъ? На нее какъ взглянешь, такъ будто и тянетъ къ ней!

— Ну, да-съ, достойная дѣвушка; она рѣдкая дѣвушка. Да какъ она умѣла образовать себя сама! (И Марья Ивановна будто не смотритъ на меня). Гдѣ она, тамъ, *такъ особенно* училась—въ пансіонѣ побыла немного; а какъ все мило,—какъ все мило—и поетъ, и довольно для себя играетъ!

И Марья Ивановна вдругъ глядитъ на меня своими большими, свѣтлыми, пронизывающими глазами.

Я едва не улыбаюсь. Нѣтъ, милая Марья Ивановна! глядите, не глядите, а ужъ вамъ не замѣтить, что это вы подкололи меня, что вотъ я и училась особенно, а не пою и не играю.

Я пускаюсь въ величайшія похвалы игрѣ и пѣнію Александры Павловны—ея голосу, манерѣ, которой у ней не бывало, и, хотя мнѣ вовсе не нравится, какъ она поетъ и особенно *„верхнія выводитъ нотки“*, но послушать, такъ я только-что не въ обаяніи отъ звуковъ, исходящихъ изъ устъ и издаваемыхъ перстами Александры Павловны.

Марья Ивановна подергиваетъ кончиками губъ: это знакъ, что она недовольна, что дѣла ея не идутъ, какъ бы ей хотѣлось. Я не устаю. Если она говоритъ, что Александра Павловна стройна, какъ тополь, я подтверждаю: какъ пальмочка, настоящій сахарный тростникъ,—бѣла и пріятно-сладка, какъ сахаръ, и стройно-тонка, какъ тростинка. Потомъ я уже начинаю воспѣвать хвалы Александрѣ Павловнѣ, а Марья Ивановна только подтягиваетъ; но я не хочу остановиться на этомъ: когда идти, такъ идти до конца, и я дошла, что Марья Ивановна молчитъ и уже поглядываетъ въ окошко. Это конецъ всему, всѣмъ хваламъ и воспѣваніямъ.

Между тѣмъ я бывала у Марьи Ивановны только въ гостяхъ, и вовсе не въ частыхъ. Наши поѣдутъ разъ — въ другой, а я въ третій. Марья Ивановна пробовала оставлять гостить у себя

Александру Павловну; но пять-шесть романсовъ, распѣваемыхъ за роялью, у котораго цѣлыя октавы нѣмотствуютъ,—видно, скоро припѣлись, и шла осень, а Марья Ивановна была одна, отнимая у насъ по временамъ тетеньку; но тетенькина страсть и забота — садъ: осенью надобно было садить деревья; надо быть дома— и Марья Ивановна сбавила своихъ тоновъ со мною. Вся моя сила заключалась въ томъ, что мнѣ ни сбавлять, ни прибавлять было нечего. Я была одинакова, какъ до пожара, такъ и послѣ пожара—ни тѣни какого-нибудь наружнаго измѣненія; все съ тѣми же знаками полнаго почтенія и уваженія. Я не гостила у Марьи Ивановны, потому-что она не приглашала меня, а бывала рѣже по той причинѣ, что на пожарѣ я простудилась и не всегда могу одѣться такъ, какъ надобно быть у Марьи Ивановны,—Марья Ивановна начала подробно освѣдомляться о моемъ здоровьѣ. „Да какъ — какъ? Засадили молодую дѣвочку, какъ птичку, въ клѣткѣ,—въ одну эту хатку; она у васъ свѣта не видитъ. Поневолѣ будетъ грудь болѣть—какъ не болѣть“? И Марья Ивановна улыбалась такъ игриво, когда я пріѣзжала къ ней, и звала меня нашею больною. „Ну, что наша больная“?— спрашивала она у маменьки или у тетеньки. Больная была, благодарить Бога, совершенно здорова. Я стала почаще бывать у ней—итакъ, шагъ за шагомъ, день за днемъ—подъ конецъ зимы мы, наконецъ, сошли на свои первобытныя отношенія, и Марья Ивановна еще, какъ солнышко послѣ тучки, была живительнѣе и мягче, и грѣла теплѣе — гораздо привѣтнѣе. Все дѣло остановилось за тѣмъ, что Марья Ивановна хочетъ и ждетъ, чтобы я сама назвалась остаться гостить у ней; а я не хочу: пусть же она пригласитъ!—скажетъ сама первое слово,— это будетъ мое возмездіе за обиду!

Бьемся мы—два лука и оба туги; наступилъ Великій Постъ; Марья Ивановна многообразно задѣваетъ меня: просить и книги ей переложить, и Иннокентій прислалъ ей новыя свои проповѣди—„Ахъ, какія проповѣди! какія проповѣди! Вамъ, Н. С., непремѣнно надобно прочитать; что̀ это за проповѣди!“—Я говорю, что мнѣ и самой очень бы хотѣлось; я такъ люблю Иннокентія;—но Марья Ивановна ничего далѣе не говоритъ—и я молчу. Мы уже простимся совсѣмъ ѣхать, уйдемъ одѣваться; она вернетъ меня, и откуда у ней разговоры берутся: шутитъ такъ мило. Я сама весела, болтлива, цѣлую у ней руку—„прощайте, милая Марья Ивановна! Нельзя болѣе: лошади не стоятъ“.—„Прощайте, моя душенька,“ говоритъ Марья Ивановна

и такъ приблизительно показываетъ видъ, что цѣлуетъ меня въ голову.

На такой точкѣ находились дѣла, когда въ пятницу на Крестопоклонной недѣлѣ пріѣхали мы къ Марьи Ивановнѣ въ обѣдню; пробыли весь день—ѣдемъ. Марья Ивановна только получила давно выписываемое „Путешествіе Норова“ и ласкала меня до чрезвычайности по своему, показывала гравюры; я чуть было не поддалась; но, не знаю, какимъ случаемъ, удержалась. Распрощались мы, вышли совсѣмъ; я уже натянула перчатку... „Надежда Степановна! Надежда Степановна!“—останавливаетъ Марья Ивановна. „Что-жъ это, милая моя?—заговорила она, благосклонно касаясь шитаго воротничка моей манишки,—душенька, не хочешь погостить у меня?“—„Если только вамъ угодно, Марья Ивановна,—съ большимъ удовольствіемъ.“

Такимъ образомъ окончилась эта замѣчательная война: наступили времена благословеннаго міра, и я вкушала всю сладость ихъ. Ради зимы Марья Ивановна занимала половину баронессы, потому что тамъ нѣсколько теплѣе; тамъ есть другой розовый кабинетъ, вольтеровскія кресла, и Марья Ивановна сама усаживала меня въ ихъ эластическія гнѣзда [1].

Прожила я уже болѣе недѣли у ней; наступило второе. воскресенье,—только-что мы пришли изъ обѣдни, Климъ подаетъ мнѣ чай и тутъ же на подносѣ кусочекъ свернутой бумажки.

— Что это?

— Прислали-съ за вами.

Я развертываю бумажку — и не знаю, что думать? — „Пріѣзжай,“—пишетъ тетенька съ обыкновеннымъ лаконизмомъ:—„матери надо ѣхать въ Изюмъ, и письмо важное тебѣ.“—Какое письмо? отъ кого письмо? и зачѣмъ маменькѣ ѣхать въ Изюмъ?

Марья Ивановна не пускаетъ безъ обѣда; насилу я дождалась его; вырвалась. Цѣлую дорогу не могу себѣ вообразить: какое письмо? Ужь не Масальскій-ли опомнился? думала я; но чтобы это письмо было отъ васъ, Петръ Александровичъ—и душа не гадала! А это было оно, ваше безцѣнное посвятительное письмо въ дорогой привѣтъ—въ счастье, какъ лучъ Божій, вдругъ стать вашей ученицей! Вы посвятили меня въ вашъ *Современникъ*—ввели въ среду прекраснаго искусства, въ поэтическія тайны живой, прямой красоты истины, ея глубокаго превосход-

---

[1] Личность Маріи Ивановны широко очерчена еще въ послѣднемъ романѣ Н. С. Сохановой „Степная Барышня“. (*С. П.*).

ства передъ напыщеннымъ вздоромъ набора словъ и пустозвоннаго крика.

Я опять спрашиваю: какъ мнѣ прикажете благодарить васъ, Петръ Александровичъ?

Въ жизни моей ничего нѣтъ достойнаго васъ; въ умѣ моемъ—все ваше; у меня только и моего, что слезы и чувства; но и тѣ уже давно принадлежатъ вамъ.

Вотъ еще вамъ и *вся моя жизнь*, Петръ Александровичъ! Вы, можетъ быть, невольно остановитесь и скажете: „что за грустная жизнь слезъ и затаенныхъ бореній!“

Человѣкъ не измѣнитъ того, что ему положено Вышнимъ въ небесахъ Богомъ; измѣнять самого себя—вотъ дѣло человѣка. „Что-жъ вы? какъ измѣнились? что пріобрѣли вы?“ мнѣ будто слышатся ваши вопросы.—Миръ, Петръ Александровичъ: умиренный взглядъ, умиренный вздохъ, умиренныя слезы мирнаго сердца. Я пріобрѣла тотъ сладостный высокій миръ, который Господь, съ завѣтомъ любви, передалъ послѣднимъ даромъ обновляемой землѣ.—„*Миръ оставляю вамъ!*“—говорилъ Онъ на послѣдней вечери взволнованнымъ ученикамъ.—*Миръ Мой даю вамъ!—Не такъ какъ міръ даетъ; но Я даю вамъ.*“ Именно, что этого мира не даетъ намъ міръ.

Дѣвочка безъ опредѣленнаго положенія въ жизни, безъ опредѣленныхъ ей средствъ къ ней: стало-быть, ото всего зависимая—какъ былинка, подвластная первому вѣтру; проходитъ ея молодость безъ бала, безъ пышнаго наряда; даже ей

„Некому руку подать
Въ минуту душевной невзгоды! (*Лерм.*).

Одна природа, какъ видимая мать существъ, юнѣетъ и царицей цвѣтетъ, что ни каждую весну;—у человѣка одна весна; у женщины одна пора къ залогамъ жизненнаго блага—что-жъ дальше? что потомъ? что тамъ?—Жизнь человѣка, можетъ быть, коротка для наслажденій; а для горя—о, она путь отъ Камчатки въ Колхиду! И что же, Петръ Александровичъ: вы поищете и не вдругъ найдете существо болѣе свободное. болѣе независимое, какъ эта дѣвочка, такъ безподвластная прихотливымъ вѣтрамъ, съ такимъ свѣтлымъ успокоительнымъ взглядомъ на жизнь и на тайну смерти, на робкую неопредѣленность судьбы своей, которую она не промѣняетъ ни на какую долю, — не обмѣняетъ разумнаго горя на безсмысленное счастье. Она ничего не видитъ впереди себя: но это только даль, а не мракъ, не безпробудная бездна. Это ея

степь—свѣтлая Украинская степь: разостлалась она далеко, что конца ей не видно; нѣтъ предмета на ней для близорукаго взгляда; а между тѣмъ она вся въ цвѣтахъ и блеститъ кротко благодатью небесной росы и лучами великаго солнца.

Что мнѣ еще сказать вамъ?—Мнѣ хочется поскорѣе кончить.

И моя внѣшняя жизнь тоже много измѣнилась, и все къ лучшему. Живу уже я не въ хаткѣ, а въ свѣтленькомъ домѣ; вокругъ меня простое довольство; я не требовательна, неприхотлива; у меня своя комната всѣми тремя окнами въ молоденькій садъ, въ западающую даль степи; виднѣется курганъ. У меня весь рай семейственной нѣги; на меня—какъ мило говорится—пылинкѣ не даютъ упасть; я, какъ знатная барышня, знаю только самое себя, свою комнату, ваши книги – и ничего болѣе. Тетенька ухаживаетъ за моими цвѣтами; цвѣты зеленѣютъ и пахнутъ; кудлатая моя Подружка смотритъ мнѣ въ глаза и довольно шевелитъ пушистымъ хвостомъ; кругомъ тихо, солнце сіяетъ, и маменька такъ часто нѣжитъ мою горячую голову. Вотъ моя домашняя жизнь. Выѣзжаю я очень не часто, потому что, страхъ, не люблю выѣздовъ, потому что, какъ побываю въ гостяхъ, такъ въ ушахъ у меня послѣ точно трезвонитъ: потеряла день! потеряла день! Ѣхать за двадцать— тридцать верстъ въ жаръ или холодъ, и все удовольствіе: наѣсться, что не вздохнешь, просидѣть битые часы на стулѣ—а я терпѣть не могу дѣть! и слушать надоѣвшій вздоръ

„Про дождь, про лѣнъ, про скотный дворъ“

Но только это у васъ, тутъ—на бумагѣ, Петръ Александровичъ, я такъ презрительно горячусь, а посмотрѣли бы вы на самомъ дѣлѣ, какая я ревностная, уважительная слушательница этихъ великихъ сказаній! Какая, подчасъ, я достойная соучастница въ нихъ! Вы бы, вѣрно, улыбаясь, молвили: „барышня деревенская въ полномъ смыслѣ!“ Разъ какъ-то братъ былъ дома—пріѣзжаетъ къ намъ жена моего покойнаго Ивана Алексѣевича [1], засѣли мы съ ней. Она мнѣ пересчитала всѣхъ своихъ куръ—гусятъ, цыплятъ по перу перебрала. Братъ вызываетъ меня: „Скажи ты мнѣ... дай попробовать: не мѣдная у тебя голова? У меня виски трещатъ“. А у меня такія правила: никогда не высказывайся; будь со всякимъ тѣмъ, что онъ есть; оставляй на порогѣ своего дома, чѣмъ бы ты ни былъ въ немъ, и, если являешься въ люди,

[1] Энгельгардта, старика-сосѣда, о немъ см. въ 3-й тетради „Автобіографіи“, *Русск. Обозр.*, августъ, стр. 454.

такъ и будь, какъ всѣ люди. И оттого-то, можетъ-быть, я такъ и сочувствую малороссійской поговоркѣ: *нема найлучше, якъ дома, да на своей печи* и пр. По какому-то страннóму случаю, я все еще не перестаю занимать собой окружную публику; только это уже миръ, полный миръ; говорятъ, что и лаять на меня не смѣютъ, да, впрочемъ, хоть бы и лаяли, такъ я небольшая охотница обращать вниманіе. И что еще страннѣе: мнѣ нерѣдко приходится слышать, что и тотъ бы хотѣлъ со мною познакомиться и другой — и все персоны высшія. Это потому меня ищутъ, что я сама ничего не ищу; всякая удача, какъ и счастье, прихотлива,—бѣжитъ, когда за нею гонятся, и, смотришь, приходитъ, когда вовсе не ждутъ ея. Я бы вамъ сказала, что я *страстно* люблю *тишину*, если-бы логическій смыслъ могъ допустить такого рода противоестественныя сближенія. Но я люблю ее съ какимъ-то обаятельнымъ увлеченьемъ, съ мирною преданностью всего существа моего. Дайте мнѣ, какихъ хотите усладительныхъ звуковъ—я послушаю и попрошу тишины, тишины! Подарите меня полнымъ беззвучьемъ. Въ тиши, когда смолкаютъ вокругъ всѣ звуки, какъ живѣе подымаются звуки души! Становишься нѣмъ, а сердце полно, и Божество такъ близко къ человѣку. Зачѣмъ говорятъ, что Богъ далекъ? Возьмите тишины, прибавьте внутренняго мира, и пусть только немного помолится душа—и Богъ здѣсь! Нѣтъ выше неба, какъ душа человѣка, и ближе его сердца ничего нѣтъ къ Богу.

Я такъ привыкла быть одна, ничего не раздѣляя ни съ кѣмъ, что для меня теперь истинное наслажденіе остаться одной—совершенно одной, чтобы со мной никого не было. Наши это называютъ *моимъ праздникомъ* и, съ вечера, подъ какой-нибудь праздничекъ уѣдутъ къ Аннѣ Константиновнѣ или къ Маріи Ивановнѣ, я останусь одна. Я загодя живу этимъ удовольствіемъ, и оно непремѣнно должно быть осенью или зимой, когда ночь длинна-длинна, какъ сказка бабушки. Заранѣ, вмѣстѣ съ огнемъ, мнѣ подается самоваръ. Я, какъ русская купчиха, люблю чай и обладаю самою великою способностью пить его во всякую пору дня и хотя четыре раза на день. Что такое для меня самоваръ, можетъ дать вамъ маленькое понятіе великолѣпная апоѳеоза изъ недавнихъ временъ, когда я еще говорила великолѣпно. „Онъ“ (писано было на страницѣ одной изъ моихъ повѣстей), „самоваръ, какъ сердце, полонъ огня, какъ арфа, издаетъ тоны и, какъ мысль, кипитъ и выноситъ въ клубахъ сокровища духа, то-есть паръ“.—Но во время, о которомъ

я говорю, и самое засѣданіе за самоваромъ не манитъ меня; я не растягиваю его наслажденія, я даже чая не хочу, а совершаю только необходимый обрядъ питья. Подринка получаетъ бо́льшую часть сухарей и кренделей, нежели сколько бы ей слѣдовало; баронъ Брамбеусъ,—утратившій въ полуторагодовомъ побѣгѣ послѣ пожара свое баронское достоинство и переименованный нынѣ въ „магазинные попечители“ съ чиномъ коллежскаго ассессора Алексѣя Степановича Курочки,—„магазинный попечитель“, съ достодолжнымъ своему мѣсту тщаніемъ и чину его приличною важностію, печется объ остаткахъ сливокъ, и я спѣшу передать самоваръ въ дѣвичью. Долго сижу я, облокотясь надъ книгой, и прислушиваюсь къ веселому звону чашекъ тамъ... Легкій говоръ, самоваръ сильно кипитъ, на меня будто находитъ дремота, но я никогда такъ довольно не бодрствую. Мало-по-малу за стѣной все стихаетъ; сонъ, какъ первая благодать праздника, сейчасъ же вѣетъ надъ моею дѣвичьей. Ухо невольно вслушивается въ послѣдніе шаги, послѣдній шорохъ замирающаго дня; я весело люблю, какъ кипитъ-кипитъ и постепенно тухнетъ самоваръ. У него иногда бываетъ такое причудливое шипѣніе: будто маленькій визгъ, и это прерывается довольно ясными звуками лопнувшей струны, какъ бы на гитарѣ; онъ звенитъ и пищитъ, и вотъ начинается послѣднее пресмѣшное, дребезжащее жужжаніе: точно будто пчела подралась съ маленькимъ шмелемъ; самоваръ потихоньку какъ бы бранится съ кѣмъ—съ угольями, что они погасаютъ; но, вѣдь, браниться нехорошо, — и самоваръ тише, тише, и совсѣмъ замолкъ. Я встаю; шорохъ моего движенія какъ-будто издаетъ звуки—такая тишь кругомъ! Въ домѣ не шевельнется и на дворѣ ничто не шелохнется: барыни нѣтъ дома, и даже сторожъ не выйдетъ подразнить собакъ. Ночь сама себя стережетъ и тишина сама себя нѣжитъ. Я отворяю двери изъ своей комнаты въ гостиную и начинаю курить; это мое изъ первыхъ удовольствіе: я люблю, чтобы пахло; люблю огонекъ, легенькій чуть-свѣтъ, тонкой, бѣленькой свѣчи передъ образомъ; этотъ свѣтъ мнѣ кажется далекою звѣздочкой. Я люблю свѣчу болѣе воспѣтой лампады. Чистая, бѣлая свѣча горитъ передъ Богомъ,—это такая прекрасная эмблема души человѣческой. Я гашу свою свѣчу, зажигаю свѣчу у иконы и начинаю ходить. Часы идутъ, идетъ полночь—я все хожу; на душѣ широко и привольно, какъ на поляхъ Божьяго міра. Кажется, не только въ домѣ—во всей вселенной насъ двое: я да моя легенькая тѣнь. Есть что-то,

чего не перескажешь: какое-то сознаніе величія въ чувствѣ бодрствовать, повелѣвать мыслію, когда вокругъ все безсмысленно спитъ, а ты легкою ногой будто попираешь ночь и сонъ, и въ твоей власти сейчасъ нарушить всеохватившую царь-тишину! А тутъ Нерукотворенный образъ Спасителя, старинный, темный, почти весь стертый; только маленькіе бѣлки глазъ сохранили выразительность своего цвѣта,—и на сумрачной, почти утерявшейся, живописи они глядятъ, они очень глядятъ и заглядываютъ въ душу. Я люблю этотъ взоръ, освѣщенный кроткимъ огонькомъ тонкой, бѣленькой свѣчи; серебро на ризѣ сіяетъ, и гирлянда мелкихъ розовыхъ цвѣтковъ съ моей головы обвила вѣнецъ Державнаго Господа. Мѣсяцъ иногда заглянетъ къ намъ—ко мнѣ и къ моей тѣни; но, увидѣвъ, что и безъ него тутъ такъ свѣтло и хорошо, онъ пойдетъ себѣ, и только любопытныя звѣздочки кое-гдѣ показываютъ намъ свои ясные глазки. Послѣ такой ночи я бываю удивительно здорова.

У меня сильное воображеніе; но еще сильнѣе чувство: ломаютъ вѣтку отъ дерева, а мнѣ больно; я рву цвѣты, только чтобы поставить передъ образомъ, чтобы только дать, когда у меня просятъ. Боже мой! я не могу слышать, какъ на деревнѣ визжитъ прибитая собака: что бы я ни дѣлала, работа у меня падаетъ изъ рукъ; если я не встаю тоскливо ходить, такъ откидываюсь на кресло и сижу съ полузакрытыми глазами, пока она не умолкнетъ, пока ея болѣзненные визги не перестанутъ доходить ко мнѣ, пока не пройдетъ минутъ пять, чтобы я успокоилась.

У меня силы нѣтъ разбудить спящаго человѣка. Иногда я засижусь; всѣ спятъ, и мнѣ пора, мнѣ нужна моя дѣвушка. Я подойду, стою надъ нею: разбудить ее—да у меня рука не подымется! Убить сонъ у человѣка, убить его забвеніе трудовъ... Можетъ быть, ей такъ хорошо снится, а я убью... И я закрываю рукой свѣчу; я боюсь, чтобы нежданный свѣтъ не разбудилъ ее. Да, я люблю свои маленькія руки; я ихъ люблю потому, что онѣ чисты и никогда не опозорены ни малѣйшимъ ударомъ. Но и съ руками, и съ моею головой—о, какъ бы я чудесно могла попасть подъ перо Гоголя! На что-жъ лучше чувствительной дѣвушки, которая до того чувствительна, что не можетъ задавить мухи, не сказавъ морщась: „ахъ, бѣдненькая!“ то-есть, этимъ не говорится, чтобы она никогда ихъ не давила:—нѣтъ, она, какъ и всѣ, случая не пропуститъ; но только сперва раздавитъ, а потомъ пожалѣетъ.—Или еще лучше: хозяйка, которая (что прикажете съ нею дѣлать?) такъ слабонервна, что

не можетъ прямо выговорить кухаркѣ: „убей гуся“, или, напр., „зарѣжь двухъ цыплятъ“,—и для этого у ней припасены смягчительныя рѣчи, можетъ быть, въ родѣ слѣдующихъ: „принять на кухню гуся“, „Марья! приведи въ уничтоженіе двухъ цыплятъ“ Оно, конечно, смѣшно, смѣшно; вы видите, что я сама смѣюсь; но еслибы вы знали, что этотъ смѣхъ отдается во мнѣ точно такимъ же чувствомъ, какъ бы я сама себя колола ножемъ въ грудь. „Зарѣзать“—я только пишу это слово, такъ оно меня самое точно рѣжетъ; у меня начинается зѣвота и потягиваніе, какъ въ истерикѣ.

Но вы, пожалуйста, Петръ Александровичъ, не обидьте меня: не подумайте, чтобы эта—какъ ее назвать? — *молодость чувства* являлась наружу чѣмъ-нибудь приторнымъ—ахами, вздохами.—Нѣтъ.

„*Слезы не встрѣтишь неприличной!* (Лерм.).

Да слезъ-то моихъ и всякихъ вы бы никогда не встрѣтили; но я терпѣть не могу, даже на бумагѣ, ахать; я никогда не вздыхаю, я еще отъ роду моего не падала въ обморокъ! — Сила разсудка у меня есть; я понимаю, что человѣкъ, должныя, необходимыя требованія человѣка—выше всего живущаго; все и создано только для нихъ. Я не стану кормить гуся и романически сострадать къ послѣднему часу его, когда у меня человѣкъ голоденъ, когда на мнѣ лежитъ обязанность, чтобы вокругъ меня было сыто и люди накормлены. У меня достанетъ силы, и мнѣ даже вовсе не нужно ея, чтобы сказать: убить гуся! зарѣзать барана! Но такъ, но для меня самой— неужели же я буду смертельно голодна, неужели меня нельзя накормить иначе, какъ чтобы полилась кровь убійства и несчастное животное все трепетало и вскидывалось въ предсмертныхъ судорогахъ? Какое страшное остервенѣніе чувственности! — Когда я *одна* дома, Петръ Александровичъ, и, если бы вамъ случилось пожаловать *ко мнѣ* на обѣдъ, вы бы принуждены были довольствоваться обѣдомъ полупостнымъ: у меня ничего нѣтъ зарѣзаннаго.

Да, хороша разумная чувствительность; прекрасно, когда мысль полна образовъ; когда, что ни коснется къ ней, оно въ минуту одѣто въ жизнь и убрано въ краски. Еще прекраснѣе, если въ сердцѣ женщины, какъ въ небесахъ, ни одинъ вопль души не раздается тщетно, всякій находитъ отзывъ себѣ, всему дано мѣсто, и мать-природа обняла это сердце и говоритъ съ нимъ, какъ съ своимъ возлюбленнымъ сыномъ. —Прекрасно это чув-

ствовать, прекрасно жить съ этимъ богатствомъ чувства,—жить съ созидательнымъ чувствомъ поэзіи; но говорить о немъ, женщинѣ гласно выражать его, писать женщинѣ—нельзя; *женщина не должна писать!*

Не должна! потому что этимъ нарушается ея первое чувство и достоинство: *скромность*. Пиша, она является слишкомъ наоткрыто со всѣмъ своимъ задушевнымъ міромъ чувствъ и мыслей, со всею силой своего сердца; а этого не должно быть. Міръ сердца, внутренній міръ женщины—священенъ; онъ долженъ быть извѣстенъ только своей семьѣ и никому болѣе! не всякому праздному бездѣлью, которое, въ полу-туманѣ вина и трубки, захочетъ заглянуть въ него. Женщина можетъ и должна писать однѣ *дѣтскія книги*. — „Но на что-жъ вы сами готовитесь?“ — спросите вы удивленно меня. Какъ-же я такъ могу противоставлять дѣло своимъ словамъ?—Больной еще лучше можетъ знать, какъ надо быть здоровымъ. Потому - то, что я пишу, что я должна писать, я и знаю, какъ оно не должно.

Между сѣрыми кошками являются же иногда трехшерстныя: вотъ писательницы между женщинами.—Это моя доля, какъ доля пересаднаго цвѣтка расти на чужбинѣ. Но какъ она неестественна, какъ выступаетъ изъ границъ должнаго, вы можете судить потому, сколько слезъ и страданія она мнѣ стоила! потому, что у меня непреодолимое, инстинктивное отвращеніе отъ чернила. Кажется, пора-бы свыкнуться: вѣрно, я каждый день что-нибудь пишу; но руки мои никогда не сохраняютъ и мѣтинки чернилъ. Скорѣе я имъ позволю быть въ грязи и въ дегтѣ, но не въ чернилѣ! Если мнѣ надобно означить что-нибудь въ высшей степени дурное, непріятное для меня, я не нахожу сильнѣе выраженія, какъ сказать: „точь въ точь чернильное пятно!“

— Поэтому, значитъ, вы тяготитесь своимъ маленькимъ даромъ? скажете вы.—Если можно, вы бы разстались съ нимъ?

— И не говорите, Петръ Александровичъ! Не заставьте меня вспылить. Я сію минуту разстанусь вамъ съ жизнью; но съ нимъ, съ моимъ крошечнымъ даромъ — никогда! Когда только Богъ велитъ. — Онъ мнѣ больше, нежели жизнь: онъ вмѣстѣ жизнь и все, чѣмъ живутъ люди въ жизни. Если бы это не было слишкомъ великолѣпно, я бы сказала: онъ душа моей души и кровь моего сердца. Вотъ какъ: конечно, ея нѣтъ,—но если бы и нашлась такая сила, которая могла бы предоставить мнѣ на мой выборъ: съ одной стороны, скудный, маленькій даръ мой, а съ другой—весь блескъ, всю славу, всю пол-

ноту счастья женщины, со всѣмъ обаяньемъ любви и красоты, и мнѣ бы сказали: „выбирай, но одно изъ двухъ,—всего не дается разомъ.“—Вы полагаете, я бы долго думала?—Ни минуты.—Можетъ быть, я бы заплакала, что всего не дается разомъ; но и сквозь слезы, улыбаясь, я бы протянула руку къ маленькому дару. Я отрекусь отъ него развѣ тогда, когда въ безуміи ума и сердца я буду въ состояніи отречься отъ Бога. Пусть я ослѣпну, пусть судороги или параличъ отнимутъ у меня правую и лѣвую руку;—я буду сидѣть на порогѣ богадѣльни—и, пока живымъ языкомъ, разсказывать прохожимъ чудныя сказки... А все-таки женщина не должна писать.

Я люблю трудъ; люблю его до того, что когда я думаю о будущей жизни—объ ея вѣчномъ, не переставаемомъ веселіи,—я не постигаю блаженства безъ совмѣстной сладости труда; вѣрно, я бы скорѣй избрала вѣчную работу, нежели вѣчное недѣланье. Вслѣдствіе этого вы имѣете полное право предположить, что я съ утра до вечера въ трудахъ и, какъ муравей, на дѣланьи?—Но какъ же вы ошибетесь въ своихъ предположеніяхъ!

Если можно назвать трудомъ безпрестанную, неудержимую работу мысли, непрестанное порыванье души быть вѣчно занятою думой,—если это такъ, то я довольно работаю; я за дѣломъ всегда. Но если для имени дѣйствительнаго труда нужно что-нибудь поболѣе этого: нужно, чтобы эта мысль вся окрѣпла словомъ, оживотворилась перомъ и явилась бы на бумагѣ оконченнымъ дѣломъ, — то, да проститъ намъ великій и любимый трудъ! мы очень мало ему работаемъ. Бываютъ такія минуты, такія свѣтлыя минуты, что только бы писалъ стихи, или дѣлалъ цвѣты изъ бѣлаго воска, а въ эти-то золотыя минуты я обыкновенно ничего и не дѣлаю. Походить да подумать; а думы—что ваше небо въ звѣздахъ и въ лазури! душа сіяетъ, какъ ангелъ, и чтобы запачкать ее въ чернило? — Никогда. Я пишу, когда мнѣ грустно, когда въ головѣ — пустошь, какъ въ переспѣлой тыквѣ.

— А что вы знаете?—спросите вы меня.

На это я скажу вамъ, что знать бы я все знала, и какъ бы еще знала! да пока ничего не знаю. И языки забыла: нѣмецкаго не спрашивайте, французскую книгу, пожалуй, читать можно, но ужъ говорить съ вами я, вѣрно, не стану. Теперь что мнѣ еще сказать вамъ? Что я люблю природу, какъ праотцы наши любили пить медъ. Люблю зиму, какъ Русская; люблю весну и лѣто, какъ праздникъ и роскошь любимой природы, и я люблю, люблю,

когда идетъ пожелтѣлая осень. Какъ тихо она идетъ и какъ много несетъ съ собой! Изъ жизни наружной она обращаетъ въ жизнь *самой себя*: что незнаемо пріобрѣлось въ ощущеніяхъ лѣта, что подарила молодая весна, все собирается, и, въ начинающійся долгій вечеръ, осень начинаетъ сказывать сказки— какія сказки!

Еще я непзъяснимо люблю дождь—весенній, лѣтній дождь. Какую бы книгу я ни читала, хотя бы писала къ вамъ письмо,— но, когда начинаетъ идти дождь, я все оставляю и подхожу къ окну. Когда дождь хорошъ—идетъ долго,—я становлюсь на колѣна—окно отворено, я кладу на подоконникъ руки, упираюсь на нихъ лицомъ—и стою, не трогаясь, какъ наказанная въ институтѣ. Всякій бы сказалъ, что я глубоко о чемъ-нибудь думаю; а я никогда такъ не бываю свободна отъ всякой думы: я ровно ничего не думаю. Я только, странно какъ-то задумавшись, гляжу, какъ идетъ дождь, какъ капельки падаютъ внизъ и взбиваютъ легенькія брызги, подъ росинками тяжелѣетъ цвѣтокъ, жмется подъ листикъ малиновая букашечка, и всякая крошечная песчиночка омылась и блеститъ. Смотрю, какъ въ вышинѣ воздухъ весь будто пронизанъ водяными нитями,—и не насмотрюсь, и не оторвусь ни глазами, ни душей!

Люблю: за облакомъ разбитымъ,
Остаткомъ тучи громовой,
Трепещетъ солнца лучъ, повитый,
Какъ ангелъ, бѣлой пеленой;
Мнѣ сладко, и съ слезой безъ имя,
Безъ объясненья на губахъ,
Какъ съ другомъ, объ одной святынѣ
Я льюсь въ таинственныхъ словахъ—
Когда луна на сводѣ темно-синемъ
Мелькнетъ, какъ тѣнь, въ полночные часы
И, будто плѣнница предъ грозной силой,
Идетъ показывать унылыя красы,
И тихъ такъ шагъ! и безъ лучей сіянье!
И грустно мнѣ: куда идетъ она?
И все къ землѣ, какъ въ міръ обѣтованья,
Все эти два блестящіе рога?....
Зачѣмъ къ землѣ?—Надъ головою небо
Въ звѣздахъ, безъ грани,—не къ нему?
Зачѣмъ къ землѣ, къ кусочку хлѣба?—
Не къ небу своему?..

А какъ я люблю людей, — всѣхъ, всѣхъ до одного люблю! Богъ, Отецъ нашъ, щедръ: у всякаго изъ насъ есть своя доля добра и красоты; только надобно поискать ее, а этого-то мы и не дѣлаемъ, потому что не любимъ другъ друга. Какъ можно ненавидѣть человѣка? Я не знаю, не понимаю чувства ненависти, — какое оно? какъ это *хотѣть* нанести зло человѣку? Не понимаю, какъ можетъ женщина измѣнить освященному долгу своихъ обязанностей. Я многаго еще въ жизни не понимаю, и потому не люблю головы, что она такъ напроломъ идетъ наперекоръ сердцу и благодати чувствъ.

— А сказать ли вамъ, Петръ Александровичъ — только это такъ, не громко, а потихоньку—что́ я еще люблю иногда въ сумерки, подъ вечерокъ?

Люблю растворить рядомъ три комнаты, призвать свою Подружку (она довольно большая, изъ умной породы брусбарбовъ, бѣлая съ получерною мордой, веселая, игривая собака,—подарокъ брата; только—такое мое несчастье!—страшная замарашка!), итакъ, призвать Подружку и, какъ ребенокъ, пуститься съ ней бѣгать по комнатамъ. Подружка рада до послѣдняго волосика своихъ нечесанныхъ космъ; прыгаетъ, лаетъ; тянетъ меня за платье, нападаетъ со всѣхъ сторонъ... Маменька гдѣ-нибудь по хозяйству—на току; а тетенька обыкновенно сидитъ у окна въ залѣ и, какъ бы по неотмѣняемому приказу, раскладываетъ карты.

„Вотъ ничего не видно!“—говоритъ, а раскладываетъ.—Мы съ Подружкой разыгрались и разбѣгались по всѣмъ угламъ.—„Не догонишь, Подринка! Не догонишь, Подринка!“ твержу я, пришелкивая. Подринка молча отвѣчаетъ мнѣ тѣмъ, что догоняетъ меня и начинаетъ хватать за ноги, за платье... Я прыжкомъ спасаюсь на стулъ, — Подружка за мной; я въ гостиную на кресло, къ себѣ на кровать, бросаюсь въ залу... Тетенька оставляетъ карты и смотритъ на насъ. Ей и разсмѣяться-но хочется, губы сами слагаются на смѣхъ, но и желается сохратить достоприличную важность. Я это замѣчаю,—и мигомъ, тетенька еще не успѣетъ моргнуть, я—у нея на колѣнахъ! И ничего нѣтъ милѣе: она меня цѣлуетъ, придерживаетъ бережно на колѣнахъ, а между тѣмъ будто ворчитъ и качаетъ головой: „У, у! срамница! И стыда на тебя нѣтъ! Дѣвушка—невѣста, давно замужъ пора, а она съ собаками гоняетъ!“

Кстати о замужествѣ: выйти замужъ потому только, чтобы быть замужемъ—я не понимаю этой необходимости и къ тому же нимало не трепещу названія *старой дѣвы*. — Я не говорю

этимъ, чтобы не было минутъ, когда голова томительно тяжела, а сердце до краевъ полно; но въ подобныя минуты я привыкла скорѣе отдавать свое сердце Богу и наклонять эту тяжелую голову все ниже и ниже къ самой землѣ.

Предъ Богомъ—передъ Нимъ
Смирися съ дѣтской простотою,
И съ сердца грусть слетитъ, какъ дымъ. (*Кольц.*).

Когда я была маленькая, мнѣ все хотѣлось знать: что̀ тамъ, гдѣ небо сливается съ землей?—Теперь я знаю, что тамъ — *могила*, конецъ всему: нижняя доска ея уперлась въ землю, а верхъ—въ свѣтломъ, голубомъ небѣ. Ждетъ насъ, и дождется всѣхъ святая могила. Но, пока, надо жить—жить и

Впередъ, впередъ! Все гладко подъ ногами,
Всѣ горы сровнены Всевышняго рукой;
Любовь Его раскинулась надъ нами
Прелестной чистою лазурью неземной.

1848 г., 7 октября.
Макаровка.

books2ebooks.eu

www.books2ebooks.eu

eBooks from your library by

eBooks on Demand

digitised by

University of Tartu Library

UNIVERSITY OF TARTU
LIBRARY